This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

UC-NRLF
B 3 761 029

C. GLINGLER
ROVA-VIA DELLA MERCEDE 26-37

ТАТЕВСКІЙ СБОРНИКЪ

TATEVSKII SBORNIK

ТАТЕВСКІЙ СБОРНИКЪ

С. А. РАЧИНСКАГО

Съ приложеніемъ портрета А. С. Хомякова

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5-я линія, д. 28
1899

2826

PG2993
R3
1899
MAIN

ОГЛАВЛЕНІЕ.

		стран.
Предисловіе *С. А. Рачинскаго*.		VII
	I.	
I.	И. В. Кирѣевскій о Боратынскомъ (1845).	1
II.	Письма Е. А. Боратынскаго къ И. В. Кирѣевскому (1829—1833).	5
III.	Дѣтскія стихотворенія Е. А. Боратынскаго	59
IV.	А. Д. Боратынской. Стихотвореніе *И. П. Мятлева*. . .	63
V.	Сергѣю Абрамовичу Боратынскому. Стихотвореніе *Н. Ф. Павлова*	65
VI.	Письма В. А. Жуковскаго къ князю Д. В. Голицыну, А. П. Елагиной и И. В. Кирѣевскому.	71
VII.	Петръ Великій. Стихотвореніе *В. А. Жуковскаго*. . . .	83
VIII.	Біографія Д. А. Волуева.	84
IX.	Письмо Д. В. Волуева къ И. В. Кирѣевскому.	101
X.	Нѣтъ, нѣтъ, не для меня... Стихотвореніе князя *П. А. Вяземскаго*.	105
XI.	Стихотворенія Каролины Карловны Павловой и воспоминанія о ней.	106
XII.	Письмо Александра Гумбольдта къ К. К. Павловой (1858).	112
XIII.	Жить—дѣйствовать. Статья князя *В. Ѳ. Одоевскаго*. . .	114
XIV.	Письмо Феликса Мендельсона-Бартольди къ А. Ѳ. Львову (1840).	121
XV.	Посланіе въ степь. Стихотвореніе графа *В. А. Соллогуба*.	123

5682964

СТРАН.

XVI. Отрывокъ изъ записокъ Ю. Ѳ. Самарина. 128
XVII. Письма Н. И. Пирогова къ Е. А. Огонь-Догановской (1842—1851). 134
XVIII. Стихотвореніе *А. А. Фета*. 142
XIX. Раздѣлъ. Повѣсть графини *Е. В. Салiасъ*. 143

II.

I—III. Три стихотворенія князя *Н. П. Мещерскаго*. 253
IV. Зимнее утро. Стихотвореніе *В. Н. Лясковскаго*. . . . 255
V. Красный звонъ. Изъ письма *С. В. Смоленскаго* 257
VI. Гаузенъ монастырь. *Л.* 260
VII. Наборъ. *Л.* 269

Приложенный къ Сборнику портретъ А. С. Хомякова есть офортъ, исполненный г. Волковымъ съ рисунка свинцовымъ карандашемъ Э. Д. Дмитріева-Мамонова.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Во всякомъ деревенскомъ домѣ, издавна и постоянно обитаемомъ людьми, не чуждыми интересамъ умственнымъ и художественнымъ, накопляется множество разнообразныхъ памятниковъ ближайшей и болѣе отдаленной старины—писемъ, семейныхъ записей, автографовъ, рисунковъ, портретовъ, летучихъ стихотвореній и прозаическихъ отрывковъ, почему-либо въ свое время не попавшихъ въ печать.

Все это для постороннихъ мало имѣетъ цѣны, но бережно хранится на память объ умершихъ членахъ семьи, въ удовлетвореніе законнаго любопытства грядущихъ ея поколѣній.

Нерѣдко однако среди этого, лишь для одной семьи драгоцѣннаго хлама встрѣчаются вещи, и для постороннихъ драгоцѣнныя: письма людей замѣчательныхъ, отрывки въ стихахъ и прозѣ, принадлежащіе перу писателей, пользующихся заслуженною извѣстностью.

Издателю предлагаемаго «Сборника» вздумалось

подѣлиться съ публикою нѣкоторыми изъ такихъ реликвій, хранящихся въ старомъ домѣ села Татева, принадлежащаго его сестрѣ, Варварѣ Александровнѣ Рачинской, въ надеждѣ, что примѣръ его не останется безъ подражателей.

Къ загробнымъ голосамъ людей давно умершихъ онъ присоединилъ живые голоса нѣкоторыхъ друзей стараго дворянскаго гнѣзда, связанныхъ съ нимъ общими преданіями, литературными и мѣстными.

С. Рачинскій.

I.

I.

И. В. КИРѢЕВСКІЙ О БОРАТЫНСКОМЪ.

(1845).

Боратынскій родился въ 1800 году, то-есть, въ одинъ годъ съ Пушкинымъ; оба были ровесники вѣку. Отъ природы получилъ онъ необыкновенныя способности: сердце глубокочувствительное, душу, исполненную незасыпающей любви къ прекрасному, умъ свѣтлый, обширный и вмѣстѣ тонкій, такъ сказать, до микроскопической проницательности, и особенно внимательный къ предметамъ возвышеннымъ и поэтическимъ, къ вопросамъ глубокомысленнымъ, къ движеніямъ внутренней жизни, къ тѣмъ мыслямъ, которыя согрѣваютъ сердце, проясняя разумъ, — къ тѣмъ музыкальнымъ мыслямъ, въ которыхъ голосъ сердца и голосъ разума сливаются созвучно въ одно задумчивое (настроеніе) размышленіе. Въ первомъ дѣтствѣ получилъ онъ самое тщательное воспитаніе; оно много помогло впослѣдствіи развитію его необыкновенно-утонченнаго вкуса. Но молодость его была несчастлива. Въ далекой Финляндіи, посреди дикой и мрачной природы, въ разлукѣ съ родными и близкими ему

людьми, съ неодолимою тоскою по родинѣ, вдали отъ тѣхъ, кто могъ бы понять его и утѣшить сочувствіемъ, печально и одиноко провелъ онъ лучшіе годы своей юности. Это обстоятельство, вѣроятно, содѣйствовало тому, что его самыя свѣтлыя мысли, и даже въ самое счастливое время его жизни, остались навсегда проникнуты тихою, но неотразимою грустью. Впрочемъ, можетъ быть, онъ и отъ природы былъ уже склоненъ къ этому направленіе мысли, которое очень часто замѣчается въ людяхъ, соединяющихъ глубокій умъ съ глубокою чувствительностью. Оно происходитъ, вѣроятно, оттого, что такіе люди смотрятъ на жизнь не шутя, разумѣютъ ея высокую тайну, понимаютъ важность своего назначенія, и вмѣстѣ неотступно чувствуютъ бѣдность земного бытія. Оттого они даже въ кругу забавъ и шумныхъ удовольствій часто кажутся печальными; оттого самое чувство радости для нихъ бываетъ соединено съ неодолимою задумчивостью и скорѣе похоже на грусть, чѣмъ на веселость обыкновенныхъ людей. Но между тѣмъ изъ Финляндіи Боратынскій могъ иногда пріѣзжать въ Петербургъ, гдѣ въ то время только явился первый выпускъ учениковъ Царскосельскаго Лицея,—юношей, почти дѣтей, связанныхъ узами благородной дружбы, основанной на одинаковомъ воспитаніи, на общей имъ внушенной любви къ великому, къ прекрасному, къ просвѣщенію, къ наукамъ, къ искусству,—дружбы, особенно крѣпкой и внутреннимъ согласіемъ ихъ нравственныхъ понятій. Въ числѣ ихъ были молодой Пушкинъ, Дельвигъ и весьма многіе юноши, богатые талантами, или замѣчательные умомъ, или сильные характеромъ, различные способностями, но всѣ проникнутые нетерпѣливою жаждою дѣятельности, живымъ стремленіемъ къ значительнымъ цѣлямъ жизни. Впослѣдствіи не всѣ развились одинаково; различныя обстоятельства развели ихъ въ раз-

личныя стороны; нѣкоторые могли остановиться на своемъ развитіи; иные, можетъ быть, могли уклониться отъ перваго направленія, впасть на нѣкоторое время въ крайность или заблужденіе; другіе счастливо совершили поприще свое; но въ то время ихъ общее дружеское сочувствіе пробудило въ каждомъ изъ нихъ всѣ лучшія способности души, такъ что изъ ихъ значительнаго круга, или отъ живого соприкосновенія съ ними, вышли почти всѣ замѣчательные люди того времени.

Съ ними сошелся и Боратынскій, и въ ихъ живительномъ обществѣ загорѣлась въ душѣ его первая искра его поэтическаго таланта, уже приготовленнаго его прежнею жизнью. Такъ, въ хорошемъ, равно какъ и въ дурномъ, сочувствіе окружающихъ насъ людей вызываетъ изъ сердца тѣ стремленія, которыя безъ того, можетъ быть, никогда не родились бы на свѣтъ. Общее мнѣніе скоро соединило имя Боратынскаго съ именемъ Пушкина и Дельвига, въ то же время какъ внутреннее сродство сердечныхъ пристрастій связало ихъ самою искреннею дружбою, цѣло сохранившеюся до конца жизни всѣхъ трехъ.

Боратынскій скончался въ прошедшемъ году, въ Италіи, которую онъ особенно любилъ въ своихъ далекихъ мечтаніяхъ,—въ кругу своего семейства, гдѣ онъ нашелъ то душевное счастье, которое было главною потребностью его любящаго сердца. „Сладко проходитъ здѣсь жизнь наша“— писалъ онъ въ послѣднемъ письмѣ изъ Неаполя къ своему брату.

Стихи Боратынскаго отличаются тѣми же качествами, какія составили особенность его поэтической личности: утонченность наружной отдѣлки всегда скрываетъ въ нихъ сердечную мысль, глубоко и заботливо обдуманную. Но между тѣмъ сколько ни замѣчательно ихъ поэтическое достоин-

ство, однако они еще не вполнѣ выказываютъ тотъ міръ изящнаго, который онъ носилъ въ глубинѣ души своей. Рожденный для искренняго круга семьи и друзей, необыкновенно-чувствительный къ сочувствію людей ему близкихъ, Боратынскій охотно и глубоко высказывался въ тихихъ дружескихъ бесѣдахъ и тѣмъ заглушалъ въ себѣ иногда потребность выражаться для публики. Изливъ свою душевную мысль въ дружескомъ разговорѣ, живомъ, разнообразномъ, невыразимо-увлекательномъ, исполненномъ счастливыхъ словъ и многозначительныхъ мыслей, согрѣтомъ теплотою чувства, проникнутомъ изяществомъ вкуса, умною, всегда умѣстною шуткою, дальновидностью тонкихъ замѣчаній, поразительной оригинальностью мыслей и особенно поэзіей внутренней жизни,—Боратынскій часто довольствовался живымъ сочувствіемъ своего близкаго круга, менѣе заботясь о возможныхъ далекихъ читателяхъ. Оттого для тѣхъ, кто имѣлъ счастье его знать, прекрасные звуки его стиховъ являются еще многозначительнѣе, какъ отголоски его внутренней жизни. Но для другихъ, чтобы понять всю красоту его созданій, надобно прежде вдуматься въ совокупный смыслъ его отдѣльныхъ стихотвореній, вслушаться въ общую гармонію его задумчивой поэзіи.

II.

ПИСЬМА Е. А. БОРАТЫНСКАГО КЪ И. В. КИРѢЕВСКОМУ.

1.

(1829).

Не знаю, застанетъ ли тебя письмо мое въ Россіи, и все-таки пишу, чтобъ увѣдомить тебя о благополучномъ моемъ пріѣздѣ въ мою татарскую родину, а главное, чтобы доказать тебѣ, что для тебя я не вовсе безграмотенъ или не такъ лѣнивъ на письма, какъ ты думаешь. Отъѣздъ твой изъ Москвы утѣшитъ меня въ собственномъ моемъ отъѣздѣ; но грустно мнѣ думать, что при возвращеніи моемъ я не найду тебя у Красныхъ Воротъ, въ домѣ бывшемъ Мертваго. Надѣюсь однако, что мы съ тобой довольно пожили, поспорили, помечтали, чтобъ не забыть другъ друга. Мы съ тобой товарищи умственной службы, умственныхъ походовъ, и связь наша должна быть по крайней мѣрѣ столько же надежною, сколько-бъ она могла быть между товарищами по службѣ Е. И. В. и по походамъ графа Паскевича Эриванскаго. Пиши мнѣ изъ просвѣщеннаго Парижа, а я буду отвѣчать тебѣ изъ варварскаго Кирсанова. Ежели

письма мои тебѣ покажутся не довольно подробными, не сердись: я въ самомъ дѣлѣ писать неохотникъ, и это служитъ только прекраснымъ доказательствомъ, что намъ не должно разлучаться. О моемъ теперешнемъ житьѣ-бытьѣ сказать тебѣ мнѣ почти нечего. Я не успѣлъ еще осмотрѣться на новомъ мѣстѣ. Надѣюсь, что въ деревенскомъ уединеніи проснется моя поэтическая дѣятельность. Пора мнѣ приняться за перо: оно у меня слишкомъ долго отдыхало. Къ тому же чѣмъ я болѣе размышляю, тѣмъ тверже увѣряюсь, что въ свѣтѣ нѣтъ ничего дѣльнѣе поэзіи.

Прощай, милый Кирѣевскій, люби меня и помни, а я тебя вѣрно не разлюблю и не забуду. Маменькѣ твоей свидѣтельствую мое усердное почтеніе. Она любезна со всѣми, но ежели мое чувство меня не обманываетъ, со мной обходилась она дружески, и я вспоминаю это съ самою нѣжною признательностію. Обнимаю тебя.—Е. Боратынскій.

Жена моя кланяется маменькѣ твоей и тебѣ.

2.

(1829).

Милое, теплое и умное письмо твое меня и заняло, и обрадовало, и тронуло. Не думай, чтобы я хотѣлъ писать тебѣ мадригалы; нѣтъ, мой милой Кирѣевскій, но я радъ, что я нахожу тебя такимъ, каковъ ты есть, радъ, что мое чутье меня въ тебѣ не обмануло, радъ еще одному—что ты, съ твоей чувствительностію пылкою и разнообразною, полюбилъ меня, а не другого. Я нахожу довольно теплоты въ моемъ сердцѣ, чтобъ никогда не охладить твоего, чтобы дѣлить всѣ твои мечты и отвѣчать душевнымъ словомъ на душевное слово. Береги въ себѣ этотъ огонь душевный, эту способность привязанности, чистый, богатый источникъ всего

прекраснаго, всякой поэзіи и самаго глубокомыслія. Люди, которыхъ охлаждаетъ суетный опытъ, показываютъ не проницательность, а сердечное безсиліе. Вынесть сердце свое свѣжимъ изъ опытовъ жизни, не позволить ему смутиться ими, вотъ на что мы должны обратить всѣ наши нравственныя способности. Прекрасное положительнѣе полезнаго, оно принадлежитъ намъ въ бо́льшей собственности, оно проникаетъ все существо наше, между тѣмъ какъ остальное едва нами осязается. Я пишу эти строки съ истиннымъ восторгомъ, знаю, что твое сердце не имѣетъ нужды въ подобныхъ поощреніяхъ; но мнѣ, въ мои теперешнія лѣта, испытавъ, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ болѣе другого, размышляя не менѣе другихъ, мнѣ сладко съ глубокимъ убѣжденіемъ принести это свидѣтельство въ пользу первыхъ чистыхъ вдохновеній сердца, простительныхъ, годныхъ, по мнѣнію эгоизма, только въ одну пору, а по мнѣ, священныхъ, драгоцѣнныхъ во всякое время. —Я заболтался, душа моя, но отъ добраго сердца. Желаніе мое состоитъ въ томъ, чтобы ты воротился изъ дальнихъ странствій, какимъ поѣхалъ, и обнялъ бы меня съ старинною горячностію. Скажи Максимовичу, что я пришлю ему первую пьесу, которая у меня напишется. Ежели же Музы ко мнѣ не будутъ милостивы, то пусть на меня не пеняетъ и любитъ меня по прежнему. Прощай, мой милый, поклонись отъ меня и отъ жены моей милой твоей маменькѣ. Когда будешь писать къ Соболевскому, скажи ему отъ меня нѣсколько добрыхъ дружескихъ словъ. Напиши, когда именно ты выѣзжаешь изъ Москвы.

Жена моя тебя очень благодаритъ за твое дружеское воспоминаніе и любитъ тебя столько же, сколько я.

3.

(29 ноября 1829).

Доставь, душа моя, эти стихи Максимовичу и поблагодари отъ меня за милое его письмо. Не отвѣчаю ему за недосугомъ и спѣша отправить на почту мой посильный оброкъ его альманаху. Въ послѣднемъ моемъ письмѣ я непростительно забылъ благодарить твою маменьку за намѣреніе прислать мнѣ Вальтеръ-Скоттовскую новинку. Я, кажется, ее уже имѣю: это—Charles le Téméraire, не правда-ли? По приложеннымъ стихамъ ты увидишь, что у меня новая поэма въ пальцахъ, и поэма ультра-романтическая. Пишу ее, очертя голову. Прощай, мой милый, обнимаю тебя преусердно, разумѣется, что также свидѣтельствую мое почтеніе всему твоему дому, мнѣ очень, очень любезному.—Е. Боратынскій.

4.

(1831).

Я буду у тебя завтра. Давно съ тобою не видѣлся отъ того, что занятъ былъ Пушкинымъ. Всѣ наши, и въ томъ числѣ я, здоровы и кланяемся тебѣ и твоимъ. Озеровъ о своихъ сыновьяхъ не имѣетъ никакихъ извѣстій, кромѣ печатныхъ. Написалъ ли ты повѣсть? моя готова.—Е. Боратынскій.

5.

(1831).

Вообрази себѣ, милый Кирѣевскій, что мы совсѣмъ нечаянно собрались ѣхать въ Казань, и что мнѣ, можетъ быть, не удастся съ тобой проститься, ибо до насъ доходятъ слухи, что въ Москвѣ снова холера, и мои домашніе никакъ меня не отпускаютъ. Пишу къ тебѣ посреди хлопотъ, нераздѣль-

ныхъ съ путевыми сборами. Посылаю тебѣ твоего Сисмонди и Villemain. Въ Петербургѣ не могли достать экземпляра, и ты не можешь себѣ вообразить, какъ мнѣ передъ тобою совѣстно. Urbain говорилъ мнѣ, что въ іюлѣ мѣсяцѣ у него будетъ. Ежели такъ, купи у него все сочиненіе и, перемѣнивъ одинъ томъ, перешли ко мнѣ въ Казань. Деньги возьми у Салаева. Данные ему экземпляры „Наложницы", вѣроятно, разошлись. Кстати: я тебѣ послалъ его росписку, но ты не пишешь, получилъ ли ее. Такъ-то, мой милый, въ то самое время, когда я думалъ оставаться въ Москвѣ, я ее покидаю. Но это путешествіе мнѣ черезъ годъ или два должно было бы непремѣнно сдѣлать и разстаться съ моими родными. Теперь мы ѣдемъ вмѣстѣ, и, проживъ до будущей весны, я уже не буду имѣть нужды возвращаться. Не смотря на это, ѣду съ стѣсненнымъ сердцемъ, и будущее пугаетъ меня, тѣмъ болѣе, что я люблю настоящее. Дай Богъ, чтобы я не нашелъ въ Москвѣ никакой перемѣны, и всѣхъ бы васъ нашелъ, какъ оставилъ. Прощай, мой милый, болѣе писать некогда. Куча дѣла. Обнимаю тебя. Языкова тоже. Скажи мое почтеніе всѣмъ твоимъ, которыхъ я готовъ назвать своими.—Е. Боратынскій.

6.

(1831).

Пишу тебѣ изъ Казани, милый Кирѣевскій. Дорогой писать не могъ, потому что мы объѣзжали города, въ которыхъ снова показалась холера. Какъ путешественникъ, я имѣю право говорить о моихъ впечатлѣніяхъ. Назову главное: скука. Россію можно проѣхать изъ конца въ конецъ, не увидавъ ничего отличнаго отъ того мѣста, изъ котораго выѣхалъ. Все плоско. Одна Волга меня порадовала и заставила меня вспомнить Языкова, о которомъ впрочемъ

я и безъ того помнилъ. Пріѣхавъ въ Казань, я сталъ читать Московскія газеты и увидѣлъ въ нихъ объявленіе брошюрки „О Борисѣ Годуновѣ". Не твое ли это? Вѣроятно, нѣтъ; вопервыхъ, потому, что ты слишкомъ лѣнивъ, чтобы такъ проворно написать и напечатать; вовторыхъ, потому, что ты обѣщалъ мнѣ прислать статью твою до печати. Надѣюсь въ деревенскомъ уединеніи путемъ приняться за перо. Ежели я ничего не замѣтилъ дорогою, то многое обдумалъ. Путешествіе по нашей родинѣ тѣмъ хорошо, что не мѣшаетъ размышленію. Это путешествіе по безпредѣльному пространству, измѣряемое однимъ временемъ: за то и приноситъ плодъ свой, какъ время. Кстати не мѣшало бы у насъ означать разстояніе часами, а не верстами, какъ то и дѣлается въ нѣкоторыхъ земляхъ не по столь неоспоримому праву. Прощай, мой милый. Я пишу къ тебѣ ералашъ оттого, что усталъ, оттого, что жарко. Изъ деревни буду писать тебѣ порядочнѣе. Поклонись отъ меня всѣмъ своимъ. Жена моя не пишетъ за хлопотами. Она закупаетъ разныя вещи, нужныя намъ въ деревнѣ, и теперь ея нѣтъ дома. Обнимаю тебя отъ всей души.—Е. Боратынскій.

7.

(1831).

Какъ ты поживаешь, милый мой Кирѣевскій, и что ты подѣлываешь? Благодатно ли для тебя уединеніе? Идетъ ли впередъ твой романъ? Кстати объ романѣ: я много думалъ о немъ это время, и вотъ что я о немъ думаю. Всѣ прежніе романисты неудовлетворительны для нашего времени по той причинѣ, что всѣ они придерживались какой-нибудь системы. Одни—спиритуалисты, другіе—матеріалисты. Одни выражаютъ только физическія явленія человѣческой природы, другіе видятъ только ея духовность. Нужно соединить оба

рода въ одномъ. Написать романъ эклектической, гдѣ бы человѣкъ выражался и тѣмъ, и другимъ образомъ. Хотя все сказано, но все сказано порознь. Сблизивъ явленія, мы представимъ ихъ въ новомъ порядкѣ, въ новомъ свѣтѣ. Вотъ тебѣ вкратцѣ и на франмасонскомъ языкѣ мои размышленія. Я покуда ничего не дѣлаю. Деревья и зелень покуда столько же развлекаютъ меня въ деревнѣ, сколько люди въ городѣ. Ѣзжу всякой день верхомъ, однимъ словомъ веду жизнь, которой можетъ быть доволенъ только Рамихъ.— Прощай, мой милый, обнимаю тебя, а ты обними за меня Языкова. Не забывайте объ альманахѣ.—Твой Е. Боратынскій.

Я прочелъ въ *Литературной Газетѣ* разборъ „Наложницы“ весьма лестный и весьма неподробный. Это — дружескій отзывъ. Что-то говорятъ недруги? Ежели у тебя что-нибудь есть, пришли, сдѣлай милость. Я намѣренъ отвѣчать на критики. Жена тебѣ кланяется.

8.

(1831).

Отвѣчаю тебѣ весьма наскоро, и потому прошу принять эту грамоту за записку, а не за письмо. Благодарю тебя за добрыя вѣсти о здоровьѣ твоей мамеpьки. Надѣюсь, что оно скоро утвердится. О торговыхъ дѣлахъ мой отвѣтъ могъ бы быть очень коротокъ: я бы сказалъ: дѣлай, что хочешь, и былъ бы покоенъ; но я знаю, что ты—человѣкъ черезъ-чуръ совѣстливый, и ежели бъ что-нибудь не удалось, тебѣ было бы болѣе досадно, нежели мнѣ. Вотъ почему скажу тебѣ, что на счетъ Ширяева я съ тобой согласенъ. Что же до Кольчугина, то думаю уступить менѣе 8 р. экземпляръ, ежели возьмутъ 100 разомъ — по 7 р. 50 к. или даже по 7.

Объ романѣ мнѣ кажется, что мы оба правы: всякій взглядъ хорошъ, лишь бы онъ былъ ясенъ и силенъ. Я писалъ тебѣ болѣе о романѣ вообще, нежели о твоемъ романѣ; думаю между тѣмъ, что мои мысли внушатъ тебѣ что-нибудь, можетъ быть, подробности какой-нибудь сцены. Я очень хорошо знаю, что нельзя пересоздать однажды созданное. Напиши мнѣ, какъ ты найдешь Гнѣдича. Признаюсь, мнѣ очень жаль, что я его не увижу. Я любилъ его, и это чувство еще не остыло. Можетъ быть, теперь я нашелъ бы въ немъ кое-что смѣшное: что за дѣло! Пріятно взглянуть на колокольню села, въ которомъ родился, хотя она уже не покажется такою высокою, какъ казалась въ дѣтствѣ. Я покуда ничего не дѣлаю: ѣзжу верхомъ и, какъ ты, читаю Руссо. Я объ немъ напишу тебѣ на дняхъ: онъ пробудилъ во мнѣ много чувствъ и мыслей. Человѣкъ отмѣнно замѣчательный и болѣе искренній, нежели я сначала думалъ. Все, что онъ о себѣ говоритъ, безъ сомнѣнія, *было*, можетъ быть, только не совсѣмъ въ томъ порядкѣ, въ которомъ онъ разсказываетъ. Его „Confessions“ — огромный подарокъ человѣчеству. Обнимаю тебя. — Е. Боратынскій.

P. S. Деньги я получилъ.

9.

(1831).

Дружба твоя, милый Кирѣевскій, принадлежитъ къ моему домашнему счастію: картина его была бы весьма неполной, ежели-бъ я пропустилъ рѣчи наши о тебѣ, удовольствіе, съ которымъ мы читаемъ твои письма, искренность, съ которою тебя любимъ и радуемся, что ты намъ платишь тѣмъ же. Мы оба видимъ въ тебѣ милаго брата и мысленно пріобщаемъ тебя къ нашей семейной жизни. Ты изъ нея

не выходишь и въ мечтахъ нашихъ о будущемъ, и когда мы располагаемъ имъ по волѣ нашего сердца, ты всегда у насъ въ сосѣдствѣ, всегда подъ нашимъ кровомъ. Ты первый изъ всѣхъ знакомыхъ мнѣ людей, съ которымъ изливаюсь я безъ застѣнчивости: это значитъ, что никто еще не внушалъ мнѣ такой довѣренности къ душѣ своей и своему характеру. Сдѣлалъ бы тебѣ описаніе нашей деревенской жизни, но теперь не въ духѣ. Скажу тебѣ вкратцѣ, что мы пьемъ чай, обѣдаемъ, ужинаемъ часомъ раньше, нежели въ Москвѣ. Вотъ тебѣ рама нашего существованія. Вставь въ нее прогулки, верховую ѣзду, разговоры; вставь въ нее то, чему нѣтъ имени: это общее чувство, этотъ итогъ всѣхъ нашихъ впечатлѣній, который заставляетъ проснуться весело, гулять весело, эту благодать семейнаго счастія, и ты получишь довольно вѣрное понятіе о моемъ бытьѣ. „Наложницу“ оставляю совершенно на твое попеченіе. Жду съ нетерпѣніемъ твоего разбора. Пришли, когда кончишь. О недостаткахъ „Бориса“ можешь ты намекнуть вкратцѣ и распространиться о его достоинствахъ. Такимъ образомъ ты будешь правъ передъ собою и передъ отношеніями. Я не совсѣмъ согласенъ съ тобою въ томъ, что слогъ „Іоанны“ служилъ образцомъ слога „Бориса“. Жуковскій могъ только выучить Пушкина владѣть стихомъ безъ риѳмы, и то нѣтъ, ибо Пушкинъ не слѣдовалъ пріемамъ Жуковскаго, соблюдая вездѣ цезуру. Слогъ „Іоанны“ хорошъ самъ по себѣ, слогъ „Бориса“ тоже. Въ слогѣ „Бориса“ видно вѣрное чувство старины, чувство, составляющее поэзію трагедіи Пушкина, между тѣмъ какъ въ „Іоаннѣ“ слогъ прекрасенъ безъ всякаго отношенія. — Прощай, мой милый, крѣпко обнимаю тебя. Пиши къ намъ. Жена моя очень благодарна тебѣ за дружескія твои привѣтствія. Впрочемъ я всегда пишу къ тебѣ въ двухъ лицахъ. Обними за меня Языкова, радъ

очень, что онъ выздоравливаетъ. Очень мнѣ хочется съ вами обоими повидаться, и можетъ быть, я соберусь на день—другой въ Москву, ежели здоровье мое позволитъ. Не забудь поклониться отъ меня Гнѣдичу.

10.

(1831).

Не стану благодарить тебя за твои хлопоты: пора оставить эти сухія формулы между нами; онѣ отзываются недовѣрчивостію, а у меня нѣтъ ея къ тебѣ. Надѣюсь, что въ этомъ мы сочувствуемъ. Денегъ мнѣ не присылай, а оставь у себя до нашего свиданія. Я буду въ Москву въ іюлѣ, а въ сентябрѣ непремѣнно. Мнѣ надо тебѣ растолковать мысли мои о романѣ: я тебѣ изложилъ ихъ слишкомъ категорически. Какъ идеалъ конечнаго возьми „L'âne mort“ и „La confession“, какъ идеалъ спиритуальности всѣ сентиментальные романы: ты увидишь всю односторонность того и другого рода изображеній и ихъ взаимную неудовлетворительность. Фильдингъ, Вальтеръ Скоттъ ближе къ моему идеалу, особенно первый, но они угадали какимъ-то инстинктомъ современныя требованія, и потому, попадая на настоящую дорогу, безпрестанно съ нея сбиваются. Писатель, привыкшій мыслить эклектически, пойдетъ, я думаю, далѣе, то-есть, будетъ еще отчетливѣе. Не думай, чтобы я требовалъ систематическаго романа, нѣтъ, я говорю только, что старые не могутъ служить образцами. Всякой писатель мыслитъ, слѣдственно, всякій писатель, даже безъ собственнаго сознанія,—философъ. Пусть же въ его твореніяхъ отразится собственная его философія, а не чужая. Мы родились въ вѣкъ эклектическій: ежели мы будемъ вѣрны нашему чувству, эклектическая философія должна отразиться въ нашихъ твореніяхъ; но старые образцы могутъ насъ сбить съ

толку, и я указываю на современную философію для современныхъ произведеній, какъ на магнитную стрѣлку, могущую служить путеводителемъ въ нашихъ литературныхъ поискахъ.—Что съ твоею маменькою? Надѣюсь, что нездоровье ея не важно. Поцѣлуй ей за меня ручки и скажи, чтобъ она не полагалась на одну силу воли для выздоровленія и похлопотала бы хоть разъ о себѣ, какъ ежедневно хлопочетъ о другихъ. Жена моя тебѣ усердно кланяется и благодаритъ Языкова за его память. Свояченица моя препоручила мнѣ тоже тебѣ поклониться. Дѣло въ томъ, что всѣ мы очень тебя любимъ. Посылаю тебѣ росписку Салаева. Ежели Логиновъ и другіе покупаютъ „Наложницу“, то его экземпляры вѣроятно разошлись, и можно съ него потребовать деньги. Возьми ихъ и оставь у себя. Что ты Языковъ, не выздоравливаешь? Это, право, грустно. Прощайте, братцы, до будущаго свиданія. Обнимаю тебя.

11.

(6-го августа 1831).

Что ты молчишь, милый Кирѣевскій? Твое молчаніе меня безпокоитъ. Я слишкомъ тебя знаю, чтобы приписать его охлажденію; не имѣю права приписать его и лѣни. Здоровъ ли ты и здоровы ли всѣ твои? Право не знаю, что думать. Я въ самомъ гипохондрическомъ расположеніи духа, и у меня въ умѣ упрямо вертится одинъ вопросъ: отчего ты не пишешь? Письмо отъ тебя мнѣ необходимо. Не знаю, о чемъ тебѣ говорить. Вотъ уже мѣсяцъ, какъ я въ своей Казанской деревнѣ. Сначала похлопоталъ по хозяйству, говорилъ съ прикащиками и старостами. У меня тяжебное дѣло, толковалъ съ судьями и секретарями. Можешь себѣ вообразить, какъ это весело. Теперь я празденъ, но не умѣю еще пользоваться досугомъ. Мысль приходитъ за

мыслью, не на одной не могу остановиться. Воображеніе напряжено, мечты его живы, но своевольны, и лѣнивый умъ не можетъ ихъ привести въ порядокъ. Вотъ тебѣ моя психологическая исповѣдь.—Дорогой и частію дома я перечиталъ „Элоизу“ Руссо. Какимъ образомъ этотъ романъ казался страстнымъ? Онъ удивительно холоденъ. Я нашелъ насилу мѣста два истинно трогательныхъ и два или три выраженія прямо отъ сердца. Письма Saint-Preux лучше, нежели Юліи, въ нихъ болѣе естественности; но вообще это трактаты нравственности, а не письма двухъ любовниковъ. Въ романѣ Руссо нѣтъ никакой драматической истины, ни малѣйшаго драматическаго таланта. Ты скажешь, что это и не нужно въ романѣ, который не объявляетъ на нихъ никакого притязанія, въ романѣ чисто аналитическомъ; но этотъ романъ—въ письмахъ, а въ слогѣ письма долженъ быть слышенъ голосъ пишущаго: это въ своемъ родѣ то же, что разговоръ,—и посмотри, какое преимущество имѣетъ надъ Руссо сочинитель „Клариссы“. Видно, что Руссо не имѣлъ въ предметѣ ни выраженіе характеровъ, ни даже выраженіе страсти, а выбралъ форму романа, чтобы отдать отчетъ въ мнѣніяхъ своихъ о религіи, чтобы разобрать нѣкоторые тонкіе вопросы нравственности. Видно, что онъ писалъ Элоизу въ старости: онъ знаетъ чувства, опредѣляетъ ихъ вѣрно, но самое это самопознаніе холодно въ его герояхъ, ибо оно принадлежитъ не ихъ лѣтамъ. Романъ дуренъ, но Руссо хорошъ, какъ моралистъ, какъ діалектикъ, какъ метафизикъ, но... отнюдь не какъ создатель. Лица его безъ физіономіи, и хотя онъ говоритъ въ своихъ „Confessions“, что они живо представлялись его воображенію, я этому не вѣрю. Руссо зналъ, понималъ одного себя, наблюдалъ за однимъ собою, и всѣ его лица Жанъ-Жаки, кто въ штанахъ, кто въ юпкѣ. Прощай, мой милый. Дѣлюсь

съ тобою, чѣмъ могу: мыслями. Пиши, ради Бога. Поклонись отъ меня всѣмъ твоимъ и Языкову. Надѣюсь, что я скоро перестану о тебѣ безпокоиться и только посержусь немного.

12.

(13-го августа 1831).

Я не шутя о тебѣ горюю, милый Кирѣевскій. Вотъ еще почта, и нѣтъ отъ тебя ни слова. Ты, вѣрно, боленъ, или съ тобою случилось что-нибудь весьма необыкновенное. Послѣднее предположеніе меня не утѣшаетъ. Ты промолчишь свое горе, а счастіемъ вѣрно подѣлишься. Чѣмъ болѣе я думаю о причинахъ твоего молчанія, тѣмъ болѣе тревожусь. Желалъ бы приписать его лѣни, но знаю, что, по несчастію, ты не имѣешь этого недостатка, когда дѣло идетъ о дружбѣ. Я сердитъ на твоихъ. Они знаютъ, что наша связь — не простое знакомство. Что́ бы имъ увѣдомить меня о тебѣ, ежели ты самъ писать не можешь? Сегодня думалъ я спросить о тебѣ твою маменьку, но оставилъ это изъ суевѣрія. Пишу къ тебѣ съ безпокойствомъ и грустію. Прощай, мой милый, дай Богъ, чтобы опасенья мои были несправедливы. Ежели ты былъ боленъ (въ чемъ я почти не сомнѣваюсь) и еще не довольно выздоровѣлъ, чтобы писать, попроси или маменьку, или брата, или сестру увѣдомить насъ о тебѣ. Всѣ мои тебѣ кланяются и раздѣляютъ со мной мое безпокойство. Обнимаю тебя.—Е. Боратынскій.

13.

(1831).

Спасибо тебѣ за твою записку. Это истинно дружеское вниманіе, и ежели бъ ты зналъ, какое удовольствіе приносятъ пустыннику самыя коротенькія строки изъ живого мѣста (не говоря уже, какъ пріятно видѣть, что насъ помнятъ тѣ,

которыхъ мы любимъ), ты бы всегда дѣлалъ, какъ нынче. Не всегда мы расположены писать, не всегда есть мысли, не всегда есть время на длинное письмо; но всегда можно сказать: здравствуй и прощай, которые въ письмѣ болѣе значатъ, нежели въ горницѣ. Я буду слѣдовать твоему примѣру, но не переставай мнѣ давать его. Это отстранитъ отъ нашей переписки всякое принужденіе, всякую обдуманность; да къ тому же, садясь за бумагу съ тѣмъ, чтобы написать два слова, всегда напишешь болѣе, и въ этой прибавкѣ будетъ истинное вдохновеніе. Сегодня голова моя довольно пуста, и я кончаю письмо мое извѣстіемъ, что я живъ и здоровъ; а чтобъ оно было не совсѣмъ пусто, переписываю тебѣ двѣ небольшія пьесы, написанныя мною недавно.

1.

Не славь, обманутый Орфей,
Мнѣ залетійскія селенья.
Элизій въ памяти моей,
И въ немъ не льется водъ забвенья.
Въ немъ міръ цвѣтущей старины
Умершихъ тѣни населяютъ,
Привычки жизни сохраняютъ
И чувствъ ея не лишены.
Тамъ живъ ты, Дельвигъ; тамъ за чашей
Еще со мною шутишь ты,
Поешь веселье дружбы нашей
И сердца юныя мечты.

2.

Въ дни безграничныхъ увлеченій,
Въ дни необузданныхъ страстей,
Со мною жилъ превратный геній—
Наперсникъ юности моей.
Онъ жаръ восторговъ несогласныхъ
Во мнѣ питалъ и раздувалъ;
Но соразмѣрностей прекрасныхъ
Въ душѣ носилъ я идеалъ.
Когда лишь праздниковъ смятенья
Алкалъ безумецъ молодой,
Поэта мѣрныя творенья
Блистали стройной красотой.

Страстей порывы утихаютъ,
Страстей нечистыя мечты
Передо мной не затмѣваютъ
Законовъ вѣчной красоты,
И поэтическаго міра
Огромный очеркъ я узрѣлъ
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотѣлъ.

Эти пьесы, равно какъ и та, которую я написалъ Языкову — для тебя и для твоихъ. Не показывай и не давай ихъ постороннимъ. Обнимаю тебя отъ всей души.—Е. Боратынскій.

14.

(21-го сентября 1831).

Отвѣчаю разомъ на два твои письма, милый Кирѣевскій, потому что они пришли въ одно время. Не дивись этому: московская почта приходитъ въ Казань два раза въ недѣлю, а мы изъ своей деревни посылаемъ въ городъ только разъ. Благодарю тебя за хлопоты о „Наложницѣ". Авось разойдется зимою. Впрочемъ успѣхъ и неуспѣхъ ея для меня теперь равнодушенъ. Я какъ-то остылъ къ ея участи. Ты меня истинно обрадовалъ намѣреніемъ издавать журналъ. Боюсь только, чтобы оно не было однимъ изъ тысячи нашихъ плановъ, которые остались — планами. Ежели дѣло дойдетъ до дѣла, то я—непремѣнный и усердный твой сотрудникъ, тѣмъ болѣе, что все меня клонитъ къ прозѣ. Надѣюсь въ годъ доставить тебѣ двѣ-три повѣсти и помогать тебѣ живо вести полемику. Критикъ на „Наложницу" я не читалъ: я не получаю журналовъ. Ежели бъ ты могъ мнѣ прислать № *Телескопа*, въ которомъ напечатано возраженіе на мое предисловіе, я бы непремѣнно отвѣчалъ, и отвѣчалъ дѣльно и обширно. Я еще болѣе обдумалъ мой предметъ со времени выхода въ свѣтъ „Наложницы", обду-

малъ со всѣми вопросами, къ нему прикосновенными, и надѣюсь разрѣшить ихъ, ни въ чемъ не противорѣча первымъ моимъ положеніямъ. Статья моя пригодилась бы для твоего журнала. Я сберегу тебѣ твой № *Телескопа* и перешлю обратно, какъ скоро статья моя будетъ готова. Ты напрасно почитаешъ меня неумолимымъ критикомъ Руссо; напротивъ, онъ совершенно увлекъ меня. Въ „Элоизѣ“ я критикую только романъ, такъ же, какъ можно критиковать созданіе поэмъ Байрона. Когда-то сравнивали Байрона съ Руссо, и это сравненіе я нахожу весьма справедливымъ. Въ твореніяхъ того и другого не должно искать независимой фантазіи, а только выраженія ихъ индивидуальности. Оба — поэты самости; но Байронъ безусловно предается думѣ о себѣ самомъ; Руссо, рожденный съ душою болѣе разборчивою, имѣетъ нужду себя обманывать: онъ морализируетъ, и въ своей морали выражаетъ требованія души своей, мнительной и нѣжной. Въ „Элоизѣ“ желаніе показать возвышенное понятіе свое о нравственномъ совершенствѣ человѣка, блистательно разрѣшить нѣкоторыя трудныя задачи совѣсти, безпрестанно заставляетъ его забывать драматическую правдоподобность. Любовь по природѣ своей — чувство исключительное, не терпящее никакой совмѣстности, оттого-то „Элоиза“, въ которой Руссо чаще предается вдохновенію нравоучительному, нежели страстному, производитъ такое странное, неудовлетворительное впечатлѣніе. Мы видимъ въ „Confessions“, что любовь къ m-me Houdetot внушила ему „Элоизу“; но по тому несоразмѣрному участку, который занимаетъ въ ней мораль и философія (кровная собственность Руссо), мы чувствуемъ, что идеалъ любовницы Saint-Lambert всегда уступалъ въ его воображеніи идеалу Жакъ-Жака. Въ составѣ души Руссо еще болѣе, нежели въ составѣ его романа, находятся недостатки послѣдняго. „Элоиза“ мнѣ

нравится менѣе другихъ произведеній Руссо. Романъ, я стою въ томъ, твореніе, совершенно противорѣчащее его генію. Въ то время, какъ въ „Элоизѣ“ меня сердитъ каждая страница, когда мнѣ досаждаютъ даже красоты ея, всѣ другія его произведенія увлекаютъ меня неодолимо. Теплота его слова проникаетъ мою душу, искренняя любовь къ добру меня трогаетъ, раздражительная чувствительность сообщается моему сердцу. Видишь, какъ я съ тобою заболтался. Жена моя, которая тебя очень любитъ, тебѣ кланяется. Обнимаю тебя.—Е. Боратынскій.

15.

(8-го октября 1831).

Спасибо тебѣ за стихи Пушкина и Жуковскаго. Я хотѣлъ было ихъ выписать, но ты меня предупредилъ. Стихи Жуковскаго читалъ я безъ подписи въ *Сѣверной Пчелѣ* и никакъ не могъ угадать автора. Необыкновенныя риѳмы и примѣтная твердость слога меня поразили, но фамиліарный тонъ удалилъ всякую мысль о Жуковскомъ. Первое стихотвореніе Пушкина мнѣ болѣе нравится, нежели второе. Въ немъ сказано дѣло и указана настоящая точка, съ которой должно смотрѣть на нашу войну съ Польшей. Ты подчеркнулъ стихъ: *Стальной щетиною сверкая*. Ты, вѣроятно, находишь его слишкомъ изысканнымъ. Можетъ быть, ты правъ, однако онъ силенъ и живописенъ. Я уже отвѣчалъ тебѣ о журналѣ. Принимайся съ Богомъ за дѣло. Что̀ касается до названія, мнѣ кажется всего лучше выбрать такое, которое бы ровно ничего не значило и не показывало бы никакихъ притязаній. *Европеецъ*, вовсе не понятый публикой, будетъ понятъ журналистами въ обидномъ смыслѣ; а зачѣмъ вооружать ихъ прежде времени? Нельзя ли назвать журналъ *Сѣвернымъ Вѣстникомъ*, *Оріономъ* или свое-

нравно, но вмѣстѣ незначительно, вродѣ *Nain jaune*, издаваемаго при Людовикѣ XVIII наполеонистами? Ты слишкомъ много на меня надѣешься, и я сомнѣваюсь, исполню ли я половину твоихъ надеждъ. Могу тебя увѣрить въ одномъ: въ усердіи. Твой журналъ очень возбуждаетъ меня къ дѣятельности. Я написалъ еще нѣсколько мелкихъ стихотворныхъ пьесъ, кромѣ тѣхъ, которыя тебѣ послалъ. Теперь пишу небольшую драму, первый мой опытъ въ этомъ родѣ, которая какъ ни будетъ плоха, но все годится для журнала. Вѣроятно, я ее кончу на этой недѣлѣ и пришлю тебѣ. Не говори о ней никому, но прочти и скажи мнѣ свое мнѣніе. Въ журналѣ я помѣщу ее безъ имени. Не говорю тебѣ о дальнѣйшихъ моихъ замыслахъ изъ суевѣрія. Никогда того не пишешь, чѣмъ заранѣе похвастаешь. Мнѣ очень любопытно знать, что ты скажешь о романахъ Загоскина. Всѣ его сочиненія вмѣстѣ показываютъ дарованіе и глупость. Загоскинъ—отмѣнно любопытное психологическое явленіе. Пришли мнѣ статью твою, какъ напишешь. Настоящимъ образомъ я помогать тебѣ буду, когда ворочусь въ Москву. Я долженъ писать къ спѣху, чтобы писать много. Мнѣ нужно предаваться журнализму, какъ разговору, со всею живостью вопросовъ и отвѣтовъ, а не то я слишкомъ самъ къ себѣ требователенъ, и эта требовательность часто охлаждаетъ меня и къ хорошимъ моимъ мыслямъ. Между тѣмъ все, что̀ удастся мнѣ написать въ моемъ уединеніи, будетъ принадлежать твоему журналу. Прощай, кланяйся твоимъ.—Е. Боратынскій.

Скажи Языкову, что на него сердится Розенъ за то, что онъ не только не прислалъ ему стиховъ прошлаго года, но даже не отвѣчалъ на письмо. Онъ жалуется на это очень и даже трогательно.

16.

(1831).

Пишу тебѣ два слова, милый Кирѣевскій, а почему—увидишь самъ изъ письма моего къ твоей маменькѣ. Я получилъ повѣстку на деньги: это, вѣрно, твои хлопоты. Вѣроятно, при деньгахъ есть и письмо; но я не успѣлъ еще послать въ городъ. Прощай, мой милый. Я кончилъ драму, о которой тебѣ писалъ, и очень посредственно ею доволенъ. Еще разъ прошу тебя, не говори никому, что я что-либо пишу. Я отвѣчаю всѣмъ альманашникамъ, что у меня стиховъ нѣтъ, и на дняхъ тѣмъ же буду отвѣчать Пушкину. Обнимаю тебя.—Е. Боратынскій.

17.

(26 октября 1831).

Со мною сто разъ случалось въ обществѣ это тупоуміе, о которомъ ты говоришь. Я на себя сердился, но признаюсь въ хорошемъ мнѣніи о самомъ себѣ: не упрекалъ себя въ глупости, особенно сравнивая себя съ тѣми, которые отличались этою наметанностію, которой мнѣ недоставало. Чтобы тебя еще болѣе утѣшить въ твоемъ горѣ (горе я ставлю для шутки), скажу тебѣ, что ни одинъ смертный такъ не блисталъ въ petits jeux и особенно въ secretaire, какъ Василій Львовичъ Пушкинъ и даже братъ его Сергѣй Львовичъ. Сей послѣдній, на вопросъ: quelle différence y-a-t-il entre M-r Pouchkine et le soleil? отвѣчалъ: tous les deux font faire la grimace. Впрочемъ, говорить нечего: хотя мы заглядываемъ въ свѣтъ, мы—не свѣтскіе люди. Нашъ умъ иначе образованъ, привычки его иныя. Свѣтскій разговоръ для насъ ученый трудъ, драматическое созданіе, ибо мы чужды настоящей жизни, настоящихъ страстей свѣтскаго общества.

Замѣчу еще одно: этотъ laisser aller, который дѣлаетъ насъ ловкими въ обществѣ, есть природное качество людей ограниченныхъ. Имъ даетъ его самонадѣянность, всегда нераздѣльная съ глупостію. Люди другого рода пріобрѣтаютъ его опытомъ. Долго сравнивая силы свои съ силами другихъ, они наконецъ замѣчаютъ преимущество свое и даютъ себѣ свободу, не столько по чувству собственнаго достоинства, сколько по увѣренности въ ничтожности большей части своихъ совмѣстниковъ. Не посылаю еще моего драматическаго опыта потому, что надо его переписать, а моя переписчица еще въ постели. Благодарю тебя за деньги и за Villemain. У меня на душѣ стало легче, когда увидѣлъ я этотъ замаранный томъ, который меня порядочно помучилъ. Я прочелъ уже двѣ части: много хорошаго и хорошо сказаннаго; но Villemain часто выдаетъ за новость и за собственное соображеніе—давно извѣстное у нѣмцевъ, и ими отысканное. Многое лишь для успѣха минуты и рукоплесканій партіи. Еще одно замѣчаніе: у Villemain часто замѣтна аффектація аттицизма, аффектація наилучшаго тона. Его скромныя оговорки, вопервыхъ, однообразны, вовторыхъ, нѣсколько изысканны. Чувствуешь, что онъ любуется своимъ свѣтско-эстетическимъ смиреніемъ. Это не мѣшаетъ творенію его быть очень занимательнымъ. О Гизо скажу тебѣ, что у меня теперь нѣтъ денегъ. Ежели ты можешь ссудить меня нужною суммою до января, то возьми его; ежели нѣтъ, то скажи Urbain, что Гизо мнѣ не нуженъ, или попроси подождать денегъ. Прощай; всѣ мои тебѣ кланяются. Языкову буду писать на будущей почтѣ, а покуда обнимаю.—Е. Боратынскій.

18.

(1831).

Ежели уже получено позволеніе издавать журналъ подъ фирмою *Европейца*, пусть онъ останется *Европейцемъ*. Не въ имени дѣло. Ты меня приводишь въ стыдъ слишкомъ хорошимъ мнѣніемъ о моей драмѣ. Спѣшу тебѣ сказать, что это только драматическій опытъ; нѣсколько сценъ съ самою легкою завязкою. Я отъ нея не въ отчаяніи только потому, что надѣюсь современемъ написать что-нибудь подѣльнѣе. Ежели бъ я вполнѣ слѣдовалъ своему чувству, я бы поступилъ съ нею, какъ ты поступаешь съ нѣкоторыми изъ своихъ твореній, то-есть, бросилъ бы въ печь... Кстати: я не нахожу тебя въ этомъ отмѣнно благоразумнымъ. Вопервыхъ, не мнѣ быть судьею въ собственномъ дѣлѣ; вовторыхъ, каждый, принимающійся за перо, пораженъ какою-либо красотою, слѣдственно, и въ его твореніи, какъ бы оно не поддавалось критикѣ, навѣрно есть что-нибудь хорошее. Что жъ касается до совершенства, оно кажется не дано человѣку, и мысль о немъ можетъ скорѣе охладить, нежели воспламенить писателя. Это думаетъ и Жуковскій, который совѣтуетъ беречься

> Отъ убивающія даръ
> Надменной мысли совершенства.

Жуковскій будетъ въ Москву. Какъ жаль, что я въ Казани. Поклонись ему отъ меня какъ можно усерднѣе. Я видѣлъ въ газетахъ объявленіе о выходѣ его новыхъ балладъ. Не терпится прочесть ихъ. „Повѣсти Бѣлкина“ я знаю. Пушкинъ мнѣ читалъ ихъ въ рукописи. Напиши мнѣ о нихъ свое мнѣніе. Спасибо тебѣ за то, что не лѣнишься писать. Послѣ каждаго твоего письма я, ежели можно, еще болѣе къ тебѣ привязываюсь. Засвидѣтельствуй мое почтеніе

милой твоей маменькѣ. Что̀ съ нею было? Нечего тебѣ сказывать, что я искренно радуюсь ея выздоровленію. Обними за меня Языкова, да пришли же мнѣ новыя его пьесы.— Е. Б.

Ты мнѣ пишешь о портретахъ извѣстныхъ людей. Но подумай, что у насъ ихъ весьма немного, что эти портреты должны быть панегириками, и тогда ни для кого не будутъ занимательными. Ты скажешь, что не надо называть поименно всѣхъ, но по двумъ или тремъ примѣтамъ легко узнать знакомаго человѣка, особенно автора, а тѣнь невосхищенія будетъ уже обидою и личностію. Оставимъ нашихъ соотечественниковъ, но не мѣшаетъ тебѣ положить на бумагу все, что ты знаешь о Шеллингѣ и другихъ отличныхъ людяхъ Германіи. Загадывать ихъ не нужно, ибо надо ихъ знать, чтобы цѣнить ихъ; а многіе ли съ ними знакомы, не только лично, но и по сочиненіямъ? Вотъ тебѣ мое мнѣніе: суди самъ, справедливо ли оно, или нѣтъ.

19.

(1831).

Благодарю тебя за твое дружеское поздравленіе и милыя шутки. Впрочемъ я тебя ловлю на словѣ: въ годъ рожденія моей Машеньки долженъ непремѣнно издаваться *Европеецъ*; а тамъ, ежели въ 12 лѣтъ она будетъ въ состояніи слушать твои лекціи, прошу въ самомъ дѣлѣ позаботиться о ея просвѣщеніи. Не бѣда, что моя пьеса пошла по рукамъ. Я послалъ Пушкину и другую: „Не славь, обманутый Орфей“, но увѣряю, что больше нѣтъ ничего за душою. Я не отказываюсь писать; но хочется на время, и даже долгое время, перестать печатать. Поэзія для меня не самолюбивое наслажденіе. Я не имѣю нужды въ похвалахъ (разумѣется, черни), но не вижу, почему обязанъ подвер

гаться ея ругательствамъ. Я прочелъ критику Надеждина. Не знаю, буду ли отвѣчать на нее, и что отвѣчать? Онъ во всемъ со мной согласенъ, только укоряетъ меня въ томъ, что я будто полагаю, что изящество не нужно изящной литературѣ; между тѣмъ какъ я очень ясно сказалъ, что не говорю о прекрасномъ, потому что буду понятъ немногими. Критика эта меня порадовала; она мнѣ показала, что я вполнѣ достигнулъ своей цѣли: опровергъ убѣдительно для всѣхъ общій предразсудокъ, и что всякій нѣсколько мыслящій читатель, видя, что нельзя искать нравственности литературныхъ произведеній ни въ выборѣ предмета, ни въ поученіяхъ, ни въ томъ, ни въ этомъ, заключитъ вмѣстѣ со мною, что должно искать ее только въ истинѣ или прекрасномъ, которое ничто иное какъ высочайшая истина. Хорошъ бы я былъ, ежели бъ я говорилъ языкомъ Надеждина. Изъ тысячи его подписчиковъ врядъ ли найдется одинъ, который что-нибудь бы понялъ изъ этой страницы, въ которой онъ хочетъ объяснить прекрасное. А что всего забавнѣе, это то, что переводъ ея находится именно въ предисловіи, которое онъ критикуетъ. Ежели буду отвѣчать, то потому только, что мнѣ совѣстно передъ тобою, заставивъ тебя понапрасну отыскивать и посылать журналъ. Я пишу; но не пишу ничего порядочнаго. Очень недоволенъ собою. „Ne pas perdre du temps c'est en gagner“, говорилъ Вольтеръ. Я утѣшаю себя этимъ правиломъ. Теперь пишу я жизнь Дельвига. Это только для тебя. Ты мнѣ напоминаешь о Свербѣевыхъ, которыхъ впрочемъ я не забылъ. Поклонись имъ отъ меня и скажи, что ежели они останутся будущую зиму въ Москвѣ, я надѣюсь провести у нихъ много пріятныхъ часовъ. Обнимаю тебя.—Е. Б.

20.

(29 ноября 1831).

Вотъ тебѣ и число. Я пропустилъ одну почту оттого, что въ моемъ глубокомъ уединеніи

Позабылъ всѣ дни недѣли
Называть по именамъ.

Я думалъ, что былъ понедѣльникъ, когда была середа. Въ это время однакожъ трудился для твоего журнала. Отвѣчалъ Надеждину. Статья моя, я думаю, вдвое больше моего предисловія. Самъ удивляюсь, что могъ написать столько прозы. Драма моя почти переписана набѣло. Теперь сижу за повѣстью, которую ты помнишь: „Перстень“. Все это ты получишь по будущей тяжелой почтѣ. Все это посредственно; но для журнала годится. Благодарю тебя за обѣщаніе прислать повѣсти малороссійскаго автора. Какъ скоро прочту, такъ и напишу о нихъ. О Загоскинѣ писать что-то страшно. Я вовсе не изъ числа его ревностныхъ поклонниковъ. „Милославскій“ его—дрянь, а „Рославлевъ“, быть можетъ, еще хуже. Въ „Рославлевѣ“ романъ ничтоженъ; историческій взглядъ вмѣстѣ глупъ и невѣренъ. Но какъ сказать эти крутыя истины автору, который все-таки написалъ лучшіе романы, какіе у насъ есть? Мнѣ очень жаль, что Жуковскому не нравится названіе моей поэмы. Въ отвѣтѣ моемъ Надеждину я стараюсь оправдать его. Не могу понять, почему люди умные и просвѣщенные такъ оскорбляются словомъ, котораго полный смыслъ допущенъ во всѣхъ разговорахъ. Скажи мнѣ, что онъ думаетъ о самой поэмѣ, что̀ хвалитъ и что̀ осуждаетъ. Не бойся меня опечалить. Мнѣніе Жуковскаго для меня особенно важно, и его критики будутъ мнѣ полезнѣе. У меня планъ новой поэмы, со всѣхъ сторонъ обдуманный. Хороша ли будетъ, Богъ знаетъ. На

днях примусь писать. Не отдаю тебѣ отчета въ моемъ планѣ, потому что это охлаждаетъ. Кстати, посланіе къ Языкову и элегія, которую ты называешь европейской, принадлежатъ *Европейцу*. По будущей почтѣ пришлю тебѣ еще двѣ-три пьесы. Прощай, поклонись отъ меня милой твоей маменькѣ, которой не успѣваю писать сегодня. Напомни обо мнѣ Алексѣю Андреевичу. Каково его здоровье, и совершенно ли онъ успокоился на счетъ холеры? — Е. Боратынскій.

Жена моя на богомольѣ въ сосѣдней пустынѣ и будетъ отвѣчать твоей маменькѣ по будущей почтѣ.

21.

(1831).

Вотъ тебѣ для *Европейца*. Извини, что все это такъ дурно переписано: ты знаешь страсть мою къ переправкамъ. Я не могъ отъ нихъ удержаться и при томъ, что тебѣ посылаю. Особенно мнѣ совѣстно за мою драму, которая ихъ не стоитъ. И я ни за что бы тебѣ ее не послалъ, ежели бъ не думалъ, что въ журналѣ и посредственное годится для занятія нѣсколькихъ листовъ. Пересмотри мою антикритику, и что тебѣ въ ней покажется лишнимъ, выбрось. Боюсь очень, что я въ ней не держусь нѣмецкаго правовѣрія, и что въ нее прокрались кой-какія ереси. Драму напечатай безъ имени и не читай ее никому, какъ мое сочиненіе. Подъ сказкой поставь имя сочинителя. Я читалъ твое объявленіе: оно написано какъ нельзя лучше, и я тотчасъ узналъ, что оно твое. Ты истолковалъ названіе журнала и умно, и скромно. Но у насъ не понимаютъ скромности, и я боюсь, что въ твоемъ объявленіи не довольно шарлатанства для пріобрѣтенія подписчиковъ. Впрочемъ, воля Божія. Я подпишусь въ будущій годъ на нѣ-

которые изъ русскихъ журналовъ и буду за тебя отбраниваться, когда нужно. У меня, кромѣ плана поэмы, въ запасѣ довольно желчи; я буду радъ какъ-нибудь ее излить. Это письмо — совершенно дѣловое. Я долженъ тебѣ дать препорученіе, конечно, не литературное, а между тѣмъ не совсѣмъ ей чуждое, ибо дѣло идетъ о моемъ желудкѣ. Посылаю тебѣ 50 рублей. Вели, сдѣлай одолженіе, купить мнѣ полпуда какао и отправь это по тяжелой почтѣ. Онъ продается въ Охотномъ ряду: спроси у кого-нибудь, хоть у Эйнброда, какъ узнавать свѣжій отъ несвѣжаго. Прощай, обнимаю тебя очень усердно. Что у меня еще напишется, пришлю. Мы переѣзжаемъ изъ деревни въ городъ. Буду рекомендовать *Европейца* моимъ казанскимъ знакомымъ.— Е. Боратынскій.

22.

(1831).

Сейчасъ получилъ отъ тебя неожиданную и прелестную новинку, Гизо, котораго мнѣ очень хотѣлось имѣть. Спасибо тебѣ. Я замѣчаю, что эту фразу мнѣ приходится повторять въ каждомъ изъ моихъ писемъ. Напиши, много ли я тебѣ долженъ: теперь я въ деньгахъ.

Я мало еще познакомился съ здѣшнимъ городомъ. Съ перваго дня моего пріѣзда я сильно простудился и не могъ выѣзжать. Знаешь ли однакожь, что, по моему, провинціальный городъ оживленнѣе столицы. Говоря — оживленнѣе, я не говорю — пріятнѣе; но здѣсь есть то, чего нѣтъ въ Москвѣ — дѣйствіе. Разговоры нѣкоторыхъ изъ нашихъ гостей были для меня очень занимательны. Всякій говоритъ о своихъ дѣлахъ или о дѣлахъ губерніи, бранитъ или хвалитъ. Всякій, сколько можно замѣтить, дѣятельно стремится къ положительной цѣли, и оттого имѣетъ физіономію. Не

могу тебѣ развить всей моей мысли, скажу только, что въ губерніяхъ вовсе нѣтъ этого равнодушія ко всему, которое составляетъ характеръ большей части нашихъ московскихъ знакомцевъ. Въ губерніяхъ больше гражданственности, больше увлеченія, больше элементовъ политическихъ и поэтическихъ. Всмотрясь внимательнѣе въ общество, я, можетъ, быть напишу что-нибудь о немъ для твоего журнала; но я уже довольно видѣлъ, чтобы мѣстомъ дѣйствія русскаго романа всегда предпочесть губернскій городъ столичному. Хвалю здѣсь твоего *Европейца*; не знаю только, заставятъ ли мои похвалы кого-нибудь на него подписаться. Здѣсь выписываютъ книги и журналы только два или три дома и ссужаютъ ими потомъ своихъ знакомыхъ. Здѣсь живетъ страшный Арцыбашевъ: я съ нимъ говорилъ, не зная, что это онъ. Я постараюсь съ нимъ сблизиться, чтобы разсмотрѣть его натуру. Когда мнѣ въ первый разъ указали Каченовскаго, я глядѣлъ на него съ отмѣннымъ любопытствомъ, однако воображеніе меня обмануло:

Je le vis, son aspect n'avait rien de farouche.

Обнимаю тебя, ты же отъ меня обними Языкова. Поклонъ всѣмъ твоимъ.

23.

(18-го января 1832).

Давно не получалъ я отъ тебя писемъ, милый Кирѣевскій, и не жалуюсь, ибо знаю, что хлопотъ у тебя много. У меня къ тебѣ просьба: если не напечатано первое мое посланіе къ Языкову, не печатай его: оно мнѣ кажется довольно слабо. Напечатай лучше второе, которымъ я болѣе доволенъ. Я здѣсь веду самую глупую жизнь, разсѣянную безъ удовольствія, и жду не дождусь возвращенія нашего въ деревню. Мы переѣзжаемъ на первой недѣлѣ великаго поста.

Тамъ я надѣюсь употребить время съ пользою для себя и для *Европейца*, а здѣсь—нѣтъ никакой возможности. Подумай, кого я нашелъ въ Казани? Молодого Перцова, извѣстнаго своими стихотворными шалостями, котораго намъ хвалилъ Пушкинъ, но мало, что человѣкъ очень умный и очень образованный, съ рѣшительнымъ талантомъ. Онъ мнѣ читалъ отрывки изъ своей комедіи въ стихахъ, исполненные живости и остроумія. Я постараюсь ихъ выпросить у него для *Европейца*. Съ нимъ однимъ я здѣсь говорю натуральнымъ моимъ языкомъ. Вотъ тебѣ бюллетень моего житья-бытья. Что ты не шлешь мнѣ *Европейца*. Я получилъ баллады Жуковскаго. Въ нѣкоторыхъ необыкновенное совершенство слова и простота, которую не имѣлъ Жуковскій въ прежнихъ его произведеніяхъ. Онъ мнѣ даже даетъ охоту риѳмовать легенды. Прощай, обнимаю тебя.—Е. Боратынскій.

24.

(1831).

Спасибо тебѣ за дѣльную критику. Въ концѣ моего отвѣта Надеждину я очень некстати разговорился. Вотъ тебѣ переправка:

„Первыя строки мы охотно принимаемъ за иронію, за небрежную, слѣдственно, шутку надъ неблагонамѣренною привязчивостью *Московскаго Телеграфа*. Не будемъ оспаривать чувства собственнаго преимущества, которое ихъ внушило; мы замѣтимъ только, что она не на своемъ мѣстѣ, и что могутъ принять ихъ за неосторожное признаніе. Отдадимъ справедливость критику: въ пристрастномъ разборѣ его видно“ etc.

„Недостатокъ логики“ замѣни „недостаткомъ обдуманности“, и ежели еще какое-нибудь выраженіе покажется тебѣ жесткимъ, препоручаю тебѣ его смягчить.

Первый № твоего журнала великолѣпенъ. Нельзя сомнѣваться въ успѣхѣ. Мнѣ кажется, надо задрать журналистовъ, для того, чтобы своими отвѣтами они разгласили о существованіи оппозиціоннаго журнала. Твое объявленіе было слишкомъ скромно. Скажи, много ли у тебя подписчиковъ. Напечатай въ московскихъ газетахъ, какія и какія статьи помѣщены въ 1-мъ № *Европейца*. Это будетъ тебѣ очень полезно.

Я и всѣ мои усердно поздравляемъ тебя и твоихъ съ праздниками и новымъ годомъ. Дай Богъ, чтобъ будущій нашелъ насъ вмѣстѣ.

Мы переѣхали изъ деревни въ городъ: я замученъ скучными визитами. Знакомлюсь съ здѣшнимъ обществомъ, не надѣясь найти въ этомъ никакого удовольствія. Нечего дѣлать: надо повиноваться обычаю, тѣмъ болѣе, что обычай по бо́льшей части благоразуменъ. Я гляжу на себя, какъ на путешественника, который проѣзжаетъ скучныя, однообразныя степи. Проѣхавъ, онъ съ удовольствіемъ скажетъ: я ихъ видѣлъ. Прощай, до будущей недѣли.—Е. Б.

Благодарю тебя за какао. Вѣроятно, рублей 15 стоила пересылка; на остальные, если можно, пришли новыя баллады Жуковскаго.

25.

(1832).

Благодарю тебя и за коротенькое письмо, но не лѣнись и на обѣщанное пространное. Ты, я думаю, теперь чрезмѣрно озабоченъ своимъ журналомъ, и тебѣ остается мало времени на переписку. Мнѣ немного совѣстно заставлять тебя думать обо мнѣ, но ты извинишь мнѣ это. Я то же не безъ заботъ, хотя другого рода. Губернская свѣтская жизнь довольно утомительна, и то выѣзжая, то принимая у меня,

мало остается досуга. Языковъ распевелилъ меня своимъ посланіемъ. Оно—прелесть. Такая ясная грусть, такое граціозное добродушіе! Такая свѣжая чувствительность! Какъ цвѣтущая его муза превосходитъ всѣ наши блѣдныя и хилыя! У нашихъ—истерика, а у ней настоящее вдохновеніе!—Я познакомился съ Арцыбашевымъ. Человѣкъ очень ученый и въ разговорѣ болѣе приличный, нежели въ печати, впрочемъ весь погрязшій въ изысканіяхъ. Выше хронологическихъ чиселъ онъ ничего не видитъ въ исторіи. Здѣшніе литераторы (можешь вообразить—какіе) задумали издавать журналъ и просятъ меня въ немъ участвовать. Это—въ числѣ непріятностей моей здѣшней жизни. Многіе имѣютъ здѣсь мои труды и Пушкина, но переписные, а не печатные. Надо продавать книги наши подешевле. Отсылаю тебѣ *Телескопъ*. Прощай, спѣшу посылать на почту, гдѣ между прочимъ лежитъ ко мнѣ посылка, надѣюсь, что отъ тебя съ *Европейцемъ*.

26.

(1832).

Европеецъ твой безподобенъ. Мысли, образъ выраженія, выборъ статей, все небывалое въ нашихъ журналахъ со временъ *Вѣстника Европы* Карамзина, и я думаю, что онъ будетъ имѣть столько же успѣха, какъ сей послѣдній, ибо, для своего времени онъ имѣетъ всѣ достоинства, которыя тотъ имѣлъ для своего. Только не покидай своего дѣла. Всѣ статьи, тобою писанныя, особенно замѣчательны. Обозрѣніе 19-го вѣка богато мыслями, но ежели бы мы были вмѣстѣ, я въ нѣкоторыхъ съ тобою бы поспорилъ. Это—не критика. Предметъ такъ обширенъ, что можно глядѣть на него съ множества разныхъ точекъ, и замѣчаніе мое доказываетъ только, что ты разбудилъ во мнѣ мысленную дѣятельность. О слогѣ

Виллемена статья прекрасная. Нельзя болѣе сказать въ меньшихъ словахъ съ такою ясностію и съ такимъ вкусомъ, съ такою правдою. И Виллеменъ, и Бальзакъ оцѣнены вполнѣ и отмѣнно справедливо. Разборъ „Годунова“ отличается тою же вѣрностію, тою же простотою взгляда. Ты не можешь себѣ представить, съ какимъ восхищеніемъ я читалъ просвѣщенныя страницы твоего журнала, самъ себѣ почти не вѣря, что читаю русскую прозу, такъ я привыкъ почерпать подобныя впечатлѣнія только въ иностранныхъ книгахъ. Посылаю тебѣ небольшое стихотвореніе Перцова, которымъ я очень недоволенъ. Онъ много мнѣ читалъ лучшаго, и не знаю, почему выбралъ эту пьесу для *Европейца*. Я съ нимъ объ этомъ поговорю. Онъ мнѣ читалъ комедію, написанную прекраснѣйшими стихами, исполненную остроумія, и ея многіе характеры изображены вѣрно и живо. Онъ—съ рѣшительнымъ талантомъ; но видно, не всѣ роды ему одинаково даются.

Здорова ли твоя маменька? Давно мы отъ нея ничего не имѣемъ. Поцѣлуй у нея за меня ручки и напомни обо мнѣ Алексѣю Андреевичу.

Скажи, сдѣлай одолженіе, отправилъ ли ты мнѣ мой какао? Я до сихъ поръ его не получилъ.

Вотъ тебѣ въ заключеніе эпиграмма, которую должно напечатать безъ имени:

Кто непремѣнный мой ругатель?
Необходимый мой предатель?
Завистникъ непремѣнный мой?
Тутъ думать нечего—родной.
Намъ чаще друга врагъ полезенъ,
Подлунный міръ устроенъ такъ.
О какъ же дорогъ, какъ любезенъ
Самой природой данный врагъ!

27.

(Февраль 1832).

Понимаю, братъ Кирѣевскій, что хлопотливая жизнь журналиста и особенно разногласные толки и пересуды волнуютъ тебя непріятнымъ образомъ. Я предчувствовалъ твое положеніе, и жаль мнѣ, что я не съ тобою, потому что у насъ есть сходство въ образѣ воззрѣнія, и мы другъ друга же въ немъ утверждали. Мнѣніе Жуковскаго, Пушкина и Вяземскаго мнѣ кажется несправедливымъ. Приноровляясь къ публикѣ, мы ее не подвинемъ. Писатели учатъ публику, и ежели она находитъ что-нибудь въ нихъ непонятное, это вселяетъ въ нее еще болѣе уваженія къ свѣдѣніямъ, которыхъ она не имѣетъ, заставляетъ ее отыскивать ихъ, стыдяся своего невѣжества. Надѣюсь, что Полевой менѣе ясенъ, нежели ты, однакожь журналъ его расходится и, нѣтъ сомнѣнія, приноситъ большую пользу, ибо ежели не даетъ мыслей, то будитъ оныя, а ты и даешь ихъ, и будишь. Бранить публику въ правѣ всякій, и публика за это никогда не сердится, ибо никто изъ ея членовъ не принимаетъ на свой счетъ сказаннаго о собирательномъ тѣлѣ. Вяземскій сказалъ острое слово—и только. Ежели ты имѣешь мало подписчиковъ, тому причиною: 1-е—слишкомъ скромное объявленіе, 2-е—неизвѣстность твоя въ литературѣ, 3-е—исключеніе модъ. Но имѣй терпѣніе издавать еще на будущій годъ, я ручаюсь въ успѣхѣ. По прочтеніи 1-го № *Европейца* здѣсь въ Казани мы на него подписались. Вообще журналъ очень понравился. Нашли его и умнымъ, и ученымъ, и разнообразнымъ. Повѣрь мнѣ, русскіе имѣютъ особенную способность и особенную нужду мыслить. Давай имъ пищу: они тебѣ скажутъ спасибо. Не упускай однакожь изъ виду пестроты и повѣстей, безъ чего журналъ не будетъ журна-

ломъ, а книгою. Статья твоя о 19-мъ вѣкѣ непонятна для публики только тамъ, гдѣ дѣло идетъ о философіи, и въ самомъ дѣлѣ итоги твои вразумительны только тѣмъ, которые посвящены въ таинства новѣйшей метафизики, за то выводы литературные, приложеніе этой философіи къ дѣйствительности, отмѣнно ясны и знакомымъ чувствомъ съ этой философіей, еще не совершенно понятной для ума. Не знаю, поймешь ли ты меня; но таковъ ходъ ума человѣческаго, что мы прежде вѣримъ, нежели изслѣдуемъ, или, лучше сказать, изслѣдуемъ для того только, чтобы доказать себѣ, что мы правы въ нашей вѣрѣ. Вотъ почему я нахожу полезнымъ поступать какъ ты, то-есть, знакомить своихъ читателей съ результатами науки, дабы, заставивъ полюбить оную, принудить заняться ею. Постараюсь что-нибудь прислать тебѣ для № 3. Ты правъ, что Казань была для меня мало вдохновительной. Надѣюсь однакожь, что нѣсколько впечатлѣній и наблюденій, пріобрѣтенныхъ мною, не пропадутъ. Прощай. Не предавайся унынію. Литературный трудъ самъ себѣ награда; у насъ, слава Богу, степень уваженія, которую мы пріобрѣтаемъ, какъ писатели, не соразмѣряется торговымъ успѣхомъ. Это я знаю достовѣрно и по опыту. Булгаринъ, не смотря на успѣхи свои въ этомъ родѣ, презрѣнъ даже въ провинціяхъ. Я до сихъ поръ еще не встрѣчался съ людьми, для которыхъ онъ пишетъ.—Е. Боратынскій.

28.

(22-го февраля 1832).

Начинаю письмо мое пенями на тебя, а у меня ихъ набралось нарочитое количество. Вопервыхъ, ты мнѣ не пишешь, много ли я тебѣ долженъ за Гизота и за другія мелочи. Нѣтъ съ тобою нечего чиниться, особенно въ этомъ.

Вовторыхъ, позволь мнѣ побранить тебя за то, что ты не говоришь мнѣ своего мнѣнія о моей драмѣ. Вѣроятно, она тебѣ не нравится; но неужели ты такъ мало меня знаешь, что боишься обидѣть мое авторское самолюбіе, сказавъ мнѣ откровенно, что я написалъ вздоръ? Я больше буду радъ твоимъ похваламъ, когда увижу, что ты меня не балуешь. Я получилъ вторую книжку *Европейца*. Разборъ „Наложницы“ для меня—истинная услуга. Жаль, что у насъ мало пишутъ особенно хорошаго, а то бы ты себѣ сдѣлалъ имя своими эстетическими критиками. Ты меня понялъ совершенно, вошелъ въ душу поэта, схватилъ поэзію, которая мнѣ мечтается, когда я пишу. Твоя фраза: *переноситъ насъ въ атмосферу музыкальную и мечтательно просторную* заставила меня встрепенуться отъ радости, ибо это-то самое достоинство я подозрѣвалъ въ себѣ въ минуты авторскаго самолюбія, но выражалъ его хуже. Не могу не вѣрить твоей искренности: нѣтъ поэзіи безъ убѣжденія, а твоя фраза принадлежитъ поэту. Ни мало не сержусь за то, что ты порицаешь родъ, мною избранный. Я самъ о немъ тоже думаю, и хочу его оставить. 2-я книжка *Европейца* вообще не уступаетъ первой. Мы переѣзжаемъ изъ города въ деревню. Надѣюсь, что буду писать, по крайней мѣрѣ у меня твердое намѣреніе не баловать моей лѣни. Если будутъ упрямиться стихи, примусь за прозу. Прощай, обнимаю тебя.—Е. Боратынскій.

Я получилъ какао.

29.

(Февраль 1832).

Поздравляю тебя съ масляницею. Это значитъ, что мнѣ писать тебѣ недосугъ. Вотъ тебѣ другая пьеса Перцова, которая лучше первой. Еще проба: напечатай въ *Европейцѣ*

мое: „Бывало, отрокъ, etc.“ Я не знаю, отчего Пушкинъ отказалъ ей мѣсто въ *Сѣверныхъ Цвѣтахъ*. Прощай, обнимаю тебя. На той недѣлѣ буду болѣе твоимъ, нежели на этой. — Е. Боратынскій.

30.

(1832).

Наконецъ я дождался вѣсти о тебѣ, милый Кирѣевскій, но вѣсти неутѣшительной. Въ письмѣ твоемъ много печальныхъ извѣстій. Благодарю тебя за увѣренность въ моей дружбѣ. Твои откровенные намеки ее доказываютъ. Чувствую, дѣлю твое положеніе, хотя не совершенно его знаю. Темная судьба твоя лежитъ на моемъ сердцѣ. Ежели въ нѣкоторыхъ случаяхъ безполезны совѣты и даже утѣшеніе дружбы, всегда отрадно ея участіе. Не хочу насиловать твоей довѣренности; знаю, что она у тебя въ сердцѣ, хотя не изливается въ словахъ, понимаю эту застѣнчивость чувства, не прошу тебя входить въ подробности, но прошу хотя общими словами увѣдомлять меня, каково тебѣ и что съ тобою. Такимъ образомъ ты удовлетворишь и любопытству дружбы, и той стыдливой тайнѣ, которую требуетъ другое чувство. Что бы съ тобою ни было, ты по крайней мѣрѣ знаешь, что никто болѣе меня не порадуется твоей радости и не огорчится твоимъ горемъ. Въ этой вѣрѣ настоящее утѣшеніе дружбы. О тебѣ я думаю съ тою же вѣрою, и она пополняетъ мое домашнее счастіе. Прощай, милый Кирѣевскій, обнимаю тебя отъ всей души. Что съ бѣднымъ Языковымъ, больнымъ и пораженнымъ смертію матери? Увѣдомь меня о немъ. Сколько вамъ горя въ одно время! Не могу опомниться отъ траурнаго твоего письма и вообразить безъ грусти вашъ домъ, недавно шумѣвшій веселостію, теперь исполненный такого глубокаго уныніа. Не лѣнись ко мнѣ

писать, потому что мнѣ нужны твои письма. Когда просвѣтлѣетъ у тебя на душѣ, и я буду это знать, можешь откладывать отъ почты до почты, но теперь это будетъ тебѣ непростительно.—Твой Боратынскій.

31.

(14-го марта 1832).

Я приписывалъ молчаніе твое недосугу и не воображалъ ничего непріятнаго; можешь себѣ представить, какъ меня поразило письмо твое, въ которомъ ты меня извѣщаешь о столькихъ домашнихъ печаляхъ, и наконецъ о запрещеніи твоего журнала! Болѣзнь твоей маменьки (да и она не первая съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались) крайне насъ огорчила, не смотря на то, что, по письму твоему, ей лучше. Отъ запрещенія твоего журнала не могу опомниться. Нѣтъ сомнѣнія, что тутъ дѣйствовалъ тайный, подлый и несправедливый доносчикъ, но что въ этомъ утѣшительнаго? Гдѣ найти на него судъ? Что послѣ этого можно предпринять въ литературѣ? Я вмѣстѣ съ тобой лишился сильнаго побужденія къ трудамъ словеснымъ. Запрещеніе твоего журнала просто наводитъ на меня хандру, и судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолію. Что дѣлать! Будемъ мыслить въ молчаніи и оставимъ литературное поприще Полевымъ и Булгаринымъ. Поблагодаримъ Провидѣніе за то, что оно насъ подружило, и что каждый изъ насъ нашелъ въ другомъ человѣка, его понимающаго, что есть еще нѣсколько людей намъ по уму и по сердцу. Заключимся въ своемъ кругу, какъ первые братія христіане, обладатели свѣта, гонимаго въ свое время, а нынѣ торжествующаго. Будемъ писать, не печатая. Можетъ быть, придетъ благопоспѣшное время. Прощай, мой милый, обнимаю

тебя. Пиши ко мнѣ. Письма твои мнѣ нужны. Ты найдешь убѣжденіе это сильнымъ.—Е. Боратынскій.

Жена моя усердно тебя проситъ извѣщать насъ о выздоровленіи твоей маменьки.

32.

(1832).

Ты разбираешь мою драматическую попытку серьезнѣе, нежели она стоитъ. Я учился формѣ и болѣе думалъ расположить сценами анекдоты, нежели написать настоящую драму. Я выбралъ ничтожный предметъ для того, чтобы ученическимъ перомъ не испортить хорошаго. Ежели есть нѣкоторая занимательность въ ходѣ, нѣкоторая естественность въ разговорѣ, я собой доволенъ, ибо я не помышлялъ о красотахъ высшаго рода.

Читалъ ли ты 8-ую главу „Онѣгина“, и что ты думаешь о ней и вообще объ „Онѣгинѣ“, конченномъ теперь Пушкинымъ? Въ разныя времена я думалъ о немъ разное. Иногда мнѣ „Онѣгинъ“ казался лучшимъ произведеніемъ Пушкина, иногда напротивъ. Ежелибъ все, что есть въ „Онѣгинѣ“, было собственностію Пушкина, то, безъ сомнѣнія, онъ ручался бы за геній писателя. Но форма принадлежитъ Байрону, тонъ тоже. Множество поэтическихъ подробностей заимствовано у того и у другого. Пушкину принадлежатъ въ „Онѣгинѣ“ характеры его героевъ и мѣстныя описанія Россіи. Характеры его блѣдны. Онѣгинъ развитъ не глубоко. Татьяна не имѣетъ особенности. Ленскій ничтоженъ. Мѣстныя описанія прекрасны, но только тамъ, гдѣ чистая пластика. Нѣтъ ничего такого, что бы рѣшительно характеризовало нашъ русскій бытъ. Вообще это произведеніе носитъ на себѣ печать перваго опыта, хотя опыта человѣка съ большимъ дарованіемъ. Оно блестящее; но почти

все ученическое, потому что почти все подражательное. Такъ пишутъ обыкновенно въ первой молодости изъ любви къ поэтическимъ формамъ, болѣе, нежели изъ настоящей потребности выражаться. Вотъ тебѣ теперешнее мое мнѣніе объ Онѣгинѣ. Повѣряю его тебѣ за тайну и надѣюсь, что она останется между нами, ибо мнѣ весьма некстати строго критиковать Пушкина. Отъ тебя же утаить настоящій мой образъ мыслей мнѣ совѣстно.

Покуда я заготовлялъ тебѣ это письмо, я получилъ отъ тебя другое. Перцовъ тебѣ совралъ: будущую зиму я непремѣнно проведу въ Москвѣ, но не надѣюсь остаться постояннымъ ея жителемъ, и на всякій случай строю домъ въ деревнѣ. Я тебѣ уже говорилъ, что мы будемъ жить особо. Это введетъ насъ въ издержки, которыя прежде опыта мы опредѣлить не можемъ. Не мудрено, что московская жизнь придется намъ не по состоянію, и тогда хоть не хотя, надо будетъ поселиться въ деревнѣ. Планы твои не однажды были моими, и поэтому ты легко повѣришь, что ежели я увижу какую-нибудь возможность остаться въ твоей Москвѣ, то ее не оставлю. Знакомецъ мой Перцовъ, кажется, не очень тебѣ понравился. Признаюсь, и у меня не весьма лежитъ къ нему сердце. Можетъ быть, онъ человѣкъ съ умомъ и даже съ хорошими душевными качествами, но какъ-то существо его не гармонируетъ съ моимъ. Мнѣ съ нимъ неловко и невесело. Правда ли, что Горскина выходитъ за Щербатова? Она сначала была въ довольно частой перепискѣ съ сестрою Соничкой, но теперь мѣсяца три какъ уже къ ней не пишетъ. Когда ты ее увидишь, попрекни ее отъ сестры этой недружеской перемѣной —Въ здѣшній университетъ пришла бумага отъ министра просвѣщенія, въ которой рекомендуется имѣть строгое смотрѣніе за тѣмъ, чтобы студенты не читали ни *Телеграфа*, ни *Телескопа*,

какъ журналовъ, распространяющихъ вредныя мысли. Говорятъ, что изданіе ихъ прекращено. Правда ли это? Прощай, мой милый, обнимаю тебя отъ всей души. Сердечно радуюсь лучшему здоровью твоей маменьки и усердно цѣлую ея ручки.—Е. Боратынскій.

33.

(12-го апрѣля 1832).

Ты провелъ день рожденія твоего довольно печально. Надѣюсь, что народное замѣчаніе не сбудется, и что этотъ день не будетъ для тебя образцикомъ всѣхъ послѣдующихъ сего года. Много минутъ жизни, въ которыхъ насъ поражаетъ ея безсмыслица: одни почерпаютъ въ нихъ заключенія, подобныя твоимъ, другіе—надежду другого, лучшаго бытія. Я принадлежу къ послѣднимъ. Не стану теперь разсуждать о предметѣ, который можетъ наполнить томы, но съ удовольствіемъ переношусь мыслію въ то время, когда мы опять примемся за наши безконечные споры. „Вечера на Диканькѣ", безъ сомнѣнія, показываютъ человѣка съ дарованіемъ. Я приписывалъ ихъ Перовскому, хоть я вовсе въ нихъ не узнавалъ его. Въ нихъ вообще меньше толку и больше жизни и оригинальности, чѣмъ въ сочиненіяхъ сего послѣдняго. Молодость Яновскаго служитъ достаточнымъ извиненіемъ тому, что въ его повѣстяхъ есть неполнаго и поверхностнаго. Я очень радъ буду съ нимъ познакомиться. О свадьбѣ Скарятина мы поговоримъ, когда увидимся. Можетъ быть, я докажу тебѣ, что предположенія наши не были особенно неблагоразумны. Прощай. Я и жена моя поздравляемъ тебя и твоихъ съ праздникомъ.—Твой Е. Боратынскій.

34.

(1832).

Я такъ давно къ тебѣ не писалъ, что право совѣстно. Молчалъ не отъ лѣни, не отъ недосуга, *а такъ*. Этотъ *такъ* — русскій абсолютъ, но толковать его не возможно. Сегодня мнѣ по настоящему некогда писать писемъ, потому что пишу стихи, а вотъ я за грамотою къ тебѣ. Какъ это дѣлается, ежели не *такъ*? Я очень благодаренъ Яновскому за его подарокъ. Я очень бы желалъ съ нимъ познакомиться. Еще не было у насъ автора съ такою веселою веселостью, у насъ на сѣверѣ она великая рѣдкость. Яновскій—человѣкъ съ рѣшительнымъ талантомъ. Слогъ его живъ, оригиналенъ, исполненъ красокъ и часто вкуса. Во многихъ мѣстахъ въ немъ виденъ наблюдатель, и въ повѣсти своей „Страшная месть“ онъ не однажды былъ поэтомъ. Нашего полку прибыло: это заключеніе немножко нескромно, но оно хорошо выражаетъ мое чувство къ Яновскому.

О трагедіи Хомякова ты мнѣ писалъ только то, что она кончена. Поговори мнѣ о ней подробнѣе. Мнѣ пишетъ изъ Петербурга братъ, которому Хомяковъ ее читалъ, что она далеко превосходитъ „Бориса“ Пушкина, но не говоритъ ничего такого, по чему можно бы составить себѣ о ней понятіе. Надѣюсь въ этомъ на тебя.

Поблагодари за меня милую Каролину за переводъ „Переселенія душъ“. Никогда мнѣ не бывало такъ досадно, что я не знаю по нѣмецки. Я увѣренъ, что она перевела меня прекрасно, и мнѣ бы веселѣе было читать себя въ ея переводѣ, нежели въ своемъ оригиналѣ: какъ въ нѣсколько флатированномъ портретѣ охотнѣе узнаешь себя, нежели въ зеркалѣ.

Сестра Соничка не сердится за то, что ты подозрѣ-

ваешь въ Горскиной немного кокетства. Дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что до нея дошли слухи, что ты между ними находишь большое сходство, изъ чего слѣдуетъ, что ты и о ней того же мнѣнія, а въ справедливости его она не признается.

Прощай, мой милый; напиши, сдѣлай милость, какой у тебя чинъ: мнѣ это нужно для того, чтобы адресовать тебѣ квитанцію изъ Опекунскаго Совѣта. Это тебѣ не доставитъ никакихъ хлопотъ: тебѣ вручатъ, и только. Что Свербѣевы? Поклонись имъ отъ меня, равно какъ и всѣмъ своимъ.—Твой Боратынскій.

Напиши мнѣ скорѣй о своемъ чинѣ. 25 мая я выѣзжаю отсюда.

35.

(16-го мая 1832).

Я поставлю себѣ за правило не пропускать ни одной почты и писать къ тебѣ хоть два слова, но еженедѣльно. Писать къ тебѣ уже мнѣ сердечная потребность, и мнѣ легко будетъ не отступать отъ своего правила. Что́ ты говоришь о баснѣ новаго міра мнѣ кажется очень справедливымъ. Я не знаю человѣка богаче тебя истинно критическими мыслями. Я написалъ всего одну пьесу въ этомъ родѣ и потому не могу присвоить себѣ чести, которую ты приписываешь. Изобрѣтеніе этого рода будетъ намъ принадлежать вдвоемъ, ибо замѣчаніе твое меня поразило, и я непремѣнно постараюсь написать десятка два подобныхъ эпиграммъ. Писать ихъ не трудно, но трудно находить мысли, достойныя выраженія. Мы на канунѣ нашего отъѣзда отсюда. Тесть мой ѣдетъ въ Москву, а я съ женою въ Тамбовскую губернію къ моей матери. Пиши однако мнѣ все въ Казань, покуда не получишь отъ меня письма,

въ которомъ я рѣшительно увѣдомлю тебя о моемъ отъѣздѣ. Мы увидимся въ концѣ августа, а ежели Богъ дастъ, долго поживемъ вмѣстѣ. Прощай, обнимаю тебя.—Е. Боратынскій.

Что подѣлываетъ Языковъ? Этотъ лѣнтяй изъ лѣнтяевъ пишетъ ли что-нибудь? Прошу его пожалѣть обо мнѣ: одна изъ здѣшнихъ дамъ, женщина степенныхъ лѣтъ, не потерявшая еще притязаній на красоту, написала мнѣ посланіе въ стихахъ безъ мѣры, на которое я долженъ отвѣчать.

36.

(30-го мая 1832).

Тесть мой поѣхалъ въ Москву. Я долженъ былъ выѣхать въ одно время въ Тамбовъ къ моей матери, гдѣ я намѣренъ былъ провести лѣто, но нездоровье моей жены меня удержало. Пиши мнѣ по прежнему въ Казань. Не могу вообразить, что такое трагедія Хомякова. Дмитрій Самозванецъ—лицо отмѣнно историческое; воображеніе наше по неволѣ даетъ ему физіономію сообразную съ сказаніями лѣтописцевъ. Идеализировать его—верхъ искусства. Байроновъ Сарданапалъ—лицо туманное, которому поэтъ могъ дать такое выраженіе, какое ему было угодно. Некому сказать: не похожъ. Но Дмитрія мы всѣ какъ будто видѣли, и судимъ поэта, какъ портретнаго живописца. Родъ, избранный Хомяковымъ, отмѣнно увлекателенъ: онъ представляетъ широкую раму для поэзіи. Но мнѣ кажется, что Ермаку онъ приходится лучше, нежели Дмитрію. Скоро ли онъ напечатаетъ свою трагедію? Мнѣ не терпится ее прочесть, тѣмъ болѣе, что ея изданіе противорѣчитъ всѣмъ моимъ понятіямъ, и я надѣюсь въ ней почерпнуть совершенно новыя поэтическія впечатлѣнія. Это время я писалъ все мелкія пьесы. Теперь у меня ихъ пять, въ томъ числѣ одна, на смерть Гёте, которою я болѣе доволенъ, чѣмъ другими. Не по-

сылаю тебѣ этого всего, чтобъ было мнѣ что прочесть, когда увидимся. Извини мнѣ это Хвостовское чувство. Прощай. Наши проведутъ дня три въ Москвѣ. Повидайся съ ними: они разскажутъ тебѣ о похожденіяхъ нашихъ въ Казани.

37.

(13-го іюня 1832).

Я все еще въ моей Казанской деревнѣ и не знаю, когда выѣду. Пишу къ тебѣ, чтобъ не пропустить почты, по нашему условію. Когда рѣшусь ѣхать, я тебя увѣдомлю, а покуда пиши на старый адресъ. Прощай, обнимаю тебя.— Е. Боратынскій.

38.

(20-го іюня 1832).

Пишу тебѣ въ послѣдній разъ изъ Казани. 19-го числа я выѣзжаю въ Тамбовъ. Адресуй мнѣ теперь свои письма: Тамбовской губерніи, въ городъ Кирсановъ. Что ты мнѣ говоришь о Hugo и Barbier заставляетъ меня, ежели можно, еще нетерпѣливѣе желать моего возвращенія въ Москву. Для созданія новой поэзіи именно недоставало новыхъ сердечныхъ убѣжденій, просвѣщеннаго фанатизма: это, какъ я вижу, явилось въ Barbier. Но врядъ ли онъ найдетъ въ насъ отзывъ. Поэзія вѣры не для насъ. Мы такъ далеко отъ сферы новой дѣятельности, что весьма неполно ее разумѣемъ и еще менѣе чувствуемъ. На европейскихъ энтузіастовъ мы смотримъ почти такъ, какъ трезвые на пьяныхъ, и ежели порывы ихъ иногда понятны нашему уму, они почти не увлекаютъ сердца. Что для нихъ дѣйствительность, то для насъ отвлеченность. Поэзія индивидуальная одна для насъ естественна. Эгоизмъ—наше законное божество, ибо мы свергнули старые кумиры и еще не увѣровали въ новые.

Человѣку, не находящему ничего внѣ себя для обожанія, должно углубиться въ себѣ. Вотъ покамѣсть наше назначеніе. Можетъ быть, мы и вздумаемъ подражать (Barbier) но въ этихъ систематическихъ попыткахъ не будетъ ничего живого, и сила вещей поворотитъ насъ на дорогу болѣе намъ естественную. Прощай, поклонись отъ меня твоимъ. Когда-то я попрошу тебя нанять себѣ домъ въ Москвѣ! Когда-то мы съ тобою просидимъ съ 8 часовъ вечера до трехъ или четырехъ утра за философическими мечтами, не видя, какъ летитъ время! Однажды въ Москвѣ, надѣюсь долго съ тобой не разлучаться и дать своей жизни давно мною желанную осѣдлость.

39.

(1832).

Ты мнѣ развилъ мысль свою о баснѣ съ разительною ясностію. Мнѣ бы хотѣлось, чтобъ ты написалъ статью объ этомъ. Мысль твоя нова и по моему убѣжденію справедлива: она того стоитъ. Я берегу твои письма, и когда мы увидимся въ Москвѣ, я тебѣ отыщу тѣ два, въ которыхъ ты говоришь о баснѣ. Ты перенесешь сказанное въ нихъ въ твою статью, ибо мудрено выразиться лучше. Ты необыкновенный критикъ, и запрещеніе *Европейца* для тебя большая потеря. Неужели ты съ тѣхъ поръ ничего не пишешь? Что твой романъ? Виландъ, кажется, говорилъ, что ежелибъ онъ жилъ на необитаемомъ островѣ, онъ съ такимъ же тщаніемъ отдѣлывалъ бы свои стихи, какъ въ кругу любителей литературы. Надобно намъ доказать, что, Виландъ говорилъ отъ сердца. Россія для насъ необитаема, и нашъ безкорыстный трудъ докажетъ высокую моральность мышленія. Я прочиталъ здѣсь „Царя Салтана“. Это—совершенно русская сказка, и въ этомъ, мнѣ кажется, ея

недостатокъ. Что̀ за поэзія—слово въ слово привести въ риѳмы Еруслана Лазаревича или Жаръ-птицу? И что̀ это прибавляетъ къ литературному нашему богатству? Оставимъ матеріалы народной поэзіи въ ихъ первобытномъ видѣ, или соберемъ ихъ въ одно полное цѣлое, которое на столько бы ихъ превосходило, сколько хорошая исторія превосходитъ современныя записки. Матеріалы поэтическіе иначе нельзя собрать въ одно цѣлое, какъ черезъ поэтическій вымыселъ, соотвѣтственный ихъ духу и по возможности всѣ ихъ обнимающій. Этого далеко нѣтъ у Пушкина. Его сказка равна достоинствомъ одной изъ нашихъ старыхъ сказокъ—и только. Можно даже сказать, что между ними она не лучшая. Какъ далеко отъ этого подражанія русскимъ сказкамъ до подражанія русскимъ пѣснямъ Дельвига! Однимъ словомъ, меня сказка Пушкина вовсе не удовлетворила. Прощай, поздравь отъ меня Свербѣева и жену его. Пиши мнѣ по старому въ Казань. Я не знаю, долго ли здѣсь пробуду. Въ іюлѣ постараюсь быть въ Москвѣ, чтобы увидѣть Жуковскаго и скорѣе тебя обнять, но можно ли будетъ, еще не знаю.

40.

(4-го августа 1833).

Что̀ ты дѣлаешь и почему ко мнѣ не пишешь? Неужели въ самомъ дѣлѣ потому, что не могъ затвердить моего адреса? Признайся, что съ твоей стороны есть небольшое упрямство, которое ты не оправдаешь никакой діалектикой. Чтобъ у тебя не было отговорки, вотъ мой адресъ: *Тамбовской губерніи, въ Кирсановъ*. Онъ весьма несложенъ. Я до сихъ поръ не писалъ тебѣ просто отъ неимовѣрныхъ жаровъ нынѣшняго лѣта, отнимавшихъ у меня всякую дѣятельность, умственную и физическую. Я откладывалъ отъ почты до почты, и такимъ образомъ прошло довольно вре-

мени. Я ѣхалъ въ деревню, предполагая найти въ ней досугъ и безпечность, но ошибся. Я принужденъ принимать участіе въ хлопотахъ хозяйственныхъ: деревня стала вотчиной, а разница между ними необъятна. Всего хуже то, что хозяйственная дѣятельность сама по себѣ увлекательна; по неволѣ весь въ нее вдаешься. Съ тѣхъ поръ, какъ я здѣсь, я еще ни разу не думалъ о литературѣ. Оставляю всѣ поэтическіе планы къ осени, послѣ уборки хлѣба. Ты что дѣлаешь? Ты хотѣлъ усердно работать перомъ, и у тебя нѣтъ моихъ отговорокъ. Надѣюсь, что ты не даромъ заручилъ свое слово мнѣ и Хомякову. Недавно тебя видѣли у Берже. Это съ твоей стороны очень мило. Похожъ ли твой портретъ и скоро ли ты мнѣ пришлешь его? Прощай, мое почтеніе всѣмъ твоимъ. Ежели увидишь Ширяева, сдѣлай одолженіе, скажи ему, что я весьма неисправно получаю корректуру. Листъ долженъ оборотиться въ три недѣли, а онъ оборачивается въ пять. Ежели все такъ пойдетъ, то я не напечатаюсь и къ будущему году.—Е. Боратынскій.

41.

(15-го октября 1833).

Сердечно благодарю тебя за твой подарокъ. Я получилъ твой портретъ. Онъ похожъ и даже очень; но, какъ всѣ портреты и всѣ переводы — неудовлетворителенъ. Странно, что живописцы, занимающіеся исключительно портретомъ, не умѣютъ ловить на лету, во время разговора, настоящей физіономіи оригинала и списываютъ только паціента. Я помню бездушную систему Берже, объясненную мнѣ имъ самимъ. По его мнѣнію, портретный живописецъ не долженъ давать волю своему воображенію, не долженъ толковать своевольно списываемое лицо, но аккуратно слѣдовать всѣмъ матеріальнымъ линіямъ и довѣрить сходство этой

точности. Онъ и здѣсь былъ вѣренъ своей системѣ, отчего твой портретъ можетъ привести въ восхищеніе всѣхъ людей, которые тебя знаютъ не такъ особенно, какъ я, а меня оставляетъ весьма довольнымъ присылкой, но недовольнымъ живописцемъ. О себѣ мнѣ тебѣ почти сказать нечего. Я весь погрязъ въ хозяйственныхъ расчетахъ. Немудрено: у насъ совершенный голодъ. Для продовольствія крестьянъ нужно намъ купить 2000 четвертей ржи. Это, по нынѣшнимъ цѣнамъ, составляетъ 40.000. Такія обстоятельства могутъ заставить задуматься. На мнѣ же, какъ на старшемъ въ семействѣ, лежатъ всѣ распорядительныя мѣры. Прощай, усердно кланяюсь всѣмъ твоимъ.—Е. Боратынскій.

42.

(28-го ноября 1833).

На дняхъ получилъ я отъ Смирдина программу его журнала съ пригласительнымъ письмомъ къ участію. Не знаю, удастся ли ему эта спекуляція. Французскіе писатели не нашимъ чета; но ничего нѣтъ бѣднѣе и блѣднѣе Ладвокатова „Cent et un“. Все-таки надо помочь ему. Его смѣлость и дѣятельность достойны всякаго одобренія. Приготовляешь ли ты что-нибудь для него? Знаешь ли ты, что у тебя есть готовая и прекрасная статья для журнала? Это —теорія туалета, которую можно напечатать отрывкомъ. Я о ней вспомнилъ недавно, читая недавно теорію походки Бальзака. Сравнивая обѣ статьи, я нашелъ, что вы имѣете большое сходство въ оборотѣ ума и даже въ слогѣ, съ тою разницею, что передъ тобою еще широкое поприще, и что ты можешь избѣгнуть его недостатковъ. У тебя теперь, что было у него въ началѣ: совѣстливая изысканность выраженій. Онъ замѣтилъ ихъ эффектность, сталъ менѣе совѣстливъ и еще болѣе изысканъ. Ты останешься совѣстливъ и будешь

избѣгать принужденности. У тебя какъ у него потребность генерализировать понятія, желаніе указать сочувствіе и соотвѣтственность каждаго предмета и каждаго факта съ цѣлою системою міра; но онъ, мнѣ кажется, грѣшитъ излишнимъ хвастовствомъ ученостію, театральнымъ заимствованіемъ цѣховыхъ выраженій каждой науки. Успѣхъ его нѣсколько избаловалъ. Я не люблю также его слишкомъ общаго, слишкомъ легкомысленнаго сенти(мента)лизма. Постоянное притязаніе на глубокомысліе не совсѣмъ скрываетъ его французскую вѣтренность. Какъ признаться мыслителю, что онъ не достигъ ни одного убѣжденія, и еще болѣе, не смѣшно ли хвалиться этимъ! Ты можешь быть Бальзакомъ съ двумя или тремя мнѣніями, которыя дадутъ тебѣ точку опоры, которая ему недостаетъ, съ языкомъ болѣе прямымъ и быстрымъ, и столько же отчетливымъ. Прощай, кланяюсь твоимъ.—Е. Боратынскій.

Сдѣлай одолженіе: узнай деревенскій и городской адресъ Пушкина; мнѣ нужно къ нему написать. Нарочно для этого распечатываю письмо.

43.

(4-го декабря 1833).

Ты меня печалишь своими дурными вѣстями. Что твои глаза? Надѣюсь, что это письмо застанетъ тебя зрячимъ. Мнѣ случалось хвалить уединеніе, но не то, которое доставляетъ слѣпота. Кстати объ уединеніи. Ты возобновляешь вопросъ о томъ, что̀ предпочтительнѣе: свѣтская жизнь или затворническая? Та и другая необходимы для нашего развитія. Нужно получать впечатлѣнія, нужно ихъ и резюмировать. Такъ нужны сонъ и бдѣніе, пища и пищевареніе. Остается опредѣлить, въ какой долѣ одно будетъ къ другому. Это зависитъ отъ темперамента каждаго. Что касается

до меня, то я скажу объ обществѣ, то, что Фамусовъ говоритъ объ обѣдахъ:

Ѣшь три часа, и въ три дня не сварится.

Ты принадлежишь новому поколѣнію, которое жаждетъ волненій, я—старому, которое молило Бога отъ нихъ избавить. Ты назовешь счастіемъ пламенную дѣятельность; меня она пугаетъ, и я охотнѣе вижу счастіе въ покоѣ. Каждый изъ насъ почерпнулъ сіи мнѣнія въ своемъ вѣкѣ. Но это —не только мнѣнія, это—чувства. Органы наши образовались соотвѣтственно понятіямъ, которыми питался нашъ умъ. Ежели бы теоретически каждый изъ насъ принялъ систему другого, мы все бы не перемѣнились существенно. Потребности нашихъ душъ остались бы тѣ же. Подъ уединеніемъ я не разумѣю одиночества; я воображаю

Пріютъ, отъ свѣтскихъ посѣщеній
Надежной дверью запертой,
Но съ благодарною душой
Открытый дружеству и дѣвамъ вдохновеній.

Таковой я себѣ устрою рано или поздно, и надѣюсь, что ты меня въ немъ посѣтишь. Обнимаю тебя.—Е. Боратынскій.

Письма безъ датъ.

1.

Вотъ тебѣ Lapidaire, котораго я все забывалъ тебѣ отослать. Свояченица моя тебѣ скажетъ, почему я тебѣ не писалъ съ нею. Оправданіе отмѣнно убѣдительное, и которымъ, или въ родѣ котораго, я воспользуюсь при родственныхъ перепискахъ. Говоря дѣльно, я не писалъ тебѣ до сихъ поръ не потому, что тебя забылъ, не потому, что мнѣ нечего было тебѣ сказать, а потому, что я предпочитаю

разговоры перепискѣ, и надѣюсь скоро съ тобою увидѣться. Началъ писать мой романъ, но дѣло идетъ мѣшкотно. Я отвыкъ отъ работы, отвыкъ отъ долгаго вниманія. Въ мысляхъ моихъ нѣчто кочевое, отзывъ жизни, которую я велъ до сего времени. Вздыхаю по жизни болѣе осѣдлой, по моей московской квартирѣ, изъ которой ежедневно до 3-хъ часовъ не буду выходить ни на шагъ, и заставлю свой умъ снова любить послѣдовательность, постоянство въ думахъ. Прощай, поклонись отъ меня Одоевскому, который мнѣ очень по сердцу. Обнимаю тебя. Извини мою прежнюю (лѣнь) и не приписывай ничему, кромѣ ея, рѣдкость моихъ писемъ.—Е. Боратынскій.

2.

Виноватъ, что такъ давно тебѣ не писалъ, милый Кирѣевскій. Этому причиною, вопервыхъ, головныя боли, къ которымъ я склоненъ и посѣтившія меня какъ нарочно два почтовыхъ дня сряду; потомъ, я живу среди такихъ заботъ и нахожусь подъ вліяніемъ такихъ впечатлѣній (я слегка говорилъ тебѣ, въ какомъ бѣдственномъ положеніи здоровье моей матери), что не всегда въ силахъ приняться за перо. Мнѣ ли тебѣ задавать темы для литературныхъ статей? Я давно выпустилъ изъ виду общіе вопросы для исключительнаго существованія. Но не задать ли тебѣ, напримѣръ, тотъ самый предметъ, о которомъ я говорю: жизнь общественная и жизнь индивидуальная. Сколько человѣкъ по законамъ извѣстной совѣсти долженъ удѣлить первой и можетъ дать послѣдней? Законны ли одинокія потребности? Какія отношенія и перевѣсъ (balance) наружной и внутренней жизни въ государствахъ наипаче просвѣщенныхъ, и что въ Россіи? Я бы желалъ видѣть сіи вопросы обдуманными и рѣшенными тобою. Мнѣ нужно твое пособіе въ сношеніяхъ моихъ

съ Ширяевымъ. Вотъ уже два мѣсяца, какъ я не получаю корректуры. Я предполагаю, что для скорости онъ рѣшился печатать по моей рукописи, не заботясь о томъ, что я могу сдѣлать нѣсколько поправокъ. На всякій случай посылаю тебѣ давно мною исправленную „Эду“ и „Пиры“, но теперь только приготовленныя къ отсылкѣ. Доказательство той моральной лѣни, которою я одержимъ съ нѣкотораго времени. Посылаю тебѣ также предисловіе въ стихахъ къ новому изданію и заглавный листъ съ музыкальнымъ эпиграфомъ. Я желаю, чтобы Ширяевъ согласился на гравировку или литографировку этого листа. Онъ можетъ мнѣ сдѣлать это снисхожденіе за лишнюю пьесу, которую я ему посылаю. Обнимаю тебя и кланяюсь всѣмъ твоимъ.—Е. Боратынскій.

Надѣюсь, что маменька и братъ теперь здоровы. У насъ тоже всю зиму были жестокія повѣтрія, и всѣ мы одинъ за другимъ перехворали.

3.

Спасибо тебѣ за твои хлопоты обо мнѣ. Я думаю, что Смирдинъ просто прибавилъ 50 экземпляровъ. Но все ты правъ, и зѣвать не надобно. Я напишу къ своимъ знакомымъ, а васъ прошу написать къ вашимъ. Я здоровъ и скоро съ тобой увижусь. Ежели Языковъ у васъ, поцѣлуй его за меня, пока мнѣ самому будетъ досугъ съ нимъ похристосоваться. Обнимаю тебя.—Е. Боратынскій.

4.

Милый мой Кирѣевскій, сдержи слово и пріѣзжай ко мнѣ сейчасъ, либо въ 6 часовъ послѣ обѣда. Эдиція моя готова, надо подписывать экземпляры. Попроси Петерсона о чернилахъ. Сколько я вамъ доставляю хлопотъ! Лучше

бы мнѣ и не говорить объ этомъ. Напиши, когда будешь.— Е. Боратынскій.

5.

Отсылаю тебѣ „Contes bruns“, кажется, въ томъ видѣ, въ какомъ получилъ, и надѣюсь, что Чадаевъ на тебя не будетъ сердиться. Хоть они не стоятъ „Scènes privées“, но все видна кисть мастера и взглядъ человѣка, принадлежащаго къ малому числу своеобразныхъ мыслителей. Надѣюсь сдержать слово и скоро съ тобой увидѣться... Прощай. Я и жена сердечно благодаримъ тебя за твое братское гостепріимство. Усердно тебя обнимаю.—Е. Боратынскій.

6.

Каковъ ты, милый Кирѣевскій? Мы очень боимся, не простудился ли ты вчера. Человѣкъ нашъ сказывалъ, что ты безъ шинели отыскивалъ жену мою, которая тебѣ очень, очень признательна за попеченія твои о ней. Напиши мнѣ слова два и успокой насъ обоихъ.—Е. Боратынскій.

7.

Вотъ тебѣ моя тетрадь, милый мой Кирѣевскій. Возьми ее на свое попеченіе. Постараюсь въ скоромъ времени съ тобой увидѣться. Ежели Максимовичъ тебѣ доставилъ обѣщанную пробу печати, то пришли мнѣ ее. Обнимаю тебя.— Е. Боратынскій.

8.

Мнѣ лучше, но я еще не совсѣмъ здоровъ и не знаю, когда мнѣ удастся побывать у тебя. Навѣсти меня, мой милый: поговоримъ о Семеновой да еще кой о чемъ. По-

клонись отъ меня батюшкѣ и матушкѣ поцѣлуй ручки. Жена моя тебѣ и ей усердно кланяется.

9.

Разговоръ, оживленный истиннымъ разговорнымъ вдохновеніемъ, то-есть, взаимною довѣренностію и совершенною свободою, столь же мало похожъ на обыкновенную свѣтскую перемолвку, сколько дружеское письмо на поздравительное. Разумѣется, что онъ тѣмъ будетъ полнѣе, чѣмъ разговаривающіе болѣе чувствовали, болѣе мыслили и чѣмъ болѣе у нихъ свѣдѣній всякаго рода. Возможно полный разговоръ требуетъ тѣхъ же качествъ, какъ и возможно хорошая книга. Авторъ беретъ листъ бумаги и старается наполнить его какъ можно лучше: разговаривающіе желаютъ какъ можно лучше наполнить извѣстный промежутокъ времени, и тѣмъ же самымъ издѣльемъ. Надобно прибавить, что ежели нужно дарованіе для выраженія письменнаго, оно нужно и для словеснаго. Дарованіе это совершенно особенно. Авторъ углубляется въ свою собственную мысль, стараясь удалить отъ себя все постороннее; разговаривающій ловитъ чужую и возносится на ея крыльяхъ. Что развлекаетъ перваго, то второму служитъ вдохновеніемъ. Тотъ же умъ, то же чувство, особеннымъ образомъ разгоряченные, проявляются въ быстромъ обмѣнѣ словъ, съ красотою, съ физіономіею, отличною отъ красоты ихъ и физіономіи на бумагѣ. Всѣ предметы разговора равны, ибо всѣ имѣютъ непремѣнную связь между собою и человѣка мыслящаго ведутъ къ одному общему вопросу. Обозрѣвать его можно различно, и потому, сверхъ первыхъ обыкновенныхъ условій разговора, я прибавлю искреннюю, религіозную любовь къ истинѣ, сколько возможно ослабляющую упорную и само-

любивую привязчивость къ нашимъ мнѣніямъ потому только, что они наши. Еще два слова: разговоръ, о коемъ я говорю,—дитя какого-то душевнаго брака и требуетъ между разговаривающими сочувствія, взаимнаго уваженія, безъ которыхъ онъ не заключится, и слѣдственно, не принесетъ своего плода—возможно полнаго разговора.

III.

ДѢТСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ Е. А. БОРАТЫНСКАГО.

Какъ многіе поэты своего поколѣнія, Евгеній Абрамовичъ Боратынскій стихи сталъ писать очень рано, но—на языкѣ французскомъ. Вотъ стихотвореніе, написанное имъ къ матери, когда ему было двѣнадцать лѣтъ:

Je voudrais bien, ma mère,
Celébrer tes vertus
Que de la main divine
En naissant tu reçus!

Pourrais-je m'en défendre
Voyant ta bonté,
Ton âme douce et tendre,
Ton esprit, ta beauté!

Je pense au nom de Flore,
De Venus, de Psyché,
De Pallas et d'Aurore...
Mais hélas, quel péché!

Comparerai-je un être
Si vrai, si pur, si bon
Aux beautés dont, peut-être,
N'existe que le nom!

Une beauté celeste
Si pleine de vertus,
Si douce et si modeste
Que toi, n'existe plus!

Дѣтская наивность этихъ стиховъ придаетъ имъ трогательную прелесть. Въ двухъ предпослѣднихъ строфахъ, исполненныхъ оригинальности, уже видно раннее мастерство истиннаго поэта.

По русски писать стихи Евгеній Абрамовичъ сталъ гораздо позже. Вотъ самое раннее изъ сохранившихся его русскихъ стихотвореній (1817 года), поражающее своею неумѣлостью, въ сравненіи со стихами французскими:

23 января 1817 года [1]).

Хоръ, пѣтый въ день именинъ дяденьки Богдана Андреевича [2]) его маленькими племянницами Панчулидзевыми:

Родства пріязни нѣжной
Мы гласъ приносимъ сей:
Въ ней къ счастью путь надежный,
Вся жизнь и сладость въ ней.
Хоть чуждо намъ искусство
Съ пріятствомъ говорить,
Но сердца могутъ чувства
Даръ тщетный замѣнить.

[1]) Съ автографа.
[2]) Боратынскаго.

Изъ благъ богатыхъ свѣта
Усердьемъ лишь однимъ,
Чѣмъ можемъ въ дѣтски лѣта,
Мы праздникъ сей почтимъ.
Весны въ возобновленье
Средь рощей, средь полей
Такъ птички возвращенье
Поютъ цвѣтущихъ дней!
Увы, теперь природы
Унылъ, печаленъ видъ!
Хладъ зимней непогоды
Небесный кровъ мрачитъ.
И въ ведро, и въ ненастье
Гнетутъ печали злыхъ,
Но истинное счастье
Нигдѣ, какъ въ насъ самихъ!
Смотрите, какъ сіяетъ
Во всѣхъ усердья духъ,
Какъ дышетъ все, блистаетъ
Веселостью вокругъ.
Средъ грозныхъ бурь смятенья,
Хоть громъ вдали шумитъ,
Душевныхъ наслажденій
Ничто не возмутитъ.
Хоть время безвозвратно
Всѣхъ благъ лишаетъ насъ,
Увы, хоть слишкомъ внятно
Судебъ сей слышенъ гласъ,
О, пусть всегда межь нами
Жизнь ваша лишь течетъ
И дружбы подъ цвѣтами
Слѣды сокроетъ лѣтъ!

Заслуживаютъ вниманія эти стихи лишь какъ свидѣтельство той усиленной обработки, коей, вслѣдъ за тѣмъ, поэтъ подвергъ свою стихотворную рѣчь. Съ трудомъ вѣрится, что лишь двумя годами позже (1819) были написаны слѣдующіе стихи (къ Дельвигу):

Вольный баловень забавы,
Ты, которому даютъ
Говорливыя дубравы
Поэтическій пріютъ,
Для кого, въ долинѣ злачный
Извиваясь, ключъ прозрачный
Вдохновительно журчитъ,
Ты, кого зовутъ къ свирѣли
Соловья живыя трели,
Пой, любимецъ Аонидъ!...

IV.

А. Д. БОРАТЫНСКОЙ [1]).

Что̀ ни меттэ а ла фигюръ,
Все вамъ идетъ, же ву засюръ;
Что̀ ни парлэ, все а пропо.
Комиссарьятскій вы депо
И главный арсеналъ амура:
Простаго даже вы бонжура
Не можете проговорить,
Чтобы рублемъ не подарить!
А изъ-подлобья паръ азаръ
Если вы бросите регаръ,
Такъ ужь вулэ, не па вулэ,
А нотръ фреръ сейчасъ брюлэ!
Вы такъ и вѣете востокомъ!

[1]) Эта шутка остроумнаго автора „Курдюковой“ была обращена къ моей теткѣ, Аннѣ Давыдовнѣ Боратынской, извѣстной въ свое время красавицѣ, воспѣтой Пушкинымъ и Козловымъ. Не одною красотою отличалась Анна Давыдовна, но также умомъ и любезностію, и не малымъ стихотворнымъ талантомъ. Прекрасные ея переводы изъ поэтовъ германскихъ и англійскихъ печатались въ повременныхъ изданіяхъ и были собраны въ книжечкѣ, изданной за границею. С. Р.

При васъ всегда стою я бокомъ,
Чтобъ не растаять, не сгорѣть
Иль паръ амуръ не умереть,
Или не сдѣлаться тудсвитъ
Каштанъ роти или помъ квитъ!

И.П. **Мятлевъ.**

V.

СЕРГѢЮ АБРАМОВИЧУ БОРАТЫНСКОМУ [1]).

Тамъ, гдѣ толпился татары,
Гдѣ вѣки замели ихъ слѣдъ,
Гдѣ буйный вихорь ихъ побѣдъ
Едва намъ слышенъ въ звукахъ Мары [2]),
Тамъ, тихой степи гражданинъ,
Науки сумрачный поклонникъ,
Аптекарь, докторъ, дворянинъ,
Какой-то странный беззаконникъ,
Какой-то на Руси пришлецъ,
Какой-то сумасбродный Чацкій,
И не военный, и не штатскій,
Не фабрикантъ и не дѣлецъ,
Кого не встрѣтишь за обѣдней,
Кто въ жизни новый тонъ сыскалъ,
Не стаивалъ ни въ чьей передней,

[1]) Съ автографа. Первые стихи этого посланія уже были напечатаны въ статьѣ Б. Н. Чичерина „Изъ моихъ воспоминаній“ (*Русск. Архивъ* 1890 г.).

[2]) Степное имѣнье С. А. Боратынскаго.

За то въ газетахъ не стоялъ,
Кто смерти не даетъ потачки,
Не возитъ красненькихъ домой,
Склонился чуткой головой
Къ одру нервической горячки,—
И средь чужой семьи гробовъ
Здѣсь не лежать костямъ Ивана [1])
Подъ этимъ саваномъ снѣговъ,
Подъ этой синевой тумана.
Опять Иванъ къ живымъ присталъ,
Опять онъ, смотря по погодѣ,
Завяжетъ галстукъ мнѣ по модѣ
Или напѣнитъ мнѣ бокалъ;
Пойдетъ за мной безпечной тѣнью,
Какъ я пойду бродить во мглѣ
Все торопиться къ наслажденью
Искать чего-то на землѣ.
Когда мнѣ станетъ тѣсно, душно,
Онъ станетъ мой табакъ стирать
И думъ мучительныхъ печать
На мнѣ увидитъ равнодушно.
Мечты болѣзненной полетъ
Принять на сердце онъ не можетъ,
Моей горячки не пойметъ,
Моимъ огнемъ не занеможетъ.
Въ деревню, городъ или степь
Перенесетъ онъ безъ страданій
Всю незатѣйливость желаній,
Всю жизни тягостную цѣпь.
Но я—не весело покину

[1]) Лакей Н. Ф. Павлова.

Ковры безмолвные полей
И долго, долго не остыну
Къ простору дикому степей...
Здѣсь нѣтъ желѣзъ для вдохновенья,
Здѣсь пылу воли нѣтъ конца,
Какъ необъятности Творца,
Какъ необъятности творенья!
Здѣсь океанъ передо мной
Лазури, зелени, свободы!
Душа, несытая землей,
Все рвется вдаль, на край природы!
Здѣсь хочется бѣжать людей,
Любви ихъ, дружбы, счастья, горя,
Туда, гдѣ нѣтъ земли, ни моря,
Нѣтъ восхитительныхъ степей!
Смѣшны здѣсь ласки и угрозы,
Чѣмъ свѣтъ манилъ и чѣмъ пугалъ,
Что я любилъ, чего желалъ,
Мечты, восторги, бури, слезы!
Смѣшны всѣ наши празднества,
Когда надъ степью раскаленной
Блестящей розой Божества
Пылаетъ пламенникъ вселенной!
Огонь очей, заря ланитъ,
Вся жизнь мнѣ кажется обманомъ,
Когда безмѣрнымъ великаномъ
Скелетомъ снѣжнымъ смерть лежитъ.
Я видѣлъ ихъ, края свободы,
Пространствомъ жажду я поилъ;
Ихъ зной, ихъ миръ, ихъ непогоду,
Ихъ мертвый ликъ благословилъ.
На нихъ душа была согрѣта,

Мысль расширялася орломъ,
И вольный вѣтеръ вылъ кругомъ,
И я тонулъ въ пучинѣ свѣта.
На нихъ въ глухой, могильный часъ
Былъ блѣденъ неба сводъ широкій,
И было въ мірѣ двое насъ:
Тутъ я, тамъ мѣсяцъ одинокій...
Я вспоминаю ихъ... А вы, мудрецъ,
Степей безпечныхъ давній житель,
Къ кому въ родимую обитель
Входилъ блуждающій пѣвецъ,
Вы вспомните ль, что здѣсь видали
Того, кто въ свѣтлый вашъ удѣлъ
Отъ тучи утренней печали
Когда-то птицей залетѣлъ?

Н. Павловъ.

Это юношеское стихотвореніе остроумнаго прозаика-автора столь цѣнимыхъ въ свое время „Повѣстей“, критическихъ статей и весьма немногихъ печатныхъ стиховъ, основателя *Русскихъ Вѣдомостей*, написано въ 1832 году, въ селѣ Марѣ, воспѣтомъ Е. А. Боратынскимъ въ двухъ прелестныхъ стихотвореніяхъ: „Запустѣніе“ и „Судьбой наложенныя цѣпи“. Своимъ неяснымъ, расплывчатымъ лиризмомъ посланіе это болѣе напоминаетъ манеру Бенедиктова и Кукольника, чѣмъ изящную точность корифеевъ Пушкинскаго поколѣнія. Но при этомъ нельзя не припомнить, что раннія упражненія въ стихотворствѣ наложили на *прозу* всѣхъ современниковъ Пушкина и, позднѣе, на прозу Тургенева неизгладимую печать мѣрности и благозвучія. Печати этой недостаетъ прозѣ Гоголя, Достоевскаго, Толстого....

Впрочемъ, въ посланіи Н. Ф. Павлова имютъ цѣну первые

стихи, какъ напоминаніе о человѣкѣ замѣчательномъ, хотя весьма мало извѣстномъ. Лучшимъ поясненіемъ къ этимъ стихамъ можетъ послужить нижеслѣдующая страница изъ воспоминаній Б. Н. Чичерина, въ коихъ находимъ живую характеристику семьи Боратынскихъ:

„...Едва ли однако не самымъ даровитымъ членомъ семьи былъ младшій братъ Сергѣй. Это была совершенно геніальная натура, живая, страстная, одаренная самыми разнообразными способностями. Онъ былъ медикъ по призванію, учился въ Московской академіи, затѣмъ поселился въ деревнѣ и безплатно лѣчилъ весь край. Къ нему стекались отовсюду; довѣріе къ нему было безграничное. Его приглашали даже изъ дальнихъ мѣстностей, и онъ не задумывался ѣхать по самымъ труднымъ дорогамъ. Изъ писемъ Катерины Ѳедоровны [1]) видно, что онъ въ осеннюю пору, въ октябрѣ мѣсяцѣ, ѣздилъ въ Орловскую губернію лѣчить ея брата, съ которымъ едва былъ знакомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ искусный механикъ; онъ собственноручно дѣлалъ всевозможное: устраивалъ фейерверки, гравировалъ на мѣди, дѣлалъ сложные музыкальные инструменты, и все это съ величайшею точностью и отчетливостью. Изобрѣтательность его была удивительная; въ домашнемъ быту онъ сочинялъ всевозможныя приспособленія. Отецъ мой часто говаривалъ, что Сергѣй Абрамовичъ сдѣлался бы великимъ человѣкомъ, если бы не родился русскимъ бариномъ. Рядомъ съ этимъ у него были артистическія наклонности: онъ былъ архитекторъ и музыкантъ. Сдѣлавшись по смерти матери владѣльцемъ Мары, онъ возстановилъ въ новомъ видѣ описанное поэтомъ запустѣлое мѣсто. Надъ гротомъ въ оврагѣ, гдѣ онъ любилъ проводить цѣлые дни, укрываясь отъ лѣтняго зноя, Сергѣй

[1]) Кривцовой.

Абрамовичъ построилъ прелестное лѣтнее жилище, куда онъ переселялся со всѣмъ семействомъ на нѣсколько недѣль или даже мѣсяцевъ. Внизу, возлѣ источника, возвышалась изящной архитектуры купальня, въ видѣ готической башни, къ которой велъ красивый мостъ. Въ семейные праздники по лѣсу развѣшивались разноцвѣтные фонари и зажигались бенгальскіе огни, что придавало всей мѣстности фантастическій видъ. Здѣсь устраивались хоры изъ классическихъ оперъ; а зимою Сергѣй Абрамовичъ ставилъ даже цѣлыя оперы, которыя разыгрывались семействомъ. Онъ могъ это дѣлать, ибо вся семья, и жена и дѣти, были прирожденные музыканты. Своей женитьбой, также какъ и черезъ брата, Сергѣй Абрамовичъ находился въ самой тѣсной связи со всѣмъ литературнымъ міромъ. Онъ былъ женатъ на вдовѣ Дельвига, почтенной Софьѣ Михайловнѣ, хранительницѣ преданій великой литературной эпохи, la veuve de la Grande Armée, какъ называлъ ее поэтъ Боратынскій.

„И ко всѣмъ этимъ разнообразнымъ талантамъ Сергѣй Абрамовичъ присоединялъ еще то, что онъ также, какъ его братья, былъ прелестный собесѣдникъ. Я зналъ людей съ блестящимъ остроуміемъ: достаточно назвать Герцена; но никого остроумнѣе Сергѣя Абрамовича я не встрѣчалъ. У него не было ничего односторонняго, придуманнаго, изысканнаго; не было ни собранія анекдотовъ, ни повтореній. Когда онъ былъ въ духѣ, остроуміе било у него полнымъ ключемъ, во всѣ стороны, съ яркими брызгами. Это были, одна за другою, самыя необыкновенныя выходки, самыя неожиданныя сопоставленія. И свое остроуміе, также какъ и свое сочувствіе, онъ дарилъ и старымъ, и молодымъ. Онъ одинаково сходился со всѣми поколѣніями, лишь бы лицо подходило подъ его строй. За то всѣ его любили и всѣ къ нему льнули....“

VI.

ПИСЬМА В. А. ЖУКОВСКАГО КЪ КН. Д. В. ГОЛИЦЫНУ, А. П. ЕЛАГИНОЙ И И. В. КИРѢЕВСКОМУ [1]).

1.

А. П. Елагиной.

Ваша правда, милая Дуняша, я былъ въ Москвѣ, но вы не видѣли меня. Вотъ какъ это случилось. Мнѣ поручено было весьма важное дѣло, которое надобно было исполнить въ тайнѣ, такъ чтобы никто этого совершенно и подозрѣвать не могъ. Времени также не позволено было мнѣ терять ни минуты. Я проѣхалъ черезъ Москву. Еслибы я къ вамъ явился, то вѣроятно, какъ-нибудь сдѣлалось бы извѣстнымъ, что я былъ въ Москвѣ. Я долженъ былъ отказаться отъ счастія васъ видѣть. Однако, позволилъ себѣ взглянуть на васъ хоть невидимкою. Я въ сумерки подходилъ къ вашему окну и видѣлъ васъ; подлѣ васъ стояли, кажется, Маша и Ванюша. Горница была освѣщена. Слышались милые голоса: разговаривали весело, смѣялись. Я простоялъ около полу-

[1]) Печатаются съ автографовъ, сообщенныхъ В. Н. Ласковскимъ.

часа. Наконецъ долженъ былъ съ большимъ горемъ удалиться. Въ эту минуту... я къ счастію проснулся у себя въ Павловскѣ на постели и очень обрадовался, что все это было сонъ. Кто вамъ его разсказалъ? Видно, есть у васъ какой-нибудь шпіонъ моей души, который усердно докладываетъ вамъ о томъ, что̀ въ ней происходитъ. Такъ точно это былъ сонъ. На яву этого никогда не могло бы случиться, и вы хорошо сдѣлали, что не повѣрили клеветѣ на мою къ вамъ дружбу.—На ваше письмо спѣшу сказать одно: я увѣренъ, что Ваня можетъ быть хорошимъ писателемъ. У него все для этого есть: жаръ души, мыслящая голова, благородный характеръ, талантъ авторскій. Нужно пріобрѣсти знанія поболѣе и познакомиться болѣе съ языкомъ. Для перваго—ученіе, для послѣдняго—навыкъ писать. Могу сказать ему одно: учись и пиши: сдѣлаешь честь своей Россіи и проживешь не даромъ. Мнѣ кажется, что ему надобно службу считать не главнымъ, а посвятить жизнь свою авторству. Что̀ же писать, то скажетъ ему его талантъ. Пускай учитъ Россію и учится у Вальтеръ-Скотта изображать вѣрно отечественное; потомъ пускай познакомится съ нравственными писателями и философами Англіи. Намъ еще не по росту глубокомысленная философія нѣмцевъ, намъ нужна простая, мужественная, практическая нравственная философія, не сухая, матеріальная, но основанная на высокомъ, однако ясная и удобная для примѣненія къ дѣятельной жизни. Тамъ философію можно примѣнить наконецъ и къ умозрительной: ясность, простота, практическое, вотъ что̀ намъ надобно. И вотъ такъ для него двѣ цѣли. Съ одной стороны, учись у Шекспира и Вальтеръ-Скотта; съ другой—у Дюгальда Стеуварта, у Смита, у Юма, у Рейда и прочихъ. Этого довольно на жизнь. О Вагнерѣ вашемъ, хотя и не знаю его, пишу къ Рушковскому. Здѣсь прилагаю письмо. Отдайте

отъ себя. Скажите Вагнеру (къ которому самъ напишу, потому что не гораздъ писать по нѣмецки), что я не знаю, о какомъ прежнемъ письмѣ говоритъ онъ. Я никогда его не получалъ. Простите, обнимаю васъ и всѣхъ. Жуковскій.

2.

Ей же.

Милая Дуняша! Наконецъ то, что̀ было неизбѣжно, совершилось. Нашъ ангелъ Саша на томъ свѣтѣ. Въ прошлую субботу въ вечеру, 9-го марта, самое то число, въ которое я въ послѣдній разъ разстался съ Машей, получилъ я объ этомъ извѣстіе изъ Пизы. Ко мнѣ пишетъ объ этомъ Зейдлицъ, докторъ и другъ ея, Машинъ питомецъ, который самъ отыскалъ ее въ Гіерѣ, не отставалъ отъ нея во все время, былъ добрымъ ангеломъ ея послѣднихъ минутъ и остался ангеломъ хранителемъ дѣтей ея. Я уже давно ждалъ этого. Но все ужасно неожиданно. Е. А. [1]) еще не знаетъ, такъ я полагаю, почему и прошу васъ не писать къ ней ничего до тѣхъ поръ, пока отъ меня или отъ Мойера не получите извѣстія; скажите объ этомъ и Авдотьѣ Николаевнѣ и Анетѣ, которымъ сообщите письмо мое. Благодарю Зейдлица, онъ письмомъ своимъ и меня привелъ къ ея смертной постели, и я видѣлъ то, что̀, поражая сердце, знакомитъ его съ лучшимъ земнымъ благомъ, со смертію. Сашина смерть была, какъ жизнь ея, младенчески чиста и возвышенна. Она драгоцѣнное для насъ наслѣдство. Ничего лучше не могу сдѣлать для васъ, какъ выписать все изъ Зейдлицева письма: плачьте и благодарите за нея Бога.

---

[1]) Екатерина Аѳанасьевна Протасова, мать умершихъ М. А. Мойеръ и А. А. Воейковой.

27/5 Februar. Morgen. 6 Uhr.

Lieber, theurer Freund und Bruder! Ahnen Sie das Schreckliche! Sagt Ihnen Ihr Herz nicht, dass ihm für diese Welt etwas entrissen sey? Ah, gewiss! Die schöne Seele unserer geliebten Alexandrine ist in ihre Heimat zurückgekehrt. Ein sanfter Tod hat sie aus dem kummervollen irdischen Leben zum himmlischen eingeführt. Gegen Abend um $7^3/_4$ Uhr entschlief sie in vollem Bewustsein bis zum letzten Augenblicke. Am Morgen verlangte sie den Priester; um 9 Uhr liess sie sich ihre Flechte abschneiden, gab sie ihrer Katinka: sie möchte von dem Haaree den Freunden mittheilen; dann sprach sie mit mir über ihren letzten Willen; schrieb mit zitternder Hand ein paar Zeilen an die Mutter, an Wojeykoff; weiter reichten ihre Kräfte nicht; sie fuhr aber fort mit himmlischer Kraft von ihrem baldigem Tode zu sprechen: *Ah, wie wünsch ich sogleich nach dem heiligen Abendmahle aus dem Leben zu gehen.* Um 1 Uhr kam der Priester aus Livorno, leider nicht der, welcher ihr schon vor einigen Wochen das Abendmahl gereicht hatte, und den sie verehrte; er war verreist: das war ihre letzte fehlgeschlagene Hoffnung, der letzte ihr versagte Wunsch. Schon eine halbe Stunde vorher hatte sie das Muttergottesbild vor sich stellen lassen. Madame Klustine las die Psalmen; andächtig auf den Knien theilten Kinder, Hausgenossen und Bekannten die Feier. Nach genossenem Abendmahle und geschehener Oelung ruhte sie eine halbe Stunde lang aus, rief dann ihre Kinder an das Bette, sprach zu ihnen unvergessliche Worte der Ermahnung, segnete sie, segnete ihren abwesenden Sohn, ihre abwesende Verwandte und Freunde, nahm von den gegenwärtigen Abschied—alles das in wahrhaft himmlischer Begeisterung—ihre Stimme war vernehmbarer, ihre Wangen rötheten sich, sie richtete sich

im Bette auf. Als sie endlich ermattet auf das Kopfkissen zurücksank, drückte sie das Muttergottesbild inbrünstig an ihre Lippen, und sprach, die brennende Kerze in der Hand, laut ein Gebet. Bald war alles stille in dem Zimmer, nur das Schluchzen der Umstehenden unterbrach die feierliche stumme Erwartung—da schlug die nahe Kirchenuhr zweimal an. „Il est deux heures", sprach sie mit schwacher Stimme zu ihren Kindern,—„quand vous entendrez sonner cette heure, souvenez vous toujours de moi et de mes dernières paroles". Von nun an nahm sie weniger Antheil an dem, was um sie her geschah, ihre Seele dachte aber noch klar fort, denn wenn sie aus ihrem Versinken erwachte, so war es um noch anzuordnen, die trostlosen Kinder zu trösten und ihnen zu sagen: „Ne croyez pas que je souffre, je suis beaucoup mieux". Und diese wenige Worte der geliebten Mutter reichten hin die armen Waisen zu beruhigen, sie schliefen neben ihrer Mutter ein. Die Uhr schlug 5. „Ist das Ende nah?" sprach sie zu mir: „werde ich in zwei Stunden beim Vater sein?" Von Zeit zu Zeit öffnete sie die klaren Augen, um auf ihre Kinder zu sehen. „Laissez les dormir jusqu'à demain" sagte sie, auch bis zum letzten Hauch um ihr Wohl besorgt. Um halb acht fragte sie mich, was die Uhr sei. „Couvrez moi — j'ai froid—entendez vous? La parole me devient difficile". Das waren ihre letzten Worte. Noch wenige sanfte Athemzüge, und die entfesselte Seele kehrte zum Vater zurück".

Благодарю ее за ея милую жизнь, въ которой она мнѣ отъ своей купели до послѣдней минуты была самый вѣрный товарищъ: въ младенчествѣ и въ ребячествѣ какъ милое, ясное утѣшеніе въ цвѣтущей молодости какъ дѣлитель и радости, и горя, какъ сама поэзія въ своихъ страданіяхъ

какъ милый предметъ заботы; для всѣхъ ея бѣдъ я былъ для нея и подпорою, и отводомъ; наконецъ и въ послѣднюю минуту какъ изъяснитель лучшаго на землѣ — тайны безсмертія! Одного прошу отъ Бога — возможность жить для ея дѣтей. Тогда буду радоваться ея смертію.

Вотъ что пишетъ Зейдлицъ въ послѣднемъ письмѣ своемъ:

Pisa, am $\frac{18\ \text{F.}}{2\ \text{M.}}$

„Meinen letzten Brief haben Sie schon, ich kann Ihnen also ohne Vorbereitung von der Verehrung sprechen, welche wir Hausgenossen, welche die Bekannten in liebevoller Theilnahme der Hülle Alexandrinens geweiht haben. Von dem Augenblicke an, wo sie ihre Augen auf ewig schloss, bis zur Versenkung in die kühle Gruft haben ihre Diener, Lise, Lisette, Lukian und ich sich in die Pflege, Bewachung, Bedienung wie während ihres Lebens getheilt. In den Nächten waren wir an ihrer Bahre, die Psalmen wurden gelesen, die Gebete verrichtet—alles nach ihrem Wunsche und den Vorschriften der Kirche. Nochmals musste ich von meiner Tischlerkunst Gebrauch machen und Alexandrinen die letzte enge Behausung, den Sarg zurecht machen. Für Katti Moyer habe ich die erste, für Alexandrine die letzte Wohnung zubereitet! Lieber Joukoffsky, wie sonderbar das Geschick mich in Freud und Leid in Ihre Familie verwickelt hat. Im weissen Kleide, bedeckt mit einem weissen Schleier, das Crucifix in den gefaltenen Händen schien sie Entseelte nur zu schlafen; aus ihrem lächelnden Gesichte war der seelenvolle Ausdruck noch nicht geschwunden — kein Zug von Leiden erinnerte uns an Pisa — *so* hatten wir sie am Tage des letzten Balles bei Saladin in Genf gesehen. Vorgestern ward ihr letztes Lager zubereitet, jeder von uns legte die Hand ans Werk, als Zeichen der gewohnten Ver-

ehrung, und zur selben Stunde, Abends 9, wo wir sie sonst aus dem Saale in's Schlafgemach trugen, legten wir ihre Hülle in's ewige Bette. Die Familie des Grafen Maistre, und Dedell's nahmen Theil an dieser Feier, zu welcher ein griechischer Priester des Fürsten Caradja die Gebete verrichtete. Am folgenden Morgen um 5 begleiteten wir alle und der Priester den Sarg zur Kirche nach Livorno. Lukian behauptete seinen gewohnten Platz auf dem Wagen hinter seiner geliebten Herrin, die Kinder fuhren mit Madame Klustine. Im offenen Sarge wohnte Alexandrine zum ersten und zum letzten Male im Auslande dem Gottesdienste in einer griechischen Kirche bey. Die andächtige Menge (es war Sonntag) drängte sich neugierig um die Bahre, an welcher nach dem geendigten Gottesdienste die Todtenmesse gehalten wurde. Der rührende Augenblick des Abschiedes kam,—ich schloss den Sarg, der im feierlichen Zuge durch die Stadt auf den Gettesacker getragen wurde. Auch hier noch wurde in der Kapelle ein Gebet verrichtet—der Sarg stand am Rande der Gruft—ich hob zum letzten Male den Deckel ab, damit der Priester die geweihte Erde hinein werfe, mit den symbolischen Worten: „Отъ земли взятъ и въ землю пойдеши!“ Die Sonne warf durch eine Wolkenspalte den letzten Strahl auf eure Freundinn und verbarg sich. Leichte Schneeflocken fielen noch auf ihren weissen Schleier — und ich schloss auf ewig die ewige Behausung Alexandrinens. Die aufdrönenden Erdschollen waren das letzte was ihre Ruhe störte: jetzt ruht sie!“

Надъ нею будетъ такой же крестъ, какъ и надъ Машею, съ тою же надписью изъ Евангелія: „Да не смущается сердце ваше“. Простите. Перепишите это для Анеты и прочитайте Авдотьѣ Николаевнѣ. Но чтобы никто еще не писалъ къ Е. Аѳанасьевнѣ.

3.

Князю Д. В. Голицыну.

Милостивый государь князь Димитрій Владиміровичъ!

Податель сего письма есть Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій, бывшій издатель *Европейца*. Я уже имѣлъ честь говорить объ немъ съ вашимъ сіятельствомъ. Теперь осмѣливаюсь представить вамъ его самого, прося васъ покорнѣйше не отказать ему въ милостивомъ вашемъ покровительствѣ, коего—благоволите мнѣ въ этомъ повѣрить—онъ во всѣхъ отношеніяхъ достоинъ. Онъ имѣлъ несчастіе навлечь на себя неодобреніе правительства: смѣло повторяю передъ вашимъ сіятельствомъ то, что̀ я уже имѣлъ честь говорить вамъ лично, что онъ ни мыслію, ни словомъ, ни дѣломъ не заслужилъ онаго Тѣмъ нужнѣе для него сдѣлаться лично извѣстнымъ вашему сіятельству: если благоволите обратить на него вниманіе, то сами найдете, что онъ ни къ чему предосудительному способенъ быть не можетъ. И я ничего не прошу для него отъ вашего сіятельства, кромѣ сего вниманія; во всемъ остальномъ полагаюсь на васъ самихъ, на умъ вашъ, независимый отъ предубѣжденій, на благородное ваше сердце, въ коемъ скромная невинность всегда найдетъ вѣрнаго заступника и судью безпристрастнаго. Съ своей стороны осмѣливаюсь предложить вашему сіятельству мое поручительство за Кирѣевскаго: честнымъ словомъ моимъ увѣряю васъ, что онъ и мыслями, и поступками будетъ достоинъ и одобренія вашего, и покровительства.

Съ глубочайшимъ почтеніемъ и съ совершенною преданностію честь имѣю быть, милостивый государь, вашего сіятельства покорнѣйшимъ слугою В. Жуковскій.

Санктпетербургъ.
1832 года, февраля 22.

4.

И. В. и Н. П. Кирѣевскимъ.

2/14 ноября (1842).

Милые друзья Иванъ Васильевичъ и Наталья Петровна, обнимаю васъ отъ всего сердца, сообщая вамъ свою радость, посланную мнѣ Богомъ. Онъ даровалъ мнѣ дочь. Все остальное идетъ благополучно. Болѣе мнѣ сказать вамъ нечего: я хотѣлъ только, чтобы вы имѣли прямо отъ меня вѣсть о моемъ несказанномъ счастіи. Вы раздѣлите его нѣжнымъ, дружественнымъ сердцемъ и будете конечно молить Бога, чтобы Онъ сберегъ мнѣ то, что даровалъ такъ милосердно. Цѣлую васъ и вашихъ дѣтей. Жуковскій.

Дочь родилась 11-го ноября. Ее будутъ звать Александрой.

Милый Петръ Васильевичъ, въ минуту радости обнимаю тебя съ искреннею дружбою. Обними за меня братьевъ. Жуковскій.

5.

И. В. Кирѣевскому.

Бернъ. 6-го іюня н. с. 1849.

Сейчасъ получилъ письмо твое, мой милый Иванъ Васильевичъ, и принимая за чудо свыше твой мнѣ отвѣтъ, считаю обязанностію почтить это чудо такимъ же чудомъ съ моей стороны—отвѣчая тебѣ немедленно. Я уже давно получилъ отзывъ отъ принца Ольденбургскаго и отъ Броневскаго, извѣстившій меня о томъ же, о чемъ ты теперь ко мнѣ пишешь; радуюсь душевно за тебя, за себя и за твоего милаго сына. Прилагаю ему при семъ благословеніе моего сердца на вступленіе въ новый, рѣшительный путь

его начинающейся жизни. Скажи ему отъ меня, чтобы онъ объ *одномъ* думалъ, *одно* старался укоренить въ своемъ сердцѣ (а это теперь еще легко, сердце мягко, рѣзецъ святого и чистаго можетъ глубокія и вѣчныя черты проводить на немъ, и жизнь ихъ никогда не изгладитъ),—это одно: *безусловная покорность* (во всемъ—и въ радостномъ, и въ горестномъ, и въ легкомъ, и въ трудномъ) волѣ Божіей, то-есть, не той философической, выдуманной нашимъ глупымъ умомъ волѣ метафизическаго, несущественнаго Бога, а волѣ Бога Христа. Въ этомъ одномъ заключается тайна жизни нашей; это одно дастъ силу жить; это одно есть вѣнецъ жизни. Блаженна душа, которая дойдетъ до совершенства уничтожить себя передъ этимъ Спасителемъ Богомъ, отцомъ, братомъ, другомъ, вождемъ, наставникомъ, утѣшителемъ, примирителемъ; блаженъ тотъ, кто наконецъ дойдетъ до блаженства забыть свою волю и помнить, знать и чувствовать безпрестанно волю Того, Который нѣкогда сказалъ: *Блаженни чистіи сердцемъ, понеже они Бога узрятъ*. Всѣ наши бѣды, заблужденія и преступленія происходятъ отъ *безпамятности*. Кто, въ рѣшительную минуту, вò-время успѣетъ задать себѣ вопросъ: *въ чемъ состоитъ въ эту минуту воля Божія?* тотъ получитъ и ясный отвѣтъ, и вѣрное правило для дѣйствія, и даже силу дѣйствовать. Ибо всякая сила заключается для насъ въ признаніи этого верховнаго авторитета, который не есть одно мертвое, шаткое предписаніе совѣсти, но въ одно время и законъ, самъ по себѣ безжизненный, и законодатель живой, намъ помогающій, насъ судящій и насъ разрѣшающій или осуждающій. Вотъ чтò скажи отъ меня твоему сыну; и пускай эти слова стараго Жуковскаго будутъ переписаны въ его памятную книжку рукою отца его. Все, чтò теперь около насъ творится, есть результатъ отверженія этой по-

корности. Свели съ престола живого Бога и поставили на мѣсто его Молоха; этотъ Молохъ есть умъ человѣческій. Мы видимъ плоды его самодержавія.

То, что ты пишешь о моей Одиссеѣ, мнѣ чрезвычайно по сердцу: именно то и имѣлъ я въ виду, что ты такъ прекрасно замѣтилъ на счетъ слога въ моемъ переводѣ. Гомерическій слогъ не принадлежитъ никакому другому времени, кромѣ Гомерова. Одинъ разъ могъ послышаться первый вздохъ этой чистой, едва родившейся изъ пѣны моря Анадіомены. Сама природа, голосомъ Гомера, пропѣла свой первый гимнъ при своемъ пробужденіи для жизни; всѣ послѣдующіе гимны были не иное что, какъ отголоски перваго. Я употребилъ всѣ свои силы, чтобы сохранить въ своемъ языкѣ эту свѣжую первобытность языка Гомерова. И это мнѣ, въ переводѣ, послѣ всѣхъ конвульсивныхъ измѣненій языка поэтическаго, происшедшихъ съ того времени, было, конечно, труднѣе, нежели самому Гомеру; и для меня радостно слышать, что ты, знатокъ и владыка могучаго русскаго языка, нашелъ это въ моемъ переводѣ. Жалѣю, что не могу послать тебѣ письма, полученнаго мною отъ Фарнгагена, которому я послалъ первую часть Одиссеи, и который, зная совершенно русскій языкъ, и будучи хорошій еллинистъ, могъ сказать мнѣ основательное мнѣніе о моемъ переводѣ. Онъ пишетъ, что изъ всѣхъ существующихъ переводовъ мой вѣрнѣе, и ближе возобновляетъ въ немъ впечатлѣніе, производимое оригиналомъ. Это пишу не изъ хвастовства: въ мои лѣта не хвастаешь, да я и никогда не бывалъ хвастуномъ. Жаль мнѣ, что ты такой лѣнивецъ; иначе могъ бы ты мнѣ сообщить свои критическія замѣчанія на Одиссею; я напередъ ихъ принимаю въ уваженіе. Одиссея давно кончена. Я началъ переводить въ концѣ октября XIII-ую пѣснь, а XXIV-ая была кончена въ апрѣлѣ.

Теперь все уже и отпечатано. Скоро (если только все изданіе не сгоритъ въ Карльсру, гдѣ теперь свирѣпствуетъ бунтъ во всемъ своемъ буянствѣ) полное изданіе явится въ Петербургѣ.—Мы принуждены были опрометью бѣжать изъ Бадена въ Страсбургъ; оттуда я перевезъ своихъ въ Швейцарію. Весь іюнь мы проведемъ въ Тунѣ, куда, вѣроятно, пріѣдетъ къ намъ Гугертъ, котораго лѣченіе сдѣлало уже много добра женѣ; но оно вдругъ прекратилось, и все опять пошло по старому. Я выжду, что̀ скажутъ обстоятельства. Въ началѣ іюля все рѣшится. Самое вѣроятное то, что я, оставивъ семью въ Швейцаріи, въ іюлѣ поѣду одинъ въ Россію. Что̀ далѣе—воля Божія. До сихъ поръ о томъ, что̀ было съ нами, могу думать только съ колѣнопреклоненною благодарностью ко Спасителю. Сообщи это письмо милой твоей матери. Обнимаю тебя, жену и дѣтей. Жуковскій.

Мой адресъ: à Berne, poste restante.

На конвертѣ, въ коемъ хранилось это письмо, слѣдующая надпись:

„Письмо В. А. Жуковскаго, которое Иванъ Васильевичъ хранилъ для Васи, какъ истинное сокровище“.

VII.

ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ [1]).

Въ почтеньи къ должности ему подобныхъ нѣтъ:
Его назвалъ Великимъ свѣтъ
За то, что съ высоты властительнаго трона,
Неподсудимый, Онъ былъ вѣрный рабъ закона.

В. Жуковскій.

Іосифъ Вьельгорскій.

---

[1]) Сообщено Е. В. Сабуровою. Печатается съ листка, писаннаго рукою графа І. М. Вьельгорскаго и переданнаго на память его племянницѣ Е. В. Сабуровой Н. К. Мердеромъ.

VIII.

БІОГРАФІЯ Д. А. ВОЛУЕВА [1]).

Дмитрій Александровичъ Волуевъ родился въ Симбирской губерніи, въ 1820 году сентября 14-го. Еще не было ему году, какъ лишился онъ матери, скончавшейся въ юныхъ лѣтахъ, и онъ какъ бы заступилъ ея мѣсто въ любви къ ней ея семейства, ея братьевъ. Она была урожденная Языкова. До одиннадцатилѣтняго возраста воспитывался онъ въ домѣ отца своего и тамъ уже отличался особеннымъ прилежаніемъ и любовію къ чтенію. Въ 1832 году отецъ привезъ его въ Москву, и онъ былъ помѣщенъ въ пансіонъ профессора Павлова. Онъ явился туда тихимъ и робкимъ мальчикомъ. Кто бы тогда вглядѣлся въ прекрасныя черты и цвѣтъ его лица, въ красоту его большихъ голубыхъ глазъ и увидалъ бы въ то же время необыкновенную застѣнчивость, даже неловкость всѣхъ его движеній, особенно выказывавшуюся всякій разъ, какъ его заставляли участвовать въ играхъ, тотъ угадалъ бы уже тогда, что для внутренней жизни, не

[1]) Перепечатывается съ рѣдкой брошюры, изданной въ маломъ числѣ экземпляровъ вскорѣ послѣ кончины Д. А. Волуева.

для радостей мірскихъ и внѣшнихъ ему суждено было развиться. Онъ привезъ собою сундучокъ, наполненный книгами, частію уже прочитанными имъ прежде. Въ первое время это было его единственное сокровище, единственное утѣшеніе въ его одиночествѣ, ибо долго чувствовалъ онъ себя одинокимъ въ кругу своихъ товарищей. Волуевъ не былъ первымъ въ своемъ классѣ и, казалось, не хотѣлъ имъ быть; между тѣмъ онъ пріобрѣлъ любовь и уваженіе лучшихъ изъ учениковъ высшаго класса, которые одни могли его понять и оцѣнить. Какъ и впослѣдствіи, онъ не былъ одаренъ ни особеннымъ даромъ слова, ни быстротою мысли, ни блестящею памятью; но жажда знанія, желаніе усвоивать себѣ и распространять на другихъ все доброе въ нравственномъ мірѣ явились въ немъ рано отличительными его чертами. Въ изысканіи средствъ къ удовлетворенію этой жажды знанія, въ безпрерывномъ стараніи доставать и сообщать другимъ книги уже тогда проявлялась въ немъ дѣятельность, такъ сильно послѣ развившаяся для общей пользы. По счастливому стеченію обстоятельствъ Волуевъ рано могъ уже пользоваться обществомъ и руководствомъ людей съ истиннымъ образованіемъ. На праздники иногда его брали къ себѣ нѣкоторые изъ друзей его дядей по матери. Робкій и дикій въ отношеніи къ незнакомымъ, онъ со всею горячностію души своей привязывался къ тѣмъ, къ кому привыкалъ, съ кѣмъ сближался, и самъ никогда не сомнѣвался въ ихъ взаимной къ нему дружбѣ. Силою своей довѣрчивости къ другимъ, своего стремленія къ благому онъ, будучи почти еще ребенкомъ, не рѣдко заставлялъ бесѣдовать съ собою людей, давно уже дѣйствовавшихъ на поприщѣ литературы. У нихъ находилъ онъ также богатые матеріалы для чтенія; кромѣ того, бралъ книги изъ нѣсколькихъ книжныхъ лавокъ, гдѣ былъ абонированъ. На тринадцатилѣтнемъ и

четырнадцатилѣтнемъ своемъ возрастѣ онъ увлекался чтеніемъ произведеній романтической, особенно французской литературы; въ какіе-нибудь полтора, много два года перечелъ почти все, что въ ней было новаго и сколько-нибудь замѣчательнаго, посвящая на это всѣ свободныя отъ классическаго ученія минуты. Его нравственная природа была такъ хороша, что это чтеніе нисколько не развратило его воображенія, но произвело на него только то дѣйствіе, что онъ рано увидѣлъ всю пустоту произведеній этого рода и обратился вполнѣ къ чтенію книгъ историческихъ или классическихъ литературныхъ произведеній. Его не удовлетворялъ уже болѣе французскій языкъ: онъ сталъ совершенствовать себя въ нѣмецкомъ, занялся англійскимъ и италіанскимъ.

Около трехъ лѣтъ пробылъ онъ въ пансіонѣ: въ 1835 году, по желанію родныхъ своихъ, перешелъ въ домъ къ близкому имъ человѣку, къ профессору Шевыреву, гдѣ въ продолженіе года онъ готовился подъ его руководствомъ ко вступленію въ университетъ, въ 1-е отдѣленіе философскаго факультета, и потомъ годъ прожилъ студентомъ. Здѣсь онъ не былъ уже обязанъ вставать и ложиться по звонку; онъ свободно могъ располагать своимъ временемъ, своими уроками, и потому здѣсь вполнѣ уже проявилось его трудолюбіе и сила воли. Онъ распредѣлялъ свое время не по часамъ, а по минутамъ. Всякое упущеніе онъ послѣ вознаграждалъ въ минуты отдыха и часы, опредѣленные для сна. Тогда уже видна была въ немъ строгость къ самому себѣ, вѣрность въ храненіи своего слова, въ исполненіи задачъ, самому себѣ заданныхъ; только съ помощію этихъ качествъ души могъ онъ впослѣдствіи, въ немногіе юношескіе годы, прожить такъ много жизни внутренней, общеполезной, совершить такъ много благихъ дѣлъ и предпріятій.

Кромѣ новыхъ языковъ и литературъ, въ это время онъ занимался преимущественно изученіемъ языковъ древнихъ, и не однимъ уже чтеніемъ, но и изслѣдованіями историческими.

Болѣе половины второго года по вступленіи его въ университетъ, онъ вслѣдствіе частныхъ обстоятельствъ долженъ былъ провесть въ Симбирскѣ, и потому этотъ годъ былъ для него потерянъ въ отношеніи къ университету. Возвратившись въ Москву, онъ нанялъ себѣ комнату въ одномъ домѣ, гдѣ жило семейство ему близкое, гдѣ нашелъ онъ себѣ товарищей и старшихъ, способныхъ руководить его на все полезное и благое. Онъ сдѣлался какъ бы членомъ этого семейства и въ немъ провелъ послѣдніе три года своего университетскаго курса. Онъ занимался здѣсь, какъ и прежде, читалъ бездну, изучалъ Гомера, Виргилія, Нибура, Канта, Бакона, Русскія лѣтописи. Къ этому времени относится начало многихъ его сочиненій, оконченныхъ и не оконченныхъ, многихъ предпріятій, исполненныхъ и не исполненныхъ. Тогда уже цѣлью его занятій не было пріобрѣтеніе знанія мертваго или отвлеченнаго; онъ хотѣлъ знать только то, въ чемъ видѣлъ смыслъ духовный; какъ и въ самой жизни обращалъ вниманіе только на внутреннюю ея сторону. Онъ предался исключительно наукѣ исторической и въ ней дорожилъ только началами, составляющими сущность самой жизни. Въ тѣсномъ кругу, въ которомъ онъ жилъ, было много блестящихъ дарованій, и они всѣ были достойно цѣнимы. Въ этой постоянной взаимной оцѣнкѣ они находили для себя полную самоудовлетворенность, и она, можетъ быть, приносила имъ временный частный вредъ. Но Волуевъ, любимый всѣми, но не превозносимый черезъ мѣру, уступавшій другимъ въ дарованіяхъ, находилъ въ этомъ кругу одно постоянное соревнованіе и побужденіе къ

неослабному труду. Видя вокругъ себя людей съ самыми блестящими способностями, съ самыми благими намѣреніями, но часто не дѣйствующихъ, онъ понялъ, чѣмъ они могли быть для него и онъ для нихъ.

Въ 1841 году онъ вышелъ изъ университета, 21-го года, со всею дѣтскою чистотою, человѣкомъ уже зрѣлымъ, сознавшимъ свои силы, свое назначеніе. Профессоръ Крюковъ, котораго раннюю потерю мы оплакивали недавно, понялъ и оцѣнилъ его прежде и болѣе другихъ. Онъ понялъ и оцѣнилъ въ немъ небреженіе къ одной мертвой формальности, мѣрилу ложнаго просвѣщенія: отъ Волуева, кончившаго курсъ хотя и кандидатомъ, но далеко не первымъ, онъ ожидалъ гораздо болѣе, нежели отъ всѣхъ его товарищей, несравненно блистательнѣе кончившихъ свой экзаменъ.

Въ этомъ же 41-мъ году Волуевъ лишился отца и явился подпорою оставленнаго имъ семейства. Съ 1842 года онъ вступилъ дѣятельно на поприще литературы. Задачей своей жизни онъ положилъ способствовать проявленію талантовъ видимыхъ, но бездѣйствующихъ въ людяхъ, которые его окружали, перелить имъ свою любовь къ труду, заимствуя отъ нихъ и знаніе, и ясность, и опредѣленность убѣжденій. *Всякому дано явленіе духа на пользу.* И онъ хотѣлъ всѣ дары соединить на общую пользу, ничему такъ не соболѣзнуя, какъ ихъ безплодности. Этой цѣли онъ, 21-го года, началъ жертвовать своимъ имуществомъ, самимъ собою. Нелицепріятная любовь къ отечеству, безпристрастное уваженіе и любовь къ русской старинѣ, во сколько въ ней самобытно проявлялись чистыя духовныя начала, но еще сильнѣйшая и безусловная привязанность къ церкви, въ непогрѣшимость, въ единство коей онъ неколебимо вѣрилъ,— вотъ чувства и убѣжденія, развитыя въ немъ его юношескимъ образованіемъ. Занятія его были всѣ устремлены на

распространеніе и утвержденіе этихъ убѣжденій, и въ этомъ стремленіи своемъ онъ примирялъ науку съ жизнію.

Одинъ изъ предметовъ, обратившихъ на себя первую его дѣятельность, было собираніе и обнародованіе не тронутыхъ дотолѣ источниковъ русской исторіи. Замѣчаніе одного ученаго ревнителя нашей народности, что между старинными бумагами, такъ-называемыми крѣпостями русскихъ дворянъ, находятся многіе драгоцѣнные памятники, коихъ обнародованіе было бы весьма важно для русской исторіи, переданное Волуеву, не пропало даромъ и возбудило эту первую его дѣятельность. Онъ понялъ важность и истину этого замѣчанія и, рѣшившись тотчасъ имъ воспользоваться, соединился для этой цѣли съ своими дядями, тремя Языковыми и Хомяковымъ. Онъ обратился, разумѣется, къ дворянамъ той губерніи, которой самъ принадлежалъ. Онъ былъ въ Симбирскѣ лѣтомъ 1842 года. Къ этому времени, кажется, можно отнести начало его дѣятельнаго служенія обществу. Среди занятій дѣлами своего семейства и своими собственными онъ не проводилъ ни одного дня безъ трудовъ общеполезныхъ. Не въ однихъ дворянскихъ архивахъ, вездѣ искалъ онъ древнихъ рукописей: въ архивахъ правительственныхъ, во сколько они могли быть для него доступны, у лицъ духовныхъ, у купцовъ, у подъячихъ, въ Симбирскѣ даже въ тѣхъ лачугахъ, которыя скрыты отъ свѣта и отъ глазъ въ обширномъ оврагѣ, подъ мостомъ. Эти поиски продолжалъ онъ все лѣто. Для нихъ и на возвратномъ пути въ Москву черезъ Нижній онъ останавливался въ городахъ. Болѣе всего нашелъ онъ драгоцѣнныхъ памятниковъ въ самомъ Симбирскѣ, въ Алатырѣ и Курмышѣ. Его юношескія надежды при этихъ поискахъ далеко не совершились вполнѣ; съ богатымъ однакожь запасомъ онъ возвратился въ Москву и началъ изданіе „Синбирскаго Сбор-

ника", который онъ посвятилъ памяти знаменитаго симбирскаго уроженца, историографа Н. М. Карамзина. Три года еще прошло до совершеннаго окончанія и выдачи имъ въ свѣтъ 1-го тома. Въ эти три года онъ воспользовался, кажется, всѣмъ, что̀ Москва, ея ученые, ея архивы могли доставить ему для усовершенствованія и распространенія этого изданія; написалъ по поводу его разысканіе о мѣстничествѣ, служащее предисловіемъ къ напечатанной въ немъ Разрядной книгѣ. Этотъ послѣдній трудъ представляетъ, можетъ быть, лучшую разработку спеціальнаго вопроса въ нашей исторіи. За такія изслѣдованія до него у насъ еще не принимались.

Но много, много еще въ эти три года было имъ сдѣлано, начато, задумано. Трудно исчислить всѣ труды, имъ самимъ и другими по его побужденію предпринятые. О многихъ еще нельзя говорить; ибо тайну ихъ онъ самъ хранилъ свято до ихъ будущаго исполненія. Но главными его предпріятіями, приведеніе которыхъ въ дѣйствіе началось уже при немъ, кромѣ изданія „Синбирскаго Сборника", были изданія *Библіотеки для воспитанія*, „Сборника историческихъ и статистическихъ свѣдѣній о Россіи и народахъ, ей единовѣрныхъ и единоплеменныхъ", основаніе складочнаго мѣста для русскихъ книгъ въ Лейпцигѣ, сношенія съ землями православными внѣ Россіи и нѣкоторыми людьми въ странахъ другихъ исповѣданій, показывавшими сочувствіе къ Восточной церкви и желаніе познать ее.

Знакомство его съ А. П. Зонтагъ, коей нѣкоторыя сочиненія и переводы для дѣтскаго чтенія онъ взялся выдать въ свѣтъ, подало ему поводъ къ изданію *Библіотеки для воспитанія*, собранія статей для дѣтскаго чтенія въ стихахъ, въ прозѣ, большею частію оригинальныхъ. Еще въ 1842 году, когда онъ въ послѣдній разъ былъ въ Симбирскѣ и занимался

преимущественно собраніемъ историческихъ актовъ, онъ вездѣ, гдѣ только ему могло удасться, раздавалъ работы, извлеченія, переводы, заготовляя матеріалы для *Библіотеки*. Изданіе ея началось съ 1843 года; съ 1845 года онъ далъ ему лучшій и обширнѣйшій планъ. Къ участію въ немъ склонилъ онъ многихъ профессоровъ Московскаго университета и другихъ ученыхъ и литераторовъ. Онъ его раздѣлилъ на два отдѣла: одинъ—собственно для дѣтскаго чтенія, другой—для теоретическихъ статей о дѣтскомъ воспитаніи. Самъ онъ завѣдывалъ вполнѣ первымъ отдѣломъ; редакцію второго принялъ на себя профессоръ Рѣдкинъ. Но это раздѣленіе оказалось неудобнымъ; опытъ убѣдилъ, что второй отдѣлъ не соотвѣтствуетъ изданію періодическому. Уѣзжая за границу нынѣшнею осенью, Волуевъ на 1846 годъ прекращалъ изданіе *Библіотеки*, но предоставлялъ себѣ право возобновить его по своемъ возвращеніи, ограничивши уже однимъ отдѣломъ для дѣтей.

Самое обширнѣйшее изъ литературныхъ предпріятій Волуева было изданіе „Историческаго и статистическаго сборника“. Онъ сначала хотѣлъ назвать его славянскимъ; но потомъ измѣнилъ это названіе, когда увидѣлъ, что его стали у насъ употреблять во зло безъ всякаго толку и разумѣнія, и что это слово вошло въ моду въ разговорахъ чуждыхъ всякой мысли и общаго интереса и въ особенности науки. Печатаніе этого „Сборника“ началось въ началѣ 1843 года. Первый томъ его, совершенно приготовленный Волуевымъ передъ самымъ его отъѣздомъ, вышелъ на дняхъ изъ печати. Слѣдующія статьи принадлежатъ въ немъ самому Волуеву: 1) „Предисловіе“; 2) „Города Нѣмецкіе и Славянскіе“; 3) „Славянское и Православное населеніе въ Австріи“; 4) нѣсколько разборовъ въ библіографическомъ отдѣлѣ, названномъ „Историческая наука Славянскаго міра въ послѣднее пяти-

лѣтіе", и наконецъ, главная 5) „Христіанство въ Абиссиніи". Изъ этихъ статей можно получить довольно полное понятіе обо всемъ его направленіи, объ его убѣжденіяхъ въ наукѣ и отчасти въ самой жизни. Кромѣ того, въ первой части перваго тома заключаются: пять статей оригинальныхъ (Хомякова, Попова, Граповскаго, Снегирева и Соловьева) и пять переводныхъ, или извлеченій изъ сочиненій о славянахъ Чоппе и Штенцеля, Іосифа Губе, Суровецкаго, Клёдена и письмо еврея Рабби Хисдай къ царю Хозарскому; наконецъ, вторая часть, занимающая не болѣе третьей доли всего тома, заключаетъ въ себѣ полный переводъ большого сочиненія профессора Дерптскаго университета Рейца о политическомъ муниципальномъ устройствѣ Далмаціи въ среднихъ вѣкахъ. Компактность изданія дала возможность представлять такимъ образомъ вмѣстѣ съ оригинальными статьями извлеченія и цѣльные переводы изъ замѣчательнѣйшихъ сочиненій на другихъ языкахъ о Россіи и народахъ ей единовѣрныхъ и единоплеменныхъ. Цѣль изданія этого „Сборника" ясно высказана Волуевымъ въ предисловіи; тамъ же, на стр. 22—23, можно видѣть, что̀ уже имъ заготовлено для слѣдующихъ томовъ.

Итакъ, вотъ что̀ совершилъ Волуевъ въ послѣдніе три года своей жизни!.. Дѣятельность въ такіе годы безпримѣрная! Кто сообразитъ всѣ тѣ предпріятія и труды, на которые мы только намекнули, тотъ составитъ себѣ хотя слабое объ ней понятіе, тотъ согласится, что это была жизнь достойная остаться въ памяти людей и служить примѣромъ для настоящихъ и будущихъ поколѣній.

Въ чемъ состояла тайна этой дѣятельности? Въ силѣ любви, въ силѣ вѣры и надежды, въ силѣ внутренней жизни, отражавшейся и во внѣшнихъ его дѣйствіяхъ. Она внушала ему довѣріе къ самому себѣ и еще большее къ другимъ. Ею объясняется его неотразимое вліяніе на другихъ. Онъ

самъ какъ будто сознавалъ, что вѣкъ его не дологъ, что онъ—мимолетный гость на сей землѣ. Это видно изъ того, что хотя много онъ сдѣлалъ, но еще болѣе началъ, завѣщалъ, указалъ другимъ, какъ дѣлать. И другіе тоже какъ будто предчувствовали его судьбу и показывали ему вниманіе и уваженіе, по обыкновенному порядку не соотвѣтствовавшее его юнымъ мечтамъ. Онъ этому радовался, ибо чувствовалъ, что это ему нужно не для одного самолюбія, но и для общей пользы. Онъ радовался всему, что̀ устроивало эти отношенія, хотя бы это стоило ему великой жертвы. Такъ въ началѣ 1843 года вслѣдствіе его болѣзни его стали посѣщать его близкіе, друзья, сотрудники, сверстники и старшіе, и такимъ образомъ всѣ привыкали бывать у него; онъ думалъ, сколько это можетъ принести ему выгоды въ отношеніи ко времени, и радовался своей болѣзни... Никто не умѣлъ такъ пользоваться временемъ, такъ мало терять его для суетности внѣшней. Однѣ минуты отдыха посвящалъ онъ бесѣдѣ сердечной съ людьми самыми близкими, и въ эти минуты почерпалъ новую силы для своей дѣятельности. Рѣдко, и чѣмъ дальше, тѣмъ рѣже, являлся онъ въ многолюдныя общества его друзей. Его прежняя внимательность къ шумнымъ разговорамъ изчезала; онъ видѣлъ въ нихъ мало пользы. Онъ искалъ только тѣхъ, съ кѣмъ могъ переговорить о дѣлѣ, и удалялся. Крѣпко было въ немъ сознаніе своего дѣла, и для него онъ не отступалъ ни передъ какими приличіями, неумолимо грозными для прочихъ. Иногда даже люди, болѣе всѣхъ его цѣнившіе и понимавшіе, находили въ его поступкахъ странность, какое-то пренебреженіе къ прочимъ и обращались къ нему съ укоромъ; тогда онъ устремлялъ на нихъ свои умоляющіе взоры и какъ бы говорилъ: „Я знаю, что̀ я дѣлаю: простите меня, но оставьте!“

Войдемъ въ его комнату; прослѣдимъ за его днемъ въ

тѣ полгода, съ генваря до іюля 1844 года, когда, возвратившись изъ-за границы, онъ казался совершенно здоровымъ. Едва раскрывалъ онъ глаза, какъ уже начиналъ распредѣлять свои занятія. Всѣ столы во всѣхъ трехъ или четырехъ его комнатахъ постепенно занимались людьми, которые ему помогали въ черной работѣ по его изданіямъ. Кто принимался за переписываніе, кто за выписки, за сличеніе копій какихъ-нибудь столбцовъ съ подлинниками; другіе переводили что-нибудь подъ его надзоромъ. Между тѣмъ писецъ ожидалъ уже его диктовки. У него всегда было что-нибудь для диктовки въ то время, когда самъ онъ не могъ еще сѣсть за свой письменный столъ. Потомъ являлись корректуры изъ типографіи, приходили наборщики и переплетчики, граверы, бумагопродавцы, книгопродавцы, и пр. и пр. Приходили и друзья его, и сотрудники и не разъ встрѣчали у него какого-нибудь старца съ бородою, пришедшаго къ нему для духовной бесѣды. Наконецъ онъ уединялся въ своей комнатѣ и сосредоточивался надъ какою-нибудь собственною оригинальною работою, и въ это время хотя онъ и не отказывалъ своимъ посѣтителямъ, но никогда не отрывался отъ своего дѣла и посѣтителя своего старался тоже занять дѣломъ. Около трехъ часовъ онъ распускалъ своихъ домашнихъ сотрудниковъ, приводилъ въ порядокъ всѣ свои дневныя дѣла, заготовлялъ множество записокъ, корректуръ, посылокъ и, выѣзжая, вручалъ это все своему служителю для разноски по городу, продолжавшейся иногда до самаго вечера. Самъ онъ отправлялся куда нибудь обѣдать. Иногда еще до обѣда заѣзжалъ къ разнымъ лицамъ наводить справки объ общихъ дѣлахъ, опаздывалъ иногда къ обѣду и забывалъ о немъ. Время обѣда было единственное, которое онъ опредѣлялъ на посѣщеніе самыхъ близкихъ ему семействъ. Тутъ онъ часто игралъ съ дѣтьми, которымъ былъ

другъ и наставникъ, которые его любили всею душою и для него свободныя отъ уроковъ минуты съ охотою, съ радостію посвящали на заданныя имъ работы, на переписи, сличенія, считыванія. Въ остальное время дня онъ старался свидѣться со всѣми, кто въ это время былъ занятъ съ нимъ какимъ-нибудь общимъ дѣломъ, или кого онъ только надѣялся побудить къ такому занятію, или у кого нужно было испросить совѣта. Заѣзжалъ въ типографію, къ цензору. Если это было лѣтомъ, онъ соединялъ всѣ эти посѣщенія съ прогулками, которыя обыкновенно дѣлалъ верхомъ. Одинъ ему близкій человѣкъ въ шутку, но безъ насмѣшки, обыкновенно называлъ его часовщикомъ, который всякій день объѣзжаетъ всѣ дома, гдѣ находятся заводимые имъ часы. Хотя это была шутка, но она вѣрно выражаетъ его внѣшнюю дѣятельность. Пусть часы, заведенные нашимъ Волуевымъ, не останавливаются долго и безъ видимой его руки... Ежедневно одинъ часъ вечера любилъ онъ наблюдать за ходомъ ученаго труда, однимъ изъ близкихъ ему людей по его побужденію предпринятаго, и отъ котораго ожидалъ онъ болѣе плода, нежели отъ своихъ предпріятій. Никогда, ни по какимъ причинамъ, самъ не пропускалъ онъ этого часу. Остальное время онъ проводилъ частью въ чтеніи, частью въ бесѣдѣ...

Общественная и внѣшняя дѣятельность Волуева была проявленіемъ его внутренней жизни; въ ней видна была его душа. Но чтобы вполнѣ ее постигнуть, надобно было ее видѣть въ его отношеніяхъ частныхъ, надобно знать, какъ онъ умѣлъ любить. Въ этихъ отношеніяхъ, въ его юные годы, проявилась вся сила и чистота его души. Юноша, едва вступившій въ жизнь, онъ окружалъ людей ближайшихъ его сердцу всѣми заботами объ единомъ, что̀ есть на потребу жизни, о ихъ жизни внутренней, духовной, нрав-

ственной. Въ немъ это было незамѣтно и просто: его собственная чистота давала ему на то внутреннее право. Онъ сохранилъ эту чистоту до гроба.

Въ 1842 году осенью Волуевъ занемогъ. Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1843 года онъ отправился для поправленія своего здоровья за границу. Отъ этой поѣздки особенно надѣялись пользы потому, что думали такимъ образомъ оторвать его отъ усиленной дѣятельности здѣсь. Но возможность ея находилась для него вездѣ, гдѣ онъ встрѣчалъ отношенія къ своему отечеству, и еще болѣе къ видимой церкви Христовой. Въ полгода онъ объѣхалъ большую половину Европы. Въ Парижѣ, въ Лондонѣ онъ рылся въ библіотекахъ, собиралъ матеріалы для своихъ сочиненій объ Ирландской церкви, объ Абиссиніи; изъ Праги вывезъ много рѣдкихъ книгъ и замѣчательнѣйшихъ рукописей касательно чешской исторіи; въ Англіи вошелъ въ сношеніе съ людьми, сочувствовавшими одушевлявшей его мысли о соединеніи церквей. Во многихъ мѣстахъ онъ слышалъ жалобы на трудность литературныхъ сношеній съ Россіею, на невозможность доставать книги. Жалобы эти давно уже были слышны и со всякимъ днемъ увеличивались; но никто помочь этому недостатку не умѣлъ; Волуевъ за это взялся, и по возвращеніи его въ Москву его мысль обратилась тотчасъ въ дѣло: весной 1844 года Лейпцигъ снабжалъ уже Парижъ лучшими произведеніями русской литературы. За границей Волуевъ познакомился только съ нѣкоторыми лицами въ Англіи и въ Прагѣ, близкими ему по своимъ стремленіямъ. Сношенія съ ними онъ продолжалъ въ Россіи, но еще болѣе побуждалъ къ нимъ другихъ. Излишне говорить о любви, которую ему оказали и послѣ сохраняли къ нему люди, какъ Ганка, Шафарикъ, историографъ Палацкій. Нигдѣ не могъ онъ оставаться долго: его повсюду

сопровождала тоска неодолимая. Это былъ, можетъ быть, единственный случай, въ которомъ онъ не показалъ достаточной силы воли надъ собою: здѣсь дѣло шло объ его здоровьи. Вдругъ, къ радости и прискорбію своихъ друзей, онъ уже въ январѣ мѣсяцѣ 1844 года возвратился къ нимъ въ Москву, къ своей обычной дѣятельности, къ своимъ изданіямъ.

Его здоровье поправилось вслѣдствіе его поѣздки, но не надолго: она была слишкомъ кратка и тревожна. Къ тому же его отсутствіе только усилило его рвеніе къ общественному служенію; онъ привелъ въ дѣйствіе всѣ возстановившіяся свои силы. Ихъ стало не надолго. Лѣтомъ 1844 года его здоровье растроилось еще болѣе прежняго. Онъ собирался ѣхать къ своимъ въ Симбирскъ, но уже не былъ у нихъ ни разу. Въ зиму 1844 и 1845 года онъ долженъ былъ оставаться большею частію дома; онъ сдѣлался сосредоточеннѣе, и съ уменьшеніемъ внѣшней дѣятельности усиливалось въ немъ напряженіе умственное. Къ этому времени относится его огромный трудъ о мѣстничествѣ, окончаніе первой статьи о христіанствѣ въ Абиссиніи и редакція *Библіотеки*. Кругъ его сотрудниковъ еще увеличился; невозможность всѣхъ объѣзжать по прежнему онъ вознаграждалъ дѣятельною перепиской. Урывками повторялись дни его прежней полной движенія жизни.

Прошедшею весной ему сдѣлалось хуже: онъ сталъ видимо ослабѣвать. Начало чахотки въ немъ сдѣлалось несомнѣнно. Въ августѣ 1845 года, по общему совѣту врачей и друзей его, ему рѣшено было ѣхать за границу, на югъ Франціи. Трудно было его на это склонить; невыносима была для него мысль оторваться отъ того мѣста, въ которомъ онъ видѣлъ для себя столько дѣла впереди, отъ тѣхъ людей, въ кругу которыхъ онъ находилъ счастіе. Общій

приговоръ убѣдилъ его въ необходимости этой поѣздки. Но скоро самъ почувствовалъ онъ свою слабость; увидѣлъ, что до возстановленія своего онъ долженъ отказаться отъ всякой дѣятельности и внѣшней, и умственной. Мысль оставаться здѣсь въ бездѣйствіи стала ему невыносима, и онъ также сильно сталъ желать и требовать отъѣзда, сколько прежде отъ него отвращался. Воображенію его стали представляться труды, которые онъ могъ бы предпринять за границей, когда сколько-нибудь возстановились бы его силы, та польза, которую могъ извлечь изъ своего путешествія, и оно сдѣлалось уже для него привлекательнымъ. Въ это время былъ здѣсь въ Москвѣ одинъ англійскій пасторъ, въ короткое время заслужившій любовь и уваженіе своей временной паствы и всѣхъ его знавшихъ. Чувство оторванности церквей западныхъ отъ единства церкви Христовой, уваженіе къ восточному православію были достаточными причинами къ сближенію его съ Волуевымъ. Однажды, выходя отъ него послѣ искренней бесѣды, пораженный чистотою и горячностью его высокихъ, духовныхъ стремленій, онъ со слезами на глазахъ сказалъ, обращаясь къ другому: „Такіе люди не долго живутъ на свѣтѣ!“ Пророческія были эти слова! Первая статья Волуева о христіанствѣ въ Абиссиніи къ I-му тому „Историческаго сборника“ была окончена въ это время. Передъ самымъ отъѣздомъ онъ имѣлъ утѣшеніе получить ее изъ духовной цензуры съ самымъ лестнымъ отзывомъ отъ ученаго человѣка, ее цензоровавшаго, достойнѣйшаго судьи въ этомъ дѣлѣ.

Въ сентябрѣ онъ получилъ заграничный паспортъ; онъ уѣхалъ бы, можетъ быть, въ августѣ, но паспортъ изъ Петербурга нельзя было получить прежде трехъ недѣль. Потомъ сильная лихорадка задержала его еще недѣль шесть. Думали его совсѣмъ не пускать, но онъ самъ непремѣнно

хотѣлъ ѣхать. Противорѣчить ему было не возможно. Притомъ здѣсь не видали никакой надежды; единственную возможную надежду предполагали въ перемѣнѣ климата. Какъ скоро лихорадка уступила, отъѣздъ былъ рѣшенъ. Онъ выѣхалъ изъ Москвы 3-го ноября; 8-го прибылъ въ Новгородъ, и не могъ ѣхать далѣе, хотя и не терялъ надежды. Еще 18-го числа онъ думалъ продолжать путь свой чрезъ Петербургъ. Но въ этотъ день къ вечеру не въ силахъ уже былъ передвинуть ногъ. Въ немъ не было предчувствія приближающейся кончины; но безпрестанныя видѣнія, непонятныя для прочихъ, а ему представлявшіяся дѣйствительностью, показывали, что бодрая его душа уже разрѣшается отъ оковъ тѣлесныхъ. Онъ окружалъ себя своими друзьями разговаривалъ съ ними часто, призывалъ ихъ, воображая ихъ возлѣ себя, часто мановеніемъ руки отправлялъ къ нимъ письма, которыя писалъ только мысленно. Вся сосредоточенная сила, вся бодрость его души съ новымъ блескомъ явилась въ послѣдніе его дни, при окончательномъ разслабленіи его силъ тѣлесныхъ. Въ Москвѣ передъ отъѣздомъ онъ не могъ болѣе четверти часа выслушивать никакого чтенія. Въ Новгородѣ въ одинъ вечеръ, ни разу не прервавши чтенія, онъ выслушалъ Апокалипсисъ весь, съ начала и до конца. Раздражительность—отличительный признакъ чахотки, терзавшая его въ послѣдніе мѣсяцы въ Москвѣ, изчезла совершенно. Ни его спутникъ за границу, тотъ самый человѣкъ, ему душею преданный, который сопровождалъ его въ его послѣднюю поѣздку въ Симбирскъ еще въ 1842 году, ни его служитель, не видали отъ него нетерпѣливаго движенія во всѣ двадцать дней послѣ его отъѣзда изъ Москвы. Чѣмъ ближе къ концу, тѣмъ болѣе кротокъ и покоренъ онъ становился. Казалось, милость Божія ему назначила эти двадцать дней для полнаго очищенія. Онъ такъ былъ радъ,

когда, пріѣхавъ въ Новгородъ, вошелъ въ ту комнату, изъ которой болѣе не вышелъ! Еще за три дня до кончины онъ диктовалъ къ одному изъ друзей своихъ письмо, въ которомъ говорилъ, что доволенъ своимъ пребываніемъ въ Новгородѣ. Общество его друзей могло поддерживать въ немъ самолюбіе, единственную слабость, которую могли въ немъ замѣтить или предполагать, хотя онъ постоянно противъ нея боролся и по возможности хранилъ въ тайнѣ свое служеніе на пользу общую, свои дѣйствительныя и незабвенныя заслуги; присутствіе гордости въ немъ, кажется, было только свидѣтельствомъ той силы душевной, съ которой онъ ее въ себѣ поборалъ. Среди уединенной святыни новгородской онъ чистъ предсталъ передъ судомъ Господнимъ. 20-го ноября причастился Святыхъ Таинъ. Въ ночь съ 22-го на 23-ье почувствовалъ приближеніе кончины. Въ пять часовъ онъ три раза перекрестился, и скоро за тѣмъ онъ тихо испустилъ духъ...

На другой день тѣло Волуева вынесено было въ церковь св. Димитрія Солунскаго. Въ шестой было отпѣваніе. Черты его лица были все еще прекрасны. Народъ приходилъ толпами къ его гробу, и посмотрѣвъ на его еще прекрасные останки, люди простые, его не знавшіе и не слыхавшіе о немъ, молились искренно за упокоеніе души его. Въ вечернюю панихиду послѣ отпѣванія гробъ закрыли крышею. Когда же черезъ трое сутокъ ее подняли, чтобъ совершить послѣдній обрядъ церковный, бросить на тѣло горсть земли и потомъ закрыть его на вѣки, лице, руки его не представили ни малѣйшаго измѣненія.

23-го декабря тѣло привезено въ Москву, 29-го предано землѣ въ Даниловскомъ монастырѣ, возлѣ Венелина. Блаженны, ихъ же избралъ и пріялъ еси, Господи!

Москва. 29-го декабря 1845 года. **В.**

IX.

ПИСЬМО Д. В. ВОЛУЕВА КЪ И. В. КИРѢЕВСКОМУ.

21 ноября 1835.

Тысячу, тысячу разъ благодарю васъ, Иванъ Васильевичъ, за ваше письмо. Еслибы вы знали, какъ обрадовался я ему, когда уже отчаявался получить что-нибудь отъ васъ, и сколько же обязанъ я этому письму: оно дало мнѣ новыя силы, возобновило всего меня; даже заниматься я сталъ вдвое больше послѣ него; да, вы, можетъ быть, и сами не зная того, сдѣлали мнѣ имъ много добра. Извините пожалуйста, что такъ долго не отвѣчалъ вамъ; вы получите мое письмо ровно черезъ мѣсяцъ послѣ того, какъ ваше написано; но я получилъ его не болѣе двухъ недѣль; кажись, оно лежало недѣли полторы на почтѣ для прочтенія,—посылку же я получилъ вò время, но безъ письма. Такъ вы разгадали меня: но скажите пожалуйста: какъ не имѣть въ нашъ вѣкъ, и особливо у насъ, этого унылаго, часто мучительнаго, чувства? Когда взглянешь вокругъ себя, когда видишь всѣ свои надежды обманутыми, все, во что̀ такъ ребячески вѣрилъ, попраннымъ, нигдѣ не находишь ни

отголоска, ни сочувствія, когда тѣ даже, которые могли бы, не хотятъ понимать васъ, но это бываетъ минутно; понимаю, какъ отсюда можно перейти въ это равнодушіе ко всему и наконецъ въ эгоизмъ, и я постараюсь, чтобъ этихъ минутъ было какъ можно меньше. Но главное, въ чемъ я недоволенъ собою, у меня нѣтъ воли, или по крайней мѣрѣ очень мало, а безъ нея всегда останешься въ ничтожествѣ. Напишите, что мнѣ дѣлать: я хочу имѣть ее и свято исполню, что мнѣ скажете, а то видѣть всю свою слабость, все свое ничтожество! Я уже пробовалъ нѣсколько разъ, но никогда не выходилъ вполнѣ побѣдителемъ, а мнѣ хотѣлось бы когда-нибудь примѣнить и къ себѣ послѣдній стихъ:

Кто высшему призванью не измѣнилъ,
Въ борьбѣ съ судьбой не палъ...

Но я слишкомъ много замечтался, не правда — все я слишкомъ много о себѣ думаю? Но какъ-то я не могу себѣ позволить этой мысли: она убила бы меня, что я ничѣмъ не буду, ничего не сдѣлаю. Скажите пожалуйста: зависитъ все это отъ человѣка? А вотъ пройдетъ годъ-два, и я самъ буду, можетъ быть, смѣяться надъ тѣмъ, что пишу къ вамъ теперь, и вы будете тоже смѣяться. А если мнѣ нѣтъ призванья свыше, безъ воли ничего не сдѣлаю, но не рожденъ же я только для того, чтобы единицею прибавить число душъ въ Россіи? Горькая мысль, если это правда! Трудно пріучить себя все относить къ чувству долга; для этого, по моему, тоже должно имѣть волю, а ея у меня нѣтъ; а иногда мнѣ кажется, живучи между людей, и совсѣмъ нельзя исполнить этихъ мелочей, а можетъ быть, я не то понимаю подъ этими пустыми вещами, о которыхъ вы говорите. Все, что вы мнѣ писали, какъ точно сбывается; теперь я совершенно покоенъ на счетъ религіи, и къ счастію силлогизмъ и внутреннее чувство не противорѣчатъ другъ другу, и я твердо

сталъ на мѣстѣ. Какъ вы думаете? Мнѣ кажется, что для нашего вѣка нуженъ новый Лютеръ, и что онъ будетъ; сколько людей, которые нуждаются въ этомъ! И всегда найдется человѣкъ, который удовлетворитъ общей потребности.

Что касается Шевырева, я и прежде уважалъ его какъ поэта и какъ человѣка, но теперь я сталъ лучше узнавать его; съ нѣкотораго времени мы какъ-то стали короче, я слѣдую его совѣтамъ въ отношеніи къ ученію, а другихъ онъ мнѣ не даетъ. Вы мнѣ пишете, чтобъ я отдался ему съ полною довѣренностью (извините, если я послѣ этого двухъ словъ никакъ не могъ разобрать:... [1]), а такъ я очень легко разбираю вашу руку): вопервыхъ, на это трудно рѣшиться, и вовторыхъ, онъ не пойметъ меня; лучше оставить сдѣлать времени; что̀ Богъ дастъ, то и будетъ, да и притомъ больше отъ него нельзя требовать (извините меня за то, что̀ я писалъ про него въ прошедшемъ письмѣ, и и изъ него ничего не заключайте), и я покуда больше не желаю. Мои занятія съ тѣхъ поръ, какъ получилъ ваше письмо, пошли гораздо лучше, а то признаюсь, я мало дѣлалъ и первые два мѣсяца почти потерялъ въ отношеніи къ классическому ученію; но теперь у меня все такъ и еще лучше пойдетъ; оно трудно сперва привыкнуть заниматься, когда нѣтъ къ тому, такъ сказать, почти никакой физической причины. Математикой я мало занимался и еще хорошенько не вникнулъ въ нее; недавно я недѣли съ три былъ безъ учителя и наконецъ принужденъ былъ взять другого; греческій у меня довольно хорошо идетъ, нѣмецкій я наконецъ почти совсѣмъ одолѣлъ,—я теперь, кончаю „Карлоса“; какой новый прекрасный міръ, который до сихъ поръ мнѣ совсѣмъ былъ закрытъ, и когда подумаешь, что передо

[1]) Затѣмъ Волуевъ скалькировалъ изъ письма Кирѣевскаго два слова которыя дѣйствительно не поддаются разбору.

мной лежитъ еще цѣлый Шиллеръ, цѣлый Гете не прочитаннымъ. Университетъ поправляется, и особенно словесное отдѣленіе: новые два профессора—греческаго и латинскаго, Печеринъ и Крюковъ отличные, а философію будетъ читать Надеждинъ, котораго выпишутъ изъ чужихъ краевъ. Степанъ Петровичъ, если его Уваровъ безо всякихъ экзаменовъ не утвердитъ въ ординарные профессора, рѣшительно выйдетъ изъ университета, а онъ читаетъ прекрасно, часто съ вдохновеніемъ (еще Петрарку); онъ вамъ кланяется, тоже и Хомяковъ, Павловъ etc. Объ Бенедиктовѣ нечего мнѣ и говорить; вы, я думаю, уже давно прочли его стихи въ *Наблюдателѣ*, а *Наблюдатель* опять уснулъ: 12-й нумеръ еще до сихъ поръ не выходитъ; сверхъ того, цензура не пропустила Одоевскаго и Ястребцова, еще строже становится. Поклонитесь отъ меня, пожалуйста, Алексѣю Андреевичу, Василію Алексѣевичу и дѣтямъ. Я слышалъ тоже: Петръ Васильевичъ воротился; если правда, то поздравьте съ счастливымъ возвращеніемъ; скоро ли онъ пріѣдетъ сюда? Недавно я послалъ Языкову вашъ адресъ; собирается къ вамъ писать; съ тѣхъ поръ онъ еще прислалъ стиховъ въ *Наблюдатель*; изъ нихъ можно заключить, что онъ пишетъ какую-то огромную поэму. Думаю, я ужъ надоѣлъ вамъ своимъ болтаньемъ. Благодарю васъ за все участіе, которое во мнѣ принимаете. Навсегда вамъ преданный Д. Волуевъ.

X.

Нѣтъ, нѣтъ, не для меня при пѣсняхъ и весельяхъ
Пробьетъ послѣдній часъ сѣдого декабря,
И въ праздничныхъ вѣнкахъ и свѣтлыхъ ожерельяхъ
Проснется первенецъ младого января.

Нѣтъ, нѣтъ, не для меня шипучимъ паромъ влага
На высшемъ потолкѣ задастъ разсудку хлюстъ,
И тосты дружества и пожеланья блага
Польются весело изъ опьянѣвшихъ устъ!

Я не товарищъ вамъ, товарищи по сердцу!
Я съ вами не могу и мощно, и легко
За пирогомъ задать сѣдому году перцу
И присусѣдиться ко вдовушкѣ Клико.

Годъ старый провожу и новый встрѣтить чаю,
Какъ крыса трезвая, какъ госпитальный песъ,
За чашею—сказать тошнитъ—грудного чаю,
Который пусть бы чортъ Брамбеусу поднесъ!

Веселой вечери, апостолы и братья!
О, помяните вы во царствіи своемъ
Во царствіи вина (винъ всякихъ безъ изъятья)
Меня безвиннаго, вамъ бьющаго челомъ!

31-го декабря 1838. **Князь Петръ Вяземскій.**

XI.

СТИХОТВОРЕНІЯ КАРОЛИНЫ КАРЛОВНЫ ПАВЛОВОЙ И ВОСПОМИНАНІЯ О НЕЙ.

Между второстепенными поэтами Пушкинскаго поколѣнія, нынѣ полузабытыми, не послѣднее мѣсто занимала недавно умершая Каролина Карловна Павлова. Современники высоко цѣнили мастерскую технику ея стиха, точность и силу ея многочисленныхъ стихотворныхъ переводовъ, дѣйствительно превосходныхъ.

Познакомился я съ нею въ 1850 году, еще очень юнымъ студентомъ, и ей обязанъ первыми моими соприкосновеніями съ литературнымъ міромъ. Въ этомъ мірѣ, въ то время, интересы художественные, въ Пушкинскомъ поколѣніи столь напряженные, уже значительно заслонялись интересами политическими и соціальными. Въ умахъ бродили смутныя чаянія, возбужденныя бурею 1848 года. Но къ этимъ чаяніямъ старая писательница относилась скептически. Любила она повторять слѣдующіе стихи, увѣряя, что не помнитъ, сама ли она ихъ сочинила, или кто-либо другой:

. . . . . .

Въ глубинѣ полярной ночи
Позабытъ и одинокъ
Тщетно ты вперяешь очи
На бѣлѣющій востокъ.
Тщетно пышнаго разсвѣта
Сердце трепетное ждетъ:
Пропадетъ денница эта,
Это солнце не взойдетъ!

Первое четверостишіе, замѣненное точками, я забылъ.

Живя интересами своей юности, Каролина Карловна любила по вечерамъ отводить со мною душу въ безконечныхъ разсказахъ о Пушкинѣ, Мицкевичѣ, Боратынскомъ, въ разборѣ ихъ стиховъ, въ сличеніи ихъ твореній со всѣми сокровищами европейскихъ литературъ: память ея была неистощима; на языкахъ нѣмецкомъ и французскомъ она сама писала прекрасные стихи.

Во время одного изъ такихъ разговоровъ я случайно раскрылъ томикъ стихотвореній Шенье, лежавшій на столѣ. Попалась мнѣ на глаза прелестная идиллія „L'aveugle“, и я невольно прочелъ первый стихъ—по русски:

Серебролукій богъ, богъ Кларoса, внемли! [1]).

Иначе по русски и перевести не возможно; но Каролина Карловна пришла въ восторгъ. Нѣсколько разъ въ теченіе вечера она прерывала разговоръ, перешедшій на иныя темы, чтобы повторять на распѣвъ этотъ полюбившійся ей стихъ.

Въ ту же ночь у нея вылился переводъ всей, довольно длинной, идилліи—одинъ изъ лучшихъ ея переводовъ, и на другое утро она прислала мнѣ первую его страницу, до

[1]) Dieu dont l'arc est d'argent, dieu de Claros, écoutez!

сихъ поръ хранящуюся у меня, съ приложеніемъ слѣдующихъ стиховъ:

Молчала дума роковая,
И полужизнію жила я,
Не помня тайныхъ силъ своихъ,—
И пробудили два-три слова
Въ груди порывъ бывалый снова
И на устахъ бывалый стихъ.

На вызовъ встрепенулось чутко
Все, что̀ смирила власть разсудка,
И борется душа опять
Съ своими думами пустыми,
И долго мнѣ не сладить съ ними,
И долго по ночамъ не спать!

Дѣйствительно, въ слѣдующія затѣмъ недѣли было написано еще нѣсколько стихотвореній.

Особенно восхищался стихами Каролины Карловны Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій. Это даже подало поводъ предположить въ немъ нѣжное чувство къ молодой еще писательницѣ, а ей приписать нѣкоторое вліяніе на взгляды и мысли блестящаго юноши. Толки эти внушили совершенно безвѣстному стихоплету Померанцеву слѣдующія вирши, которыя за краткость очень хвалила сама Каролина Карловна:

Каролина,
Ты причина,
Что дѣтина
Сталъ скотина!

Грубая шутка въ цѣль не попала. Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій, высоко цѣня стихотворенія Каролины Карловны,

къ ихъ автору относился съ легкою ироніей. Свидѣтельствуетъ о томъ прелестная его пародія на хоръ невольницъ изъ „Бахчисарайскаго фонтана", требующая впрочемъ краткаго комментарія.

Въ 1829 году Александръ Гумбольдтъ предпринялъ, по иниціативѣ императора Николая Павловича, путешествіе на Уралъ, гдѣ между прочимъ нашелъ, согласно высказанному напередъ предположенію, алмазы, правда — весьма мелкіе. Находка эта подала поводъ къ слѣдующимъ стихамъ:

Даруетъ небо человѣку
Замѣну слезъ и частыхъ бѣдъ:
Блаженъ, кто могъ библіотеку
Себѣ завесть подъ старость лѣтъ!

Блаженъ, кто дикаго Урала
Проникъ таинственный хребетъ:
Огнемъ топаза и опала
Его сіяетъ кабинетъ.

Но тотъ блаженнѣй, Каролина,
Кто, брилліанты возлюбя,
За ними ѣздилъ изъ Берлина
И здѣсь въ Москвѣ нашелъ тебя!

Дѣйствительно, проѣздомъ въ Москвѣ Гумбольдтъ познакомился съ Каролиною Карловною, тогда еще дѣвицею Янишъ. Онъ былъ пораженъ мастерствомъ ея нѣмецкихъ и французскихъ стиховъ и настойчиво приглашалъ молодую писательницу посѣтить его въ Берлинѣ. Посѣщеніе это состоялось лишь въ 1858 году, за нѣсколько мѣсяцевъ до поздней смерти великаго ученаго. Встрѣтилъ онъ Каролину Карловну слѣдующими словами: „Согласитесь, сударыня, что

я любезенъ: я ждалъ васъ тридцать лѣтъ; другой, на моемъ мѣстѣ, давно бы умеръ...“

Въ области стихотворства у Каролины Карловны Павловой была блестящая соперница—графиня Евдокія Ѳедоровна Ростопчина. Между этими дамами не было личныхъ сношеній: вмѣсто визитовъ онѣ обмѣнивались эпиграммами. Вотъ одна изъ нихъ, написанная Каролиною Карловною:

Мы современницы, графиня,
Мы обѣ дочери Москвы—
Тѣхъ юныхъ дней, суетъ рабыня,
Вѣдь не забыли же и вы!

Насъ Байрона живила слава
И Пушкина изустный стихъ;
Да, лѣтъ однихъ мы съ вами, право—
За то призваній не однихъ.

Привыкли вы къ широкой долѣ:
Вамъ нѣтъ стѣсненій, нѣтъ преградъ,
Вы переноситесь по волѣ
Изъ края въ край, изъ града въ градъ.

Красавица и жоржзандистка,
Вамъ пѣть не для Москвы-рѣки,
И вамъ, свободная артистка,
Никто не вычеркнетъ строки.

Не тотъ мой жребій. Не для свѣта,
Не для молвы я рождена,
И вдохновенія поэта
Таитъ покорная жена.

Люблю Москвы я миръ и стужу,
Въ тиши свершаю скромный трудъ
И отдаю я просто мужу
Мои стихи на грозный судъ.

Tempi passati! Счастливыя для литературы времена, когда писатели находили не лишнимъ поработать надъ своимъ стихомъ и надъ своею прозою, и поэтому стихи выливались свободно и стройно по всякому поводу, ничтожному или важному, а проза отзывалась благозвучіемъ стиха, когда читали и писали много, а печатали мало, обдуманно и неспѣшно, не для уличной толпы, а для людей, умѣющихъ читать и писать!

XII.

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРА ГУМБОЛЬДТА КЪ К. К. ПАВЛОВОЙ.

(1858).

A madame madame de Pavloff, née Janisch (de Moscou).

Berlin, Hôtel de l'Europe.

Madame! Les journaux viennent d'annoncer que m-r de Lamartine a quitté Paris pour plusieurs mois. J'ai donc dû préférer de Vous mettre en rapport avec un autre membre de l'Académie Française, également illustre et regardé comme beaucoup plus profond dans la connaissance des littératures de l'Europe. Celle dans laquelle Vous brillez, madame, est cependant pour lui une terre inconnue, une île inabordée. Il sera heureux de Vous entendre lui révéler l'existence des trésors accumulés dans ces derniers temps. M-r Saint-Marc Gérardin est professeur de littérature au Collège de France. Il connait l'Orient qui attire Votre noble curiosité. L'élévation des idées et une heureuse généralisation des aperçus dominent dans sa critique littéraire. J'au-

---

[1]) Съ автографа, сообщеннаго О. А. Новиковою.

rais voulu mettre ces lignes moi-même à vos pieds, demain dans la matinée, mais je suis encore incertain si je pourrai quitter Potsdam. Je fais les voeux les plus ardents pour le succès de vos beaux et grands voyages. Que d'inspirations et de souvenirs vous rapporterez,—objets de vos nouvelles créations.

Agréez, je vous supplie, madame, le respectueux hommage de mon admiration et de ma vive reconnaissance.

A. Humboldt.

A Potsdam, ce 19 juin, la nuit.

Путешествіе К. К. Павловой на востокъ не состоялось.

XIII.

ЖИТЬ—ДѢЙСТВОВАТЬ.

(Князя В. Ѳ. Одоевскаго).

Жить—дѣйствовать! Но не забудемъ, что цѣль никакого дѣйствія вполнѣ не достигается ни въ природѣ, ни въ человѣчествѣ. Это явленіе очень важно, и, если не ошибаюсь, на него еще мало обращали вниманія. До сихъ поръ встрѣчаются въ книгахъ ученыхъ и учебныхъ толки о такъ-называемой экономіи природы, которая будто бы употребляетъ именно то количество вещества и силъ (если эти понятія представлять себѣ раздѣльно), какое нужно для достиженія той или другой цѣли. Ничуть не бывало! Самыя простыя, самыя доступныя наблюденія убѣждаютъ насъ въ противномъ; если въ нашихъ лабораторіяхъ мы открываемъ законъ сопряженія тѣлъ въ опредѣленныхъ пропорціяхъ, то изъ этого однако не слѣдуетъ, что природа, подобно лаборанту, отмѣривала бы въ точности вещества, нужныя для образованія тѣла. Такъ *совершенныя* кристаллическія формы составляютъ въ минералахъ исключеніе; въ большей части случаевъ сама природа представляетъ препятствія къ полной кристаллизаціи

минерала; большая часть минераловъ принадлежатъ или къ аморфнымъ, не имѣющимъ кристаллической формы, или къ сопряженіямъ (аггрегаціямъ) разныхъ кристалловъ, или къ смѣси того и другого, напримѣръ, разныя породы гранита; такъ-называемыя естественныя стекла, напримѣръ, армянскій перлитъ или перловый камень, образуется изъ соединеній кремнезема, глинозема, щелочей, окисей въ весьма неопредѣленныхъ пропорціяхъ. Возьмемъ весьма извѣстный примѣръ киновари; въ лабораторіи мы знаемъ навѣрное, что, соединивъ одну часть (по вѣсу) чистой сѣры съ шестью частями (по вѣсу) чистой ртути, мы получимъ чистую киноварь; еслибы по ошибкѣ мы прибавили немного болѣе сѣры, то эта прибавка не вошла бы въ составъ киновари, а осталась бы въ своемъ первобытномъ состояніи: именно такіе лишніе прибавки на каждомъ шагу встрѣчаются въ природѣ. Я не знаю, видѣлъ ли кто большой экземпляръ чистой самородной киновари: мнѣ по крайней мѣрѣ онъ не встрѣчался ни въ одной минералогической коллекціи; всегда киноварь находится въ смѣшеніи съ самородною ртутью (лишняя прибавка), какъ напримѣръ, въ прирейнской Баваріи, также съ другими рудами, съ баритомъ, и т. д. Слѣдственно, здѣсь природа достигала не одной какой-либо, не единичной цѣли, какъ лаборантъ, но нѣсколькихъ различныхъ цѣлей, часто мѣшающихъ другъ другу.

Въ органическомъ мірѣ это потребленіе силъ въ излишествѣ еще явственнѣе. Всякое дерево производитъ гораздо болѣе плодовъ, нежели сколько оно въ состояніи выкормить. Излишніе плоды или спадаютъ съ дерева, не достигнувъ зрѣлости, или истощаютъ дерево. Это хорошо знаютъ садовники, не позволяющіе плодамъ образоваться на молодомъ деревѣ. Въ финскихъ хладныхъ лѣсахъ, гдѣ въ иные годы ели и сосны покрыты шишками съ верху до низу, бѣлки,

гонимыя въ небогатыхъ лѣсомъ мѣстностяхъ, объѣдая огромное количество молодыхъ шишекъ и тѣмъ облегчая дерево, служатъ къ сохраненію лѣсовъ. Извѣстно, что въ прудахъ отъ размноженія рыбы одной породы (при отсутствіи хищныхъ рыбъ, каковы, напримѣръ, щуки), если ея не вылавливать, непремѣнно происходитъ моръ. Не рѣдко животныя производятъ дѣтенышей въ большемъ числѣ, нежели сколько сосцовъ у матери; это явленіе всего чаще можно встрѣтить въ породѣ свиней; лишній дѣтенышъ, по слабости отбиваемый другими отъ сосцовъ, непремѣнно погибаетъ, если человѣкъ не отсадитъ его къ другой маткѣ. Природа безжалостна. Наконецъ, въ самомъ человѣкѣ, развѣ мы не знаемъ навѣрное по таблицамъ смертности компаній застрахованія жизни, что изъ тысячи младенцевъ, родившихся въ данное время, половина ихъ не доживаетъ года. Всѣ эти факты доказываютъ намъ, что физическая природа отнюдь не столь совершенна, какъ представляется она въ поэтическихъ описаніяхъ, что земля съ человѣкомъ совоздыхаетъ, и что для поддержанія самихъ законовъ природы, для того, чтобы не допустить ее до самоистребленія,—необходимъ *человѣкъ*. Этого рода дѣятельность человѣка, столь необходимая для природы, должна возбуждать особенное наше вниманіе, ибо она указываетъ на мѣсто, занимаемое человѣкомъ въ мірѣ, и необходимость для такого естественнаго устройства развить свое разумѣніе знаніемъ; ибо, не зная природы, какъ онъ поможетъ ей?

Но мы сказали уже выше, что и человѣкъ рѣдко достигаетъ желаемой имъ цѣли; слѣдственно, человѣкъ также подлежитъ этому общему естественному закону—никогда не достигать вполнѣ цѣли своего стремленія. Убѣжденіе въ этомъ неизбѣжномъ, непреклонномъ законѣ весьма важно для направленія нашей жизни и для утѣшенія въ случаѣ неуспѣховъ, неудачъ и т. п.

Иногда человѣкъ достигаетъ иной, неожиданной для него цѣли. Такъ, Христоферъ Колумбъ, отыскивая Индію для поддержанія ея сокровищами новаго крестоваго похода, вмѣсто того нашелъ Америку; въ выигрышѣ осталось лишь человѣчество; ибо въ дивной лабораторіи, не имъ управляемой, переработывается все, что̀ въ нее ни попадетъ, и творится то, чего не предполагалъ рабочій, принесшій свою ношу къ дверямъ лабораторіи.

Иногда дѣятельность человѣка достигаетъ до цѣли и совершенно противоположной, какъ путешественникъ, совершившій кругосвѣтное плаваніе. Факиръ съ окостенѣвшими отъ недвижности руками не достигаетъ ни бездѣйствія, ни цѣли поучительнаго примѣра, по крайней мѣрѣ для насъ; и тому доказательство: мы приводимъ его какъ примѣръ достойный... избѣжанія. Неронъ, произвольно умирая подъ мечемъ раба, восклицалъ: „Міръ не знаетъ, какого поэта онъ лишается!“ Но не поэтическое воспоминаніе сохранило человѣчество о Неронѣ. Аракчеевъ оставляетъ послѣ себя огромную сумму для составленія книги, въ которой—надѣялся онъ—его личность будетъ выставлена въ полномъ блескѣ; это тщеславное суемудріе не останется безплоднымъ для человѣчества; завѣщанная сумма дѣйствительно поможетъ разработкѣ одной изъ важнѣйшихъ эпохъ текущаго столѣтія, съ тою только разницею, что завѣщатель будетъ въ этой исторіи играть совсѣмъ не ту роль, на которую онъ надѣялся. Всѣ такіе господа, какъ Неронъ, Калигула, Филиппъ II, герцогъ д'Альба, и, въ низшей сферѣ, Аракчеевъ, Магницкій, Руничъ, принесли противъ воли поддержку именно тому, что̀ они старались истребить своею нечестивою дѣятельностію; ихъ имена остались пугалами для грядущихъ поколѣній; и когда философъ произноситъ осужденіе лжи, самоуправству, эгоизму, жестокосердію, его нельзя уже

обвинять въ вымыслѣ, въ самопроизвольныхъ догматическихъ положеніяхъ, нельзя его остановить вопросомъ: да гдѣ же это было?—ибо стоитъ вспомнить имена подобныхъ людей, которые живьемъ вросли въ исторію человѣчества....

Князь В. Одоевскій.

Отрывокъ этотъ печатается съ автографа, подареннаго издателю, послѣ смерти автора, его вдовою, княгинею Ольгою Степановною Одоевскою. Былъ онъ выбранъ изъ кипы другихъ набросковъ, какъ воспоминаніе о разговорахъ, касавшихся темъ, затронутыхъ въ этихъ немногихъ страницахъ. Полагаю, что онъ живо напомнитъ немногимъ еще оставшимся въ живыхъ знакомымъ покойнаго князя своеобразный умственный обликъ любимаго ими писателя. Ибо его любили всѣ, кто приходилъ съ нимъ въ соприкосновеніе. Ангельское незлобіе, безграничная отзывчивость сближали его со всѣми возрастами, со всѣми оттѣнками характеровъ и мнѣній. Громадная его эрудиція, изысканная и своеобразная, придавала его бесѣдѣ постоянную поучительность и прелесть. Юриспруденція и контрапунктъ, астрономія и гигіена, педагогика и геральдика, гастрономія и метафизика постоянно и совмѣстно изучались имъ по источникамъ рѣдкимъ и малодоступнымъ, и тщательно подбираемые имъ любопытные факты приводили его къ неожиданнымъ сближеніямъ и обобщеніямъ, иногда остроумнымъ, чаще причудливымъ и пародоксальнымъ, но всегда возбуждающимъ мысль, ставящимъ задачи пытливому уму...

Парадоксальная мысль Одоевскаго (навѣянная Шеллингомъ) о самоистребленіи природы, предотвратимомъ только дѣятельностію человѣка, послужила темою для горячихъ и продолжительныхъ споровъ. Нельзя не признать, что мысль эта выдерживаетъ критику лишь въ томъ случаѣ, если въ

число природныхъ дѣятелей мы включимъ человѣка, еще не сознавшаго своихъ обязанностей къ природѣ. О томъ, чѣмъ была бы эта природа безъ человѣка, гадать мы не имѣемъ достаточнаго права. Въ предѣлахъ же доступнаго намъ наблюденія, истребителемъ природныхъ богатствъ, нарушителемъ природнаго равновѣсія является именно человѣкъ, яко бы культурный. То, что̀ сдѣлано имъ для расширенія и обогащенія области органической природы (орошеніемъ пустынь, осушеніемъ болотъ), совершенно ничтожно сравнительно съ разрушительною его дѣятельностію. Истребленіе лѣсовъ и съ ними цѣлыхъ флоръ и фаунъ, замѣна правильнаго распредѣленія осадочныхъ водъ засухами и наводненіями, обнаженіе безплодныхъ почвъ и занесеніе песками почвъ плодородныхъ загрязненіе прѣсныхъ водъ, отравленіе самой почвы, чудовищное размноженіе паразитовъ вслѣдствіе разведенія въ колоссальныхъ количествахъ однородныхъ растеній и животныхъ, и истребленія естественныхъ враговъ этихъ паразитовъ, все это — дѣло рукъ человѣческихъ, особенно наглядное въ Сѣверной Америкѣ и Россіи, зло, при возрастающей численности людей, едва ли поправимое, но вопіющее о мѣрахъ, предупреждающихъ его умноженіе. Помощь природѣ, о которой взываетъ Одоевскій къ человѣчеству разумному, пока нужна ей исключительно противъ человѣчества неразумнаго.

Какъ бы то ни было, основная мысль отрывка — призывъ къ постоянной дѣятельности, умственной и практической, въ твердой увѣренности, что результаты этой дѣятельности слагаются въ стройное цѣлое, отъ дѣятелей скрытое высшею, благотворною силою,—для автора характеристична и оправдываетъ сохраненіе этихъ немногихъ, не дописанныхъ страницъ...

Вспоминая о князѣ В. Ѳ. Одоевскомъ, нельзя также не вспомнить о его неизмѣнномъ, остроумномъ другѣ С. А. Соболевскомъ, любившемъ при этомъ мудромъ Просперо разыгрывать роль Калибана. Нижеслѣдующее стихотвореніе можетъ служить образцомъ тѣхъ безобидныхъ шутокъ, которыми до конца жизни обмѣнивались старые друзья.

Случилось разъ во время оно,
Что съ дерева упалъ комаръ:
Запиской въ комитетъ ученый
Тебя зовутъ, князь Вольдемаръ.

Принявъ въ соображенье казусъ,
Ты, рывшись въ книгахъ, разсудилъ,
Что въ Роттердамѣ жилъ Эразмусъ,
Который въ парикѣ ходилъ.

Одушевленъ его примѣромъ,
Ты сбрилъ власы, надѣлъ парикъ
И свойственнымъ тебѣ манеромъ
Таинственно главой поникъ.

„Комаръ, безъ всякаго сомнѣнья“ —
Ты провѣщалъ, — „есть Божья тварь;
„Но въ музыкальномъ отношеньи
„Межъ насѣкомыхъ онъ—звонарь!

„И такъ какъ онъ паденьемъ въ полѣ
„Не причинилъ лѣсамъ вреда,
„Предать сей случай Божьей волѣ,
„А тварь избавить отъ суда!“

С. Соболевскій.

XIV.

ПИСЬМО ФЕЛИКСА МЕНДЕЛЬСОНА-БАРТОЛЬДИ КЪ А. Ѳ. ЛЬВОВУ.

Mon cher monsieur Lwoff! Permettez moi de vous renouveler par écrit les rémerciments que je vous ai adressés ce matin, de vous exprimer de nouveau le vrai et grand plaisir, la jouissance que j'ai éprouvée en entendant votre nouveau concerto. C'est un morceau digne sous tous les rapports d'un aussi grand artiste que vous l'êtes à mes yeux, composition remplie de sentiment et de passion, et qui ne manquera jamais d'exciter l'enthousiasme général qu'elle vient de produire ce matin. J'en admire les idées fraîches et imbues de vos belles mélodies nationales, non moins que l'instrumentation pleine d'effet et en même temps modeste, et le parti que vous avez su tirer de l'accompagnement sans en couvrir le violon, surtout dans votre adagio, dont je me souviendrai toujours avec délices. La seule chose que j'aurais à désirer dans ce morceau si charmant serait une terminaison complète avant d'entrer dans le tutti qui suit. Je crois qu'une mesure de plus, consistant

seulement de l'accord de fa pianissimo, tenu peut-être par tous les instruments avec les timbales (et suivi d'une longue fermate après laquelle la flûte pourrait commencer le tutti), servirait à mieux faire sentir la conclusion de l'adagio. Et peut-être ce tutti gagnerait-il en conduisant de suite à la marche triomphale sans fermate, et avec un crescendo plus long de quelques mesures: si je vous ai dit ce matin que je désirais une seconde variation, c'était peut-être seulement pour avoir plus longtemps la jouissance de vous entendre; mais comme je suis persuadé qu'à cet égard tout le monde sera de mon avis, je ne puis en démordre, et je reviens vous demander une variation de plus, en avant ou après celle avec les trompettes en triolets.

Excusez, cher monsieur Lwoff, toutes ces petites critiques, bien mesquines et qu'on ne remarquerait qu'à peine dans un ouvrage si rempli de beautés; mais vous m'en avez donné la permission, et comme preuve de ma sincérité, je me suis fait un devoir de ne pas vous les taire. Vous en croirez plus facilement les assurances de l'admiration la plus complète que je conserverai toujours et toute ma vie pour votre superbe talent, et les remerciments réitérés que je vous adresse pour les heures de jouissance et d'enthousiasme que nous avons passées pendant votre trop court séjour à Leipzig.

Conservez-moi un bon souvenir, comme je suis et serai toujours de cœur votre dévoué Felix Mendelsohn Bartholdy.

Leipzig. 8 novembre 1840.

Посланіе въ степь [1]).

Я полюбилъ васъ отъ души,
А вы на смѣхъ моей печали
Себя въ Саратовской глуши
Къ дѣламъ хозяйства приковали.
Исчезли вы, моя звѣзда,
Умчались вы дорогой пыльной
Въ тотъ дальній край, туда, туда,
Гдѣ дремлетъ Русь въ степи ковыльной;
И вотъ ищу я, гдѣ бы могъ
Терпѣнья нѣсколько занять я;
А вы сбираете оброкъ,
У васъ серьезныя занятья;
Не мало вамъ досталось дѣлъ:
Во всемъ являются вопросы —
То про неправильный надѣлъ,
То про лѣсные сѣнокосы.
Зачѣмъ застой теперь насталъ,
Вы объяснить себѣ хотите,
Гдѣ сельскихъ выгодъ капиталъ,

[1]) Сообщено Е. В. Сабуровою.

Гдѣ прочность лучшая въ кредитѣ?
Зачѣмъ не годенъ скотный дворъ?
Зачѣмъ въ ходу у насъ солома?
Зачѣмъ у сада сгнилъ заборъ
И течь открылась въ крышѣ дома?
Все видитъ барыня сама
И хочетъ знать и то, и это:
Какой доходъ дала зима,
Какой доходъ доставитъ лѣто?
Прикащикъ бѣдный въ попыхахъ,
Ему далеко не до шутокъ:
Пожалуй, уличатъ въ грѣхахъ,
Въ облыжномъ счетѣ куръ и утокъ.
Онъ знаетъ суть конторскихъ книгъ:
Дрожитъ онъ дрожью уголовной,
Чтобъ въ бухгалтеріи грѣховной
Контроль вашъ зоркій не проникъ.

Ну, а потомъ—находитъ скука,
Не все жь рублями дорожить;
Вы молоды: вамъ нужно жить,
Вамъ съ кѣмъ-нибудь тяжка разлука.
Вы занялися цвѣтникомъ,
Нарисовали планъ теплицы,
Но все же радужно тайкомъ
Вамъ снятся призраки столицы.
Знакомый блескъ, привычный шумъ
Среди заботъ любостяжанья
Порой приносятъ вамъ на умъ
Былыхъ временъ воспоминанья.
Читать хотѣли—не могли;
Судьба вамъ кажется жестока,

Въ углу валяется въ пыли
Романъ забытый Поль-де-Кока.
Тоска степная! Какъ на смѣхъ
Несчастны вы своимъ сосѣдствомъ,
И не съ кѣмъ вамъ, въ невинный грѣхъ,
Слегка потѣшиться кокетствомъ...

Какъ не съ кѣмъ? Есть..., пріѣхалъ онъ,
Типъ православнаго Манфреда,
Онѣгинъ нынѣшнихъ временъ,
Мыслитель въ качествѣ сосѣда.
Сегодня даже вечеркомъ
(Мнѣ сердце стукнуло о томъ)
Должны прогулкой вы безцѣльной
По вашей степи безпредѣльной
Вдвоемъ отправиться верхомъ.

Ну—такъ! Легокъ онъ на поминѣ:
Вотъ онъ несется на плотинѣ,
Вотъ промелькнулъ онъ на гумнѣ
Въ какомъ-то бѣломъ казакинѣ
На чистокровномъ скакунѣ.
И вотъ ужь вы въ своей уборной
И облекаете свой станъ
Въ нарядъ суконный, длинный, черный,
Изъ дальнихъ привезенный странъ.
Одѣвшись бойкой амазонкой,
Махая маленькимъ хлыстомъ,
Довольны таліей вы тонкой
И шляпой съ страусовымъ перомъ.
На лошадь бережно вы сѣли.
Вскочилъ вашъ спутникъ на сѣдло,

И оставляете безъ цѣли
Вы удивленное село.

Сперва глядите безъ вниманья
Куда-то вы, туда, въ ту даль,
Гдѣ было горе разставанья,
Гдѣ съ счастьемъ свыклася печаль.
Вы призадумались, вздохнули,
Но мыслей нить чтобъ пересѣчь,
Вы на товарища взглянули
И начинаете съ нимъ рѣчь
О томъ, что лѣтнею теплынью
Большая надобность въ дождѣ,
О томъ, что свыклись вы съ пустынью,
Что не скучаете нигдѣ.
Вамъ милъ крестьянъ бытъ незатѣйный,
И жаль вамъ только одного,
Что близъ усадьбы домъ питейный
Не пропускаетъ никого.
Реформы наши слишкомъ новы,
Но все жь надежды подаютъ,
И въ планахъ вашихъ ужь готовы
Больница, школа и пріютъ.

Сосѣдъ почтительно внимаетъ,
Затѣмъ, не зная, почему,
Онъ объяснять вамъ начинаетъ,
Какъ жить пріятно одному,
Не любитъ онъ столицы шумной—
Онъ странный, дикій человѣкъ;
Съ собакой ласковой и умной
Проводитъ онъ суровый вѣкъ.

Когда-то онъ отъ жгучей страсти
Томился, плакалъ и страдалъ,
Теперь не знаетъ женской власти
И сердце химіи отдалъ.

Вамъ это нѣсколько досадно:
Вы начинаете съ нимъ споръ,
Что грѣхъ такъ думать безотрадно.
Любви коснулся разговоръ.
Любовь—заманчивое слово.
Оно старо, но вѣчно ново.
Вотъ въ перестрѣлкѣ бойкихъ фразъ
Оно ужь вкралося проворно.
Сосѣдъ вашъ держится упорно,
А самъ, злодѣй, глядитъ на васъ,
Глядитъ, какъ чаще, чаще дышетъ
Въ шнуровкѣ стянутая грудь,
Какъ на лицѣ румянецъ пышетъ,
Улыбкой силясь промелькнуть.
Глядитъ онъ, нѣгой упоенный,
Забывъ затверженный урокъ,—
А на полянѣ раскаленной
Свѣжѣетъ лѣтній вѣтерокъ.
Онъ вашимъ локономъ играетъ,
Кругомъ становится темнѣй,
Заря надъ степью догораетъ—
И вскачь пустили вы коней...

Графъ В. Соллогубъ.

21-го апрѣля 1871. Петербургъ.

XVI.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЗАПИСОКЪ Ю. Ѳ. САМАРИНА.

(Сообщено баронессой Э. Ѳ. Раденъ) [1]).

...Хомяковъ понималъ христіанское Откровеніе какъ живую, непрерывную рѣчь Божію, непосредственно обращенную къ личному сознанію каждаго человѣка, и вслушивался въ нее съ напряженнымъ вниманіемъ. Наши разговоры не рѣдко касались этой темы по поводу общаго вопроса о значеніи Промысла въ исторіи человѣчества, народа, или отдѣльнаго лица, но онъ никогда не вводилъ меня въ область собственныхъ внутреннихъ ощущеній. Одинъ только разъ дано было проникнуть мнѣ въ тайное этой непрерывной бесѣды его съ Богомъ. Разговоръ этотъ такъ глубоко врѣзался въ мою память, что я могу повторить его почти отъ слова до слова.

Узнавъ о кончинѣ Екатерины Михайловны [2]), я взялъ отпускъ и, пріѣхавъ въ Москву, поспѣшилъ къ нему. Когда я вошелъ въ его кабинетъ, онъ всталъ, взялъ меня за

---

[1]) Издателю сообщено О. А. Новиковою.

[2]) Жены А. С. Хомякова.

обѣ руки и нѣсколько времени не могъ произнести ни одного слова. Скоро однако онъ овладѣлъ собою и разсказалъ мнѣ подробно весь ходъ болѣзни и лѣченія. Смыслъ разсказа его былъ тотъ, что Екатерина Михайловна скончалась вопреки всѣмъ вѣроятностямъ вслѣдствіе необходимаго стеченія обстоятельствъ. Онъ самъ понималъ ясно корень болѣзни и, зная твердо, какія средства должны были помочь, вопреки своей обыкновенной рѣшительности, усомнился употребить ихъ. Два доктора, не узнавъ болѣзни, которой признаки, по его словамъ, были очевидны, впали въ грубую ошибку и превратнымъ лѣченіемъ произвели болѣзнь новую, истощивъ сперва всѣ силы организма. Онъ все это видѣлъ и уступилъ имъ и т. д.... Выслушавъ его, я замѣтилъ, что все это кажется ему очевиднымъ теперь, потому что несчастный исходъ болѣзни оправдалъ его опасенія и вмѣстѣ съ тѣмъ изгладилъ изъ его памяти всѣ остальные признаки, на которыхъ онъ самъ, вѣроятно, въ послѣднія минуты основывалъ надежду на выздоровленіе. Я прибавилъ, что, воспроизводя теперь *по своему* и въ обратномъ порядкѣ послѣдствій къ причинамъ весь ходъ болѣзни, онъ только подвергаетъ себя безплодному терзанію. Тутъ онъ остановилъ меня, взявъ меня за руку: „Вы меня не поняли: я вовсе не хотѣлъ сказать, что легко было спасти ее. Напротивъ, я вижу съ сокрушительною ясностію, что она должна была умереть для меня, именно потому, что не было причины умереть. Ударъ былъ направленъ не на нее, а на меня. Я знаю, что ей теперь лучше, чѣмъ было здѣсь, да я-то забывался въ полнотѣ своего счастія. Первымъ ударомъ я пренебрегъ; второй — такой, что его забыть нельзя“. Голосъ его задрожалъ, и онъ опустилъ голову; черезъ нѣсколько минутъ онъ продолжалъ: „Я хочу вамъ разсказать, что со мною было. Тому назадъ нѣсколько лѣтъ я пришелъ

домой изъ церкви послѣ причастія и, развернувъ Евангеліе отъ Іоанна, я напалъ на послѣднюю бесѣду Спасителя съ учениками послѣ Тайной Вечери. По мѣрѣ того, какъ я читалъ, эти слова, изъ которыхъ бьетъ живымъ ключемъ струя безграничной любви, доходили до меня все сильнѣе и сильнѣе, какъ будто кто-то произносилъ ихъ рядомъ со мною. Дойдя до словъ: „вы друзи мои есте“, я пересталъ читать и долго вслушивался въ нихъ. Они проникали меня насквозь. На этомъ я заснулъ. На душѣ сдѣлалось необыкновенно легко и свѣтло. Какая-то сила подымала меня все выше и выше, потоки свѣта лились сверху и обдавали меня; я чувствовалъ, что скоро раздастся голосъ. Трепетъ проникалъ по всѣмъ жиламъ. Но въ одну минуту все прекратилось; я не могу передать вамъ, что̀ со мною сдѣлалось. Это было не привидѣніе, а какая-то темная, непроницаемая завѣса, которая вдругъ опустилась передо мною и разлучила меня съ областью свѣта. Что̀ на ней было, я не могъ разобрать; но въ то же мгновенье какимъ-то вихремъ пронеслись въ моей памяти всѣ праздныя минуты моей жизни, всѣ мои безплодные разговоры, мое суетное тщеславіе, моя лѣнь, мои привязанности къ житейскимъ дрязгамъ. Чего тутъ не было! Знакомыя лица, съ которыми Богъ знаетъ почему сходился и расходился, вкусные обѣды, карты, билліардная игра, множество такихъ вещей, о которыхъ, по видимому, никогда я не думаю, и которыми, казалось мнѣ, я нисколько не дорожу. Все это вмѣстѣ слилось въ какую-то безобразную массу, налегло на грудь и придавило меня къ землѣ. Я проснулся съ чувствомъ сокрушительнаго стыда. Въ первый разъ почувствовалъ я себя съ головы до ногъ рабомъ жизненной суеты. Помните, въ отрывкахъ, кажется, Іоанна Лѣствичника, эти слова: „Блаженъ, кто видѣлъ ангела; сто кратъ блаженнѣе, кто видѣлъ

самого себя". Долго я не могъ оправиться послѣ этого урока, но потомъ жизнь взяла свое. Трудно было не забыться въ той полнотѣ невозмутимаго счастія, которымъ я пользовался. Вы не можете понять, что̀ значитъ эта жизнь вдвоемъ. Вы слишкомъ молоды, чтобы оцѣнить ее". Тутъ онъ остановился и нѣсколько времени молчалъ, потомъ прибавилъ: „На канунѣ ея кончины, когда уже доктора повѣсили головы, и не оставалось никакой надежды на спасеніе, я бросился на колѣни передъ образомъ въ состояніи близкомъ къ изступленію, и сталъ—не то, что молиться, а испрашивать ее у Бога. Мы всѣ повторяемъ, что молитва всесильна, но мы сами не знаемъ ея силы, потому что рѣдко случается молиться всею душой. Я почувствовалъ такую силу молитвы, которая могла бы растопить все, что̀ кажется твердымъ и непроходимымъ препятствіемъ; я почувствовалъ, что Божіе всемогущество, какъ будто вызванное мною, идетъ навстрѣчу моей молитвѣ, и что жизнь жены можетъ мнѣ быть дана. Въ эту минуту черная завѣса опять на меня опустилась; повторилось, что̀ уже было со мною въ первый разъ, и моя безсильная молитва упала на землю! Теперь вся прелесть жизни для меня утрачена. Радоваться жизни я не могу. Радость мнѣ была доступна только черезъ нее, какъ то, что̀ утѣшало меня, отражалось на ея лицѣ. Остается исполнить мой урокъ. Теперь, благодаря Богу, не нужно будетъ самому себѣ напоминать о смерти, она пойдетъ со мною неразлучно до конца".

Я записалъ этотъ разсказъ отъ слова до слова, какъ онъ сохранился въ моей памяти; но перечитавъ его, я чувствую, что не въ состояніи передать того спокойно сосредоточеннаго тона, которымъ онъ говорилъ со мною. Слова его произвели на меня глубокое впечатлѣніе именно потому, что именно въ немъ одномъ нельзя было предположить ни

тѣни самообольщенія. Не было въ мірѣ человѣка, которому до такой степени было противно и несвойственно увлекаться собственными ощущеніями и уступить ясность сознанія нервическому раздраженію. Внутренняя жизнь его отличалась трезвостію,—это была преобладающая черта его благочестія. Онъ даже боялся умиленія, зная, что человѣкъ слишкомъ склоненъ вмѣнять себѣ въ заслугу каждое земное чувство, каждую пролитую слезу; и когда умиленіе на него находило, онъ нарочно самъ себя обливалъ струею холодной насмѣшки, чтобы не давать душѣ своей испаряться въ безплодныхъ порывахъ и всѣ силы ея опять направить на дѣло. Что съ нимъ дѣйствительно совершалось все, что онъ мнѣ разсказалъ, что въ эти двѣ минуты его жизни самопознаніе его озарилось откровеніемъ свыше,—въ этомъ я также увѣренъ, какъ и въ томъ, что онъ сидѣлъ противъ меня, что онъ, а не кто другой, говорилъ со мною.

Вся послѣдующая его жизнь объясняется этимъ разсказомъ. Кончина Екатерины Михайловны произвела въ ней рѣшительный переломъ. Даже тѣ, которые не знали его очень близко, могли замѣтить, что съ сей минуты у него остыла способность увлекаться чѣмъ бы то ни было, что прямо не относилось къ его призванію. Онъ уже не давалъ себѣ воли ни въ чемъ. По видимому, онъ сохранилъ свою прежнюю веселость и общительность, но память о женѣ и мысль о смерти не покидали его. Сколько разъ я замѣчалъ по выраженію его лица, какъ мысль эта перебивала веселую струю его добродушнаго смѣха! Жизнь его раздвоилась. Днемъ онъ работалъ, читалъ, говорилъ, занимался своими дѣлами, отдавался каждому, кому до него было дѣло. Но когда наступала ночь и вокругъ него все улегалось и умолкало, начиналась для него другая пора. Тутъ подымались воспоминанія о прежнихъ свѣтлыхъ и счастливыхъ го-

дахъ его жизни, воскресалъ передъ нимъ образъ его покойной жены, и только въ эти минуты полнаго уединенія давалъ онъ волю сдержанной тоскѣ.

Разъ я жилъ у него въ Ивановскомъ. Къ нему съѣхалось нѣсколько человѣкъ гостей, такъ что всѣ комнаты были заняты, и онъ перенесъ мою постель къ себѣ. Послѣ ужина, послѣ долгихъ разговоровъ, оживленныхъ его неистощимою веселостію, мы улеглись, потушили свѣчи, и я заснулъ. Далеко за полночь я проснулся отъ какого-то говора въ комнатѣ. Утренняя заря едва-едва освѣщала ее. Не шевелясь и не подавая голоса, я началъ всматриваться и вслушиваться. Онъ стоялъ на колѣнахъ передъ походной своей иконой, руки были сложены крестомъ на подушкѣ стула, голова покоилась на рукахъ. До слуха моего доходили сдержанныя рыданія. Это продолжалось до утра. Разумѣется, я притворился спящимъ. На другой день онъ вышелъ къ намъ веселый, бодрый, съ обычнымъ добродушнымъ своимъ смѣхомъ.

Отъ человѣка, всюду его сопровождавшаго, я слышалъ, что это повторялось почти каждую ночь...

XVII.

ПИСЬМА Н. И. ПИРОГОВА КЪ Е. А. ОГОНЬ-ДОГАНОВСКОЙ [1]).

1.

11-го іюля (1842). Петербургъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ я съ вами разстался, я столько встрѣтилъ и испыталъ неожиданнаго, что одинъ поверхностный разсказъ о томъ былъ бы достаточенъ едва ли не для двадцати писемъ; разумѣется, эти письма содержали бы въ себѣ, между прочимъ, и описаніе моихъ чувствъ; но я знаю, какъ намъ трудно, даже не возможно описать, что̀ мы чувствуемъ и особенно, что̀ чувствуемъ живо и глубоко; я знаю также, какъ ничтожны и приторны кажутся наши усилія выразить ощущаемое зрителямъ и слушателямъ разыгрываемыхъ нами трагикомедій на сценѣ жизни. Итакъ, я удержусь отъ подробныхъ описаній, я надѣюсь сообщить вамъ все послѣ, на словахъ. Но я знаю и то, что вы

[1]) Съ автографовъ. Екатерина Николаевна Огонь-Догановская, рожденная Потемкина (1789—1856), сестра моей родной бабки (Александры Николаевны Рачинской), была женщиною рѣдкаго ума и сердца. Искренняя преданность къ ней Н. И. Пирогова достаточно видна изъ его писемъ. С. Р.

берете живое участіе во мнѣ, добрая и почтеннѣйшая Екатерина Николаевна; у меня нѣтъ тайнъ для васъ, потому вамъ будетъ вѣрно пріятно узнать—я знаю, вы всегда радуетесь счастію другихъ,—что я счастливъ любовью дѣвушки, настоящаго ангела по своему характеру, я имѣю неоспоримыя доказательства ея любви ко мнѣ: вы знаете, что̀ значитъ *неоспоримыя* у меня, я имѣю ея слово и благодарю Провидѣніе! Наши дѣла съ отцемъ приняли, сверхъ моего ожиданія, очень хорошій оборотъ: онъ не только согласенъ, но и показалъ живое участіе въ судьбѣ дочери— до сихъ поръ все идетъ хорошо; но вы знаете меня, я не довѣряю ни людямъ, ни обстоятельствамъ до тѣхъ поръ, пока все рѣшится; особливо въ предстоящемъ случаѣ можно ли положиться на нравъ человѣка, который мѣняется каждый день? Итакъ, я подожду радоваться,—впрочемъ, я не могу быть вполнѣ счастливымъ и потому, что долженъ самое лучшее время моей жизни проводить въ разлукѣ съ той, съ которою хочу соединить судьбу мою. Теперь я прилагаю все мое стараніе, чтобы учредить поѣздку моей невѣсты и ея матери въ Ревель: только когда мнѣ удастся это, я скажу: „я счастливъ“. Ожидаю безпрестанно моего будущаго тестя въ С.-Петербургъ; если онъ ихъ не пуститъ, тогда я долженъ буду ѣхать опять въ деревню и тогда буду въ Ревелѣ не прежде іюля. Вотъ вамъ короткій, но вѣрный разсказъ моихъ дѣлъ; вы можете себѣ легко представить то безпокойство, въ которомъ я безпрестанно нахожусь теперь. Если Провидѣніе хотя нѣсколько благосклонно ко мнѣ, то Оно, вѣрно, доставитъ мнѣ средство исполнить мое желаніе — быть вмѣстѣ въ Ревелѣ съ моимъ ангеломъ и увидѣть васъ, поблагодарить васъ за вашу неизъяснимую доброту ко мнѣ и за ваше благословеніе, которымъ вы снабдили на путь вамъ навѣки преданнаго Пирогова.

2.

4-го ноября (1842).

Вотъ вы говорили, что не можетъ быть никакихъ препятствій; свадьба наша опять отложена до 11-го ноября, то-есть, до середы. Это впрочемъ очень кстати, потому что въ понедѣльникъ занемогъ было не на шутку, но вчера сдѣлался кризисъ, и я сегодня чувствую себя недалекимъ отъ выздоровленія. Кто хочетъ оставаться въ правилахъ благоразумія, кто дорожитъ своимъ здоровьемъ, своими занятіями, своимъ сердцемъ и умомъ, тому не совѣтую любить, или лучше, не совѣтую жениться, по крайней мѣрѣ не такъ любить и жениться, какъ я. Я хочу остаться дома до субботы, и потому еще нѣсколько дней не буду имѣть удовольствія васъ видѣть. Если можно, то прошу васъ прислать мнѣ для развлеченія „Mathilde“ (которую не всю читалъ) или что-нибудь; я хочу постараться въ эти дни сдѣлаться опять эгоистомъ и не думать ни о чемъ другомъ, какъ о собственномъ спокойствіи. Сцены, волненія, ожиданія, не сбывающіяся надежды, все это мнѣ надоѣло, опротивѣло болѣе, чѣмъ растворъ tartre émétique, который теперь предо мною въ стклянкѣ. Вашъ на вѣки Пироговъ.

3.

(Начало 1851 года).

Ея ужь нѣтъ! Уже нѣтъ матери моихъ двухъ бѣдныхъ сыновей! Она оставила меня такъ скоро, такъ неожиданно, что я еще не могу свыкнуться съ этою мыслію, что я оставленъ, я овдовѣлъ и осиротѣлъ; куда ни посмотрю, все кругомъ меня такъ живо, такъ умилительно напоминаетъ мнѣ ее. Вотъ комната, которую она сама убирала; вотъ ея простой, милый вкусъ, вотъ плющъ, вьющійся по окнамъ, который она сама разсадила; давно ли въ этой самой

комнатѣ, гдѣ стоитъ ея гробъ, стояла елка, которую она сама убирала для Коко. Еще я не знаю, что̀ будетъ со мною, когда я увижу этого бѣднаго ребенка и когда въ первый разъ послѣ смерти матери прижму его къ груди моей; я его отослалъ къ бабушкѣ, онъ не видѣлъ матери нѣсколько дней и, говорятъ, веселъ, играетъ, а другой спитъ себѣ спокойно на рукахъ кормилицы; ахъ, они не знаютъ, чего лишились они, какая жалкая участь предстоитъ имъ — провесть первые годы своей жизни безъ материнскихъ попеченій, не имѣть передъ собою матери, и какой еще матери: это горько, это такъ горько, что я не знаю, можетъ ли въ жизни человѣка встрѣтиться что-нибудь горче, какъ провести свою юность безъ матери. Говорятъ, что достойны сожалѣнія только тѣ, которые оплакиваютъ смерть близкихъ своему сердцу, а не тѣ, которыхъ оплакиваютъ; но я плачу не за себя одного и не за однихъ дѣтей; я плачу тоже и за ту, которую оплакиваю: ей еще хотѣлось пожить; за нѣсколько недѣль она, проснувшись по утру, сказывала мнѣ, что она проплакала цѣлую ночь: ей вдругъ стало страшно умереть и покинуть Колю. Она его призвала къ себѣ и такъ цѣловала и обнимала, какъ будто предчувствовала, и такъ жизнь ей была мила... Вотъ пришелъ мой Коля съ гулянья, вотъ въ первый разъ послѣ смерти матери я увидалъ его, онъ улыбается — вы помните его улыбку — также мило, какъ и прежде... За что̀ ни примусь, на что́ ни посмотрю, все она, вездѣ слѣды ея минувшаго существованія: то заглавіе книги въ моей библіотекѣ, написанное ея рукою, и книги разставлены были ею, и эстампы развѣшивала она... Грустно, грустно, невыразимо грустно... Надобно было имѣть лошадиные нервы, чтобы хладнокровно видѣть мученія, которыя предшествовали смерти; ужасное воспаленіе мозговыхъ оболочекъ развилось на десятый день

послѣ родовъ, съ корчами, съ раздирающимъ душу крикомъ, съ бредомъ; и между тѣмъ сознаніе не было еще совершенно уничтожено: она узнавала и меня, и предстоящихъ. До седьмого дня все шло какъ нельзя лучше, только безсонница и затѣмъ сонливость были нѣсколько сомнительными явленіями, какъ вдругъ вечеромъ она призываетъ меня къ себѣ, упрекая меня, что я на нее сержусь, „Ну вотъ видишь ли, какъ это хорошо, когда переговоришь о томъ, что̀ насъ занимаетъ“, говорила она, когда я ее успокаивалъ;—„теперь я спокойна“. Но тутъ же, трясясь отъ лихорадочнаго знобa, она увѣряла меня и доктора Ш., что она насъ обманываетъ, что ей очень хорошо; спустя два дня послѣ этого, у ней образовалась совершенная религіозная меланхолія: она ни на что̀ не отвѣчала, а только иногда, потупивъ глаза или смотря неподвижно на одинъ предметъ, говорила, что она — большая грѣшница, что ей нужно покаяться; еще и до того, впрочемъ, при первомъ развитіи бреда, она ночью, не велѣвъ мнѣ сказывать, позвала священника и пріобщилась, сказавъ ему, что хочетъ умирать. Въ теченіе цѣлыхъ пяти дней безпрестанно мѣнялся предметъ ея бреда... Причина извѣстна одному Богу; кажется однако же, что не исполненное желаніе имѣть дочь играло важную роль въ произведеніи болѣзни. Я на нѣсколько минутъ вышелъ изъ комнаты, гдѣ она родила, а когда воротился къ ней и съ радостнымъ чувствомъ хотѣлъ поцѣловать ее, меня вдругъ обдало какимъ-то холодомъ, когда я услышалъ отъ нея: „Я не рада, родился мальчикъ, онъ для тебя; мнѣ хотѣлось дочь“. Цѣлую эту ночь и на другой день была безсонница, на третій день пріѣхалъ къ ней случайно докторъ Спасскій, взошелъ, и не зная еще, что она родила, спросилъ, какъ она себя чувствуетъ. Она отвѣтила: „Я родила, но мальчика: я не рада“.

Потомъ отвернулась къ стѣнѣ и сказала, что она хочетъ спать. Мнѣ она во время беременности ничего не говорила, и я не знаю, точно ли это желаніе было ея постоянною мыслью. Не слыхали ли вы чего-нибудь отъ нея? Всѣ малѣйшія подробности о ней теперь для меня драгоцѣнны. Я знаю, вы ее любили, и вамъ вѣрно будетъ также, какъ и мнѣ, пріятно горько поговорить о ней. Воспоминаніе—лучшій памятникъ, воздвигаемый нами усопшимъ; въ воспоминаніи заключается откровеніе безсмертія души; пусть воспоминаніе передаетъ сыновьямъ моимъ прекрасныя черты изъ жизни ихъ матери; пусть они со временемъ узнаютъ, что, не смотря на суровость судьбы, на нравственныя огорченія, совершавшіяся передъ ней въ самые воспріимчивые дни дѣтства и юности, она умѣла сохранить и нѣжное чувство, и свѣтлый взглядъ на жизнь. Пишите, пишите мнѣ объ ней; дайте и мнѣ покуда жить этими отрадными воспоминаніями о моей незабвенной Катѣ Неужели она была не откровенна со мной? Мнѣ бы, еслибъ я зналъ, можетъ быть, удалось разсѣять суетность желанія... Завтра, во вторникъ, предается на разрушеніе опустѣвшее жилище, въ которомъ такъ недолго обитала юная жизнь. Вашъ навсегда Пироговъ.

4.

Въ день моего отъѣзда, 13-го марта (1851).

Прощайте. Наконецъ сегодня вечеромъ. Когда за 16 лѣтъ передъ этимъ я отправлялся въ первый разъ въ чужіе края изъ Дерпта, сколько было надеждъ, сколько мечтаній! А теперь?.. Еще въ прошломъ году, въ Ревелѣ, мы не рѣдко говорили съ женою о поѣздкѣ за границу, и это было всегда моей лучшей мечтою—ѣхать съ любимой женою въ

Италію. А теперь я ѣду одинъ, съ пустымъ сердцемъ, съ грустными воспоминаніями; еще слава Богу, что по крайней мѣрѣ голова моя свободна, и я надѣюсь наконецъ осуществить мысль, которою долженъ быть проникнутъ всякій вступающій въ жизнь, что нѣтъ другого средства охранить сердце отъ разрушительныхъ сотрясеній, какъ то, что нужно стать выше бѣдствій. Трудно этого достигнуть; но кто хочетъ быть добрымъ, тотъ долженъ рѣшиться на это. Тутъ двѣ крайности. Если самъ не задушишь твердою волею и размышленіемъ о необходимости бѣдствія жизни, то они тебя задушатъ. Только жаль, что насъ мало пріучаютъ съ дѣтства, что насъ не учатъ смотрѣть на жизнь съ настоящей стороны, обманываютъ нашу неопытность. Какъ мало, напримѣръ, мы все еще проникнуты мыслью о безсмертіи! Мы выговариваемъ только это слово, какъ попугаи, но въ сущности, вѣрьте мнѣ, мы тѣ же язычники и грубые, невѣжественные матеріалисты. Мы толкуемъ только, что мы вѣримъ въ другой міръ, а соотвѣтствуетъ ли хотъ одинъ нашъ поступокъ этому вѣрованію? Когда бы эта мысль проникнула совершенно наше существованіе, то она отражалась бы вездѣ... Я ѣду прямо въ Италію, чтобы избѣжать самые жаркіе мѣсяцы; въ іюнѣ хочу выѣхать въ южную Францію и въ Пиренеи, оттуда въ Парижъ и потомъ черезъ Швейцарію и Тироль ворочусь въ Вѣну. Я столько слышалъ объ Италіи, что боюсь, сдѣлаетъ ли она на меня такое же впечатлѣніе, какъ на другихъ. Я буду вести однако же журналъ. Дѣтей отправляю съ матушкою и съ сестрами на дачу въ Парголово — одно сухое мѣсто кругомъ Петербурга.

Бывши уже разъ въ Италіи хочу проѣхать и въ Сицилію. Вы видите, что я собираюсь сдѣлать нешуточное путешествіе.

Прощайте, прощайте, моя добрая Екатерина Николаевна, храни васъ и всѣхъ вашихъ Богъ! Вспоминайте временемъ объ вашемъ Пироговѣ.

Я беру съ собою дагеротипный портретъ Коли: онъ удался; мальчишка сидитъ пресерьезный съ апельсиномъ въ рукѣ, на подушкѣ, въ своей пестрой рубашенкѣ.

XVIII.

По замѣчанью моему,
Альбомъ походитъ на кладбище.
Боратынскій.

Отвергнувъ гордое сомнѣнье
И не смущаемый трудомъ,
Простой пріязни выраженье
Вношу смиренно въ вашъ альбомъ.

Легко минутное рѣшенье
Забыться непробуднымъ сномъ,
Гдѣ наше мѣсто погребенья
Хоть потревожатъ—но съ умомъ;

Гдѣ между прочими гробами
И нашъ безъ надписи найдутъ
И между зримыми чертами
Лукаво зоркими глазами
Черты незримыя прочтутъ.

А. Фетъ.

1848 года, февраля 29-го.
Елисаветградъ.

XIX.

РАЗДѢЛЪ.

Повѣсть графини Е. В. Саліасъ [1]).

Якшины были въ гостяхъ у Сурмиловыхъ. Вечеръ стоялъ тихій, благоуханный и свѣжій; клумбы розъ и жасминовъ дышали пронзительнымъ ароматомъ, и Якшина томно за-

---

[1]) Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, графиня Е. В. Саліасъ (Евгенія Туръ) принялась за писаніе обширнаго романа, предназначеннаго для *Русскаго Вѣстника*. Дописавши первую часть, она прочла ее мнѣ, и со свойственнымъ ей оживленіемъ, разсказала мнѣ продолженіе романа и его трагическую развязку. Но при этомъ она вспомнила, что развязка эта, на которую въ первой части романа не имѣется ни малѣйшаго намека, слишкомъ напоминаетъ происшествіе истинное, тогда еще памятное московскому обществу. Подробно обсудивши дѣло, мы рѣшили, что романа съ такою развязкою печатать не слѣдуетъ. Но такъ какъ всякая иная развязка автору казалась неестественною, то рѣшено было романа не дописывать, и графиня подарила мнѣ на память рукопись первой части. Автографъ этотъ сорокъ лѣтъ хранился въ моемъ портфелѣ. Полагаю, что въ настоящее время умѣстно сообщеніе публикѣ этого обширнаго отрывка. Онъ напомнитъ читателямъ о писательницѣ таланта выдающагося и о добрыхъ литературныхъ нравахъ, давно забытыхъ, но къ коимъ желательно было бы вернуться...

С. Р.

мѣтила, что ея разстроенные нервы не выносятъ такого сильнаго запаха цвѣтовъ. Вы подумаете, быть можетъ, моя читательница, что нервная дама была причудливая красавица, героиня этой повѣсти—вы ошибаетесь: дочтите эту страницу и вы убѣдитесь въ противномъ. На балконѣ небольшого домика Сурмиловыхъ собралось маленькое общество, состоящее изъ хозяина, хозяйки, ихъ дочери и ихъ гостьи, Маріи Ивановны Якшиной. Послѣдняя была женщина лѣтъ пятидесяти-пяти съ быстрыми сѣрыми глазами, неправильными, но мягкими чертами лица, свидѣтельствовавшими о прежней красотѣ; манеры ея обличали большую претензію на свѣтскость. Она была одѣта очень нарядно, и ея чепчикъ, едва державшійся на макушкѣ головы, при помощи двухъ огромныхъ булавокъ рококо, почти не прикрывалъ черныхъ волосъ, съ сильно пробивавшейся въ нихъ сѣдиною. Она сидѣла рядомъ съ Петромъ Ѳедоровичемъ Сурмиловымъ, котораго толстая, претолстая фигура, тройной подбородокъ и добродушное лицо выманивало бы улыбку, еслибъ свѣтлые и еще не лишенные огня глаза его не выражали такую откровенную честность, что усомниться въ ней, взглянувъ на него, было не возможно.

Общій характеръ лица его выражалъ какую-то смѣсь добродушія, лѣни и сонливости, такъ свойственной всѣмъ дороднымъ людямъ. Въ эту минуту онъ старался быть любезнымъ съ Маріей Ивановной, которой сѣрые глаза также бѣгали и суетились, какъ всѣ ея движенія; казалось, что почтенный Петръ Ѳедоровичъ и тучность его были не мало утомлены однимъ видомъ вѣчно волнующейся гостьи. Онъ поглядывалъ въ сторону на жену свою и на старшую дочь, изъ которыхъ одна подавала чай, а другая заботилась о двухъ мальчикахъ, пріѣхавшихъ на вакаціи. Мать и дочь съ перваго взгляда мало походили другъ на друга. Гла-

фира Николаевна была небольшая женщина съ кроткимъ грустнымъ, будто утомленнымъ выраженіемъ лица; самыя движенія ея говорили о болѣзненности; дочь ея Полина была напротивъ того высокая, стройная, черноволосая дѣвушка, также блѣдная, какъ и мать, хотя ея матовая блѣдность придавала особую прелесть и блескъ ея темнымъ, каримъ глазамъ. Роскошные черные волосы ея лежали на лбу глянцовитыми волнами и оттѣняли еще больше бѣлизну высокаго, благороднаго лба.

— Право, говорила Марѳа Ивановна,—нервы мои до того разстроены, до того потрясены, что я не могу вынести запаха этихъ розъ и жасминовъ. Не понимаю, какъ жена ваша съ ея слабымъ здоровьемъ переноситъ вашу страсть къ цвѣтамъ. C'est tuant; я уже чувствую cela m'a porté à la tête.

Эта фраза была произнесена ужь не въ первый разъ, при чемъ Марѳа Ивановна быстро потирала рукою лобъ и лицо свое.

— Глаша, Глаша, закричалъ Петръ Ѳедоровичъ женѣ своей;—брось дѣтей, матушка; слава Богу, и безъ тебя молоко допьютъ. Марѳа Ивановна не хорошо себя чувствуетъ.

— Ахъ! не безпокойте жену вашу, прошу васъ. Ея заботливость, ея любовь къ дѣтямъ такъ трогательны, и кто лучше меня можетъ понять эти чувства! Всякій разъ, какъ мнѣ случится видѣть ребенка, я вспоминаю мою Соню—удивительную малютку! Я, бывало, не могла рѣшительно оставить ее ни на минутку, не могла достаточно насмотрѣться на нее, налюбоваться ею—она была вся жизнь моя, все мое счастіе, я любила и мужа, но Соню еще больше. Мать, вы знаете, чувства матери—а въ то время, я и сама была такъ молода еще и такъ хороша, скажу я—время прошлое! enfin, j'étais une jeune mère,—но не смотря на это предпо-

читала всему на свѣтѣ мою Соню, мою единственную радость!

Марѳа Ивановна говорила восторженно, не замѣчая, что вмѣсто Петра Ѳедоровича, который успѣлъ отретироваться къ чайному столу и лѣниво закуривалъ трубку, ее слушала жена его.

— Зачѣмъ же вы говорите въ прошедшемъ? Ваша Соня и теперь одна забота ваша и ваша единственная радость, сказала Глафира Николаевна.

— Конечно, конечно, но теперь, это уже не то... быть можетъ, скоро... словомъ, я выростила ея для другого... Знаете ли, мнѣ кажется, я буду ненавидѣть моего зятя.

— Полноте! сказала Глафира Николаевна.

— Вы не можете понять этого: у васъ двѣ дочери и сынъ, а у меня одна дочь, одна радость, и отдать ее другому—это ужасно, это не возможно! Одна мысль объ этомъ меня разстраиваетъ!.. Я и говорить объ этомъ не могу и закрываю глаза, какъ маленькія дѣти, чтобы не видать того, что̀ меня пугаетъ.

И Марѳа Ивановна улыбнулась съ какой-то ужимкой, заставлявшей предполагать, что она еще имѣла претензіи на наивность дитяти.

Глафира Николаевна молчала довольно холодно.

— Гдѣ же однако дѣвицы наши? продолжала Марѳа Ивановна,—знаете... уже поздно..., не случилось ли съ ними чего?

— Что̀ можетъ случиться? Онѣ пошли въ садъ и еще не однѣ, съ ними мадамъ Вейхлеръ, няня Кати, какъ я ее называю. Я увѣрена, что она взяла галстучки, манто и не позволитъ имъ простудиться.

— Гдѣ вы достали это сокровище?

— Полина пріѣхала къ намъ съ нею. М-me Вейхлеръ

воспитала Полину, а такъ какъ она музыкантша и пѣвица, то теперь занимается съ Катей и очень полюбила ее; я хочу сказать что она пристрастилась къ Катиному голосу; m-me Вейхлеръ отличная артистка.

— А я, право, все не въ себѣ... я безпокойна. Ужь поздно, не послать ли за нашими дѣвицами?

— Если хотите; только увѣряю васъ, что ихъ не найдутъ; онѣ, вѣрно, катаются въ лодкѣ.

— Въ лодкѣ! Боже мой! И вы говорите это такъ равнодушно, такъ спокойно! Я—страшная трусиха и боюсь воды и лодокъ пуще всего на свѣтѣ.

— Но чего же бояться?

— О, какъ видно, что у васъ трое дѣтей! Еслибъ, какъ я, вы имѣли одно сокровище...

— Я пошлю за ними, сказала Глафира Николаевна очень спокойно.

— Прошу васъ... Извините мою настойчивость, мое вѣчное безпокойство..., я сама не рада, что у меня такой характеръ.

Глафира Николаевна хотѣла идти за слугою, но старшая дочь ея, сидѣвшая до тѣхъ поръ, опершись руками на баллюстраду балкона, встала и вышла, говоря матери:

— Не безпокойтесь, маменька, я пошлю за сестрой и Соней.

— Какая интересная ваша Полина, сказала Марѳа Ивановна, и какъ она хороша еще собою. Особенно въ этомъ черномъ платьѣ, съ этой небрежной, спокойной походкой; взгляните, какими мягкими складками падаетъ ея платье, право картина!

— Да; я ужь сколько разъ говорила ей, что ея платья слишкомъ длинны; Петръ Ѳедоровичъ тоже смѣется н дъ ней и говоритъ, что она мететъ юбками дорожки его цвѣтника, сказала, смѣясь, Глафира Николаевна.

— Mais c'est joli! Ахъ, милыя дѣти—глядите, они даже побѣжали за нею... трогательно видѣть... ужели она сама занимается дѣтьми своей кузины... я не вижу ни гувернантки, ни няни...

— Мать ихъ дружна съ Полиной и поручила ихъ Полинѣ, мѣсяца на два; пока мы сами занимаемся ими.

— Какъ это весело, какъ пріятно!

— Не совсѣмъ, сказала Глафира Николаевна,—дѣти шалятъ, не слушаются, и имъ надо повторять одно и то же нѣсколько разъ, но Полина терпѣлива.

— Скажите, давно Полина съ вами и какъ она переноситъ свое несчастіе?

— Довольно твердо.

— Бѣдная дѣвушка! Знаете ли, я помню вашу Полину во всемъ цвѣтѣ лѣтъ; она тогда жила у тетки, и всѣ ей сулили блестящую будущность.

Глафира Николаевна вздохнула.

— Богъ располагаетъ, сказала она кротко.

— Какъ это вы рѣшились разстаться съ ней; кажется, тетка взяла ее у васъ, когда ей не было еще году. Я слышала, что сестра ваша не успѣла сдѣлать завѣщанія, и Полина...

— Напротивъ того, сестра сдѣлала завѣщаніе, но наслѣдники затѣяли тяжбу, и Полина проиграла ее.

— А.... вотъ что! Ужь эти завѣщанія! А я помню Полину восемнадцати лѣтъ, еще тогда за ней ухаживалъ Сержъ Пранской. А, вотъ вы m-lle Pauline! Мы говорили о васъ и красотѣ вашей; помните ли вы Сержа Пранскаго?

— Дѣла давно минувшихъ дней, проговорила она, грустно улыбаясь.

— Quel air de victime, сказала Марѳа Ивановна тихо, —интересно, чрезвычайно интересно! А нашихъ дѣвицъ все еще нѣтъ. Пойдемте имъ на встрѣчу.

— Маменькѣ вредно ходить по росѣ, но если вамъ угодно идти со мною, сказала Полина.

Въ это самое время въ темной липовой аллеѣ послышался звонкій смѣхъ, и вслѣдъ за тѣмъ бѣлыя стройныя тѣни замелькали и, обрисовываясь яснѣе между темной зеленью, подошли къ балкону, держась за руку. Это были двѣ дѣвушки почти одного росту, почти однихъ лѣтъ, но не одинаковой красоты. Катя была свѣжая, краснощекая брюнетка, Соня Якшина была блондинка, какихъ мало. Волосы ея были до того свиты, что въ извивахъ своихъ они отливали серебромъ; ихъ глянецъ, ихъ изобиліе и ихъ мягкость были чрезвычайны. Неправильное, замѣчательное по своей бѣлизнѣ и тонкости очертаній лицо ея было еще милѣе по выраженію; въ немъ было столько причудливаго, столько граціознаго, столько умнаго, что на него нельзя было не засмотрѣться. За обѣими дѣвушками шла высокая, сухая, блѣдная m-me Вейхлеръ.

— Мы дома, мы пришли, кричала ей Катя, смѣясь.— Теперь вамъ доказано, что манто—не кузины.

— А я вамъ говорила не даромъ, что не только ничего не надѣну, а сниму еще и то, что на мнѣ, заговорила Соня,— мое слово—законъ, вы еще не знаете меня; такъ знайте же!

— Mon enfant, ты простудишься, ты будешь больна, сказала Марѳа Ивановна, порываясь къ дочери черезъ перила балкона.

— Pas de zèle, sur tout pas de zèle, maman, это говорилъ Талейранъ своимъ дипломатамъ, а я говорю вамъ, отвѣчала Соня ласково, но лукаво,—будьте умницей, maman; я не простужусь и не буду больна, и не умру! Фи! умереть,— я жить хочу. Къ чему же, я не Катя—у меня и голосокъ-то маленькій—мнѣ его беречь нечего. Не правда ли, m-me Вейхлеръ?

— Завтра, я даю въ этомъ мое слово, у m-lle Catherine двухъ нотъ не будетъ, проговорила важно сухая и чопорная нѣмка.

— Очень мнѣ нужно, сказала Катя;—что же вы думаете, что изъ-за вашихъ нотъ я должна сидѣть дома, не ходить гулять, не пить, не ѣсть...

— Искусство...

— Хорошо, хорошо, старая пѣсня, сказала Катя, смѣясь, и поцѣловавъ m-me Вейхлеръ, шепнула ей—не договаривайте и слушать не хочу.

М-me Вейхлеръ повѣсила носъ и отошла въ сторону.

— Однако пора ѣхать, сказала Марѳа Ивановна дочери.

— Что вы, maman, одиннадцати часовъ нѣтъ. М-me Вейхлеръ, который часъ? Какъ свѣтло, видны даже минуты; безъ четверти одиннадцать, сказала Соня, глядя на часы изъподъ руки m-me Вейхлеръ.

— Какъ поздно! Пора, пора! воскликнула мать.

— Какъ рано! закричала дочь въ одно время.

— Сейчасъ подадутъ ужинать, сказалъ Петръ Ѳедоровичъ, появляясь въ стеклянной двери гостиной, выходившей на балконъ.— Мы, деревенскіе жители, гостей не отпускаемъ безъ ужина.

— Благодарю васъ, но я не ужинаю; къ тому же я не привыкла къ вашимъ дорогамъ; эти колеи, канавы, изгороди, quelle horreur! Того и гляди вывалятъ карету.

— Да гдѣ же въ деревнѣ нѣтъ канавъ? У насъ здѣсь земли немного и даже паровыя поля...

— Что это такое паровыя поля? прервала его Марѳа Ивановна.

— Слѣпымъ красокъ не кажутъ, отвѣчалъ Петръ Ѳедоровичъ.—Вамъ, дамамъ большого круга, ничего не растолкуешь, и надо подивиться, какъ это вы управляете имѣніемъ.

Полина улыбнулась, Марѳа Ивановна пожала плечами съ великосвѣтскимъ презрѣніемъ.

— Je ne m'en soucie pas, сказала она,—но ваши канавы гибельны для экипажей.

— Да что же кучеръ вашъ слѣпой, что ли? спросилъ хозяинъ.

— Если не видно.

— Помилуйте, мѣсяцъ взошелъ; Катя сейчасъ смотрѣла на часы; вотъ еслибы октябрьская осенняя ночь, дѣло другое, да и то, я съ охоты возвращался отъ пріятелей, далеко за полночь—и возвратился цѣлъ и невредимъ, какъ видите.

— А у васъ бываетъ охота aux chiens courants? спросила Соня.

— По нашему, по просту, охота за зайцами съ гончими и съ борзыми, сказалъ Петръ Ѳедоровичъ.—Въ августѣ когда рожь сожнутъ, милости просимъ, я васъ потѣшу. Моя Катя молодецъ, нѣсколько разъ бывала со мною даже и въ отъѣзжемъ полѣ.

— Возьмите и меня, непремѣнно возьмите! вскричала Соня.

— Что ты, Соня, ни за что! сказала мать.

— И полноте, maman, что за пустяки, когда мнѣ хочется.

— Да я никогда не привыкну къ мысли, что ты скачешь, можешь убиться... сломить шею... я не пущу тебя...

— До августа далеко и привыкните, и пустите, а упасть—я не упаду и шею на охотѣ не сломаю; развѣ гдѣ въ другомъ мѣстѣ, можетъ быть, я за себя не поручусь.

— Ну, voyons, хочешь ѣхать домой, mon enfant? спросила мать.

— Нѣтъ, maman, не хочу—насъ просятъ ужинать, я остаюсь ужинать и еще поболтаю съ Катей. Мы не успѣли поговорить, все гуляли, бѣгали, катались.

— Пожалуй, какъ хочешь; не хотите ли идти въ комнату, здѣсь какъ-то сыро, сказала Марѳа Ивановна, обращаясь къ хозяйкѣ.

Старыя дамы встали и вышли въ гостиную, за ними пошла Полина объ руку съ m-me Вейхлеръ. Катя и Соня остались вдвоемъ.

— Я забыла спросить у тебя, сказала Катя, отчего Трескинъ не пріѣхалъ съ вами?

— Спроси у него: капризъ.

— Я никакъ не воображала, чтобы онъ былъ капризенъ.

— Если по правдѣ сказать, я больше бы любила его, еслибъ онъ былъ капризнѣе, сказала Соня, смѣясь.—Его благоразуміе не возможно, и я не понимаю, какъ онъ съ этимъ благоразуміемъ могъ въ меня влюбиться.

— Можно ли понять тебя, возразила Катя,—говоришь, что онъ изъ каприза не пріѣхалъ къ намъ, а потомъ жалѣешь, что онъ не довольно капризенъ.

— Сказать по правдѣ, я сильно его раздразнила, сказала Соня, смѣясь.—Не жалѣй его, Катя! ему это здорово; это волнуетъ кровь, а у него рыбья кровь.

— Какія же однако его отношенія съ тобою? Что онъ —женихъ твой, ты дала ему слово?

— И не думала; онъ сватался, я не сказала ни да, ни нѣтъ. Я не могу такъ скоро рѣшиться идти за мужъ и разстаться съ свободой. Она мнѣ дороже всего на свѣтѣ.

— Ты его не любишь?

— Не знаю; иногда люблю, иногда нѣтъ. Видишь ли, главное въ томъ, что онъ не подходитъ подъ мой идеалъ мужа. Я бы хотѣла любить и бояться и съ смущеніемъ и страхомъ повиноваться безусловно тому, котораго полюблю. Ничего подобнаго я не испытываю при Трескинѣ. Читала ли ты въ романахъ описанія такой любви? Если они описы-

ваютъ, стало быть, она еще существуетъ; я бы хотѣла испытать именно такую любовь.

— Я не читаю романовъ, сказала Катя.

— Отчего это?

— Маменька не любитъ и говоритъ, что большая часть романовъ представляютъ жизнь въ превратномъ видѣ. Но какая ты, однако, странная. Мать избаловала тебя, ты дѣлаешь что хочешь, и мечтаешь, ищешь тирана мужа.

Соня задумалась.

— О чемъ ты думаешь?

— О Трескинѣ. Онъ рѣшительно не мой идеалъ. Имя его самое прозаическое: Иванъ; что такое Иванъ? Какъ ни поверни все выйдетъ пошло: Jean, Жано, Ваня, фи! какая гадость! Еслибъ онъ назывался Arthur, я бы любила его больше, право, больше. Ну, хотя бы Владиміръ! А то Jean, Иванъ... И Соня звонко разсмѣялась.

— О чемъ же ты смѣешься? спросила Катя.

— Да надъ собою: я иногда совершенный ребенокъ; но согласись, что Иванъ некрасивое имя.

— Согласна.

— Сознаешь, что надо выкупить это имя многими совершенствами; ни я, ни маменька мы не сходимся ни въ чемъ съ Трескинымъ, и у насъ безпрерывно споры. Онъ ждетъ скоро своего брата, который долженъ пріѣхать. Онъ мнѣ насказалъ о немъ столько, что я желаю видѣть его и не дождусь его пріѣзда. Какъ скоро онъ пріѣдетъ, я тотчасъ привезу его къ вамъ.

— Соня, поѣдемъ пора, сказала Марѳа Ивановна, выглядывая изъ двери.

Соня встала и пошла въ гостиную. Начались прощанія, и вслѣдъ за тѣмъ всѣ вышли въ переднюю, гдѣ Марѳа Ивановна принялась застегивать салопъ Сони; пока она

это дѣлала, Соня незамѣтно сняла свой галстукъ, украдкой глядя на Катю и улыбаясь лукаво; когда же мать надѣла ей шляпку, будто она была двухлѣтнее дитя, то оказалось, что Соня разстегнула манто и нечаянно спустила его съ плечъ, чего ея болтавшая, обертываясь направо и налѣво, мать вовсе не замѣчала.

— Когда же вы къ намъ? спросила Марѳа Ивановна у Глафиры Николаевны.

— Не знаю право; если Павелъ не пріѣдетъ на этой недѣлѣ, я постараюсь пріѣхать къ вамъ.

— А вы, Петръ Ѳедоровичъ?

— Меня прошу извинить и уволить. Я Пашу не видалъ четыре года и не жилъ съ нимъ ровно съ тѣхъ поръ, какъ онъ вступилъ въ пансіонъ, то-есть, лѣтъ двадцать тому назадъ. Я до его пріѣзда не сдѣлаю ни шагу вонъ изъ дому.

— Понимаю, понимаю; сынъ—un unique enfant, un héritier.

— Ну, нѣтъ, у насъ и дочери есть, мы и дочерей любимъ; но я давно не видалъ сына, а онъ поможетъ мнѣ по хозяйству, которое мнѣ сильно прискучило.

— Ахъ, папа, какой вы неблагодарный, сказала Катя, становясь на цыпочки и обнимая отца; — а кто ѣздилъ съ вами на сѣнокосъ, кто сидѣлъ около копенъ сѣна, кто лежитъ на ржи во время жнитва, кто роется съ утра до вечера въ клумбахъ вашихъ... скажите?..

— И ломаетъ георгины, какъ вчера, и мнетъ розаны всякій день, возразилъ Петръ Ѳедоровичъ.

— Такъ-то! Мнетъ розаны! Хорошо, ступайте въ другой разъ одни и подвязывайте одни свои розы и одни срѣзывайте засохшіе сучья.

— Ну, полно, дурочка, сказалъ отецъ, улыбаясь и трепля ее по щекѣ.

Она прыгнула ему на шею.

— Милый папа!

Онъ звонко на всю комнату поцѣловалъ ее.

— Que c'est touchant! воскликнула Марѳа Ивановна, садясь въ свою карету, помнившую чуть не царя Гороха.

Полина разсмѣялась послѣднему восклицанію Марѳы Ивановны и вышла съ сестрой изъ передней. Скоро сытный ужинъ, при свѣтѣ двухъ огромныхъ старинныхъ канделябръ, соединилъ за столомъ семейство Сурминовыхъ. Заткнувъ салфетку въ петлю сюртука и похваливая каждое блюдо, старикъ кушалъ съ необыкновеннымъ аппетитомъ. Щеки его лоснились, двойной подбородокъ его колебался отъ усиленной работы челюстей, и самъ онъ пыхтѣлъ, оканчивая огромныя порціи. Жена его и дочери, давно кончившія ужинъ, сидѣли и ждали, пока онъ кончитъ его въ свою очередь. Наконецъ онъ взялъ салфетку, отеръ лицо, руки; всталъ, вздохнулъ, какъ послѣ трудной работы и сказалъ, обнимая жену и дочерей:

— Ну, теперь пора и на боковую. Небось, часовъ двѣнадцать ужь будетъ?

Онъ отправился въ кабинетъ свой и вдругъ остановился.

— Поля, Поля! закричалъ онъ.

— Что́ прикажете, папа?

— Не забудь заказать къ завтраму поросенка подъ хрѣномъ, я нынче видѣлъ его — жирный такой! Или ужь не изжарить ли его и не начинить ли кашей? Какъ ты думаешь?

— Съ кашей онъ будетъ ужь слишкомъ жиренъ.

— Вотъ нашла бѣду, глупенькая; закажи его съ кашей. Да поди сюда, Поля...

Онъ обнялъ ее.

— Вѣдь тебѣ съ нами не скучно. Я часто думаю о тебѣ: послѣ Петербурга — деревня. А нынче эта старая болтунья такъ много говорила о твоей покойной теткѣ и прежней жизни, что мнѣ какъ-то было неловко. Мы и живемъ бѣднѣе, и съ знатью не водимся и вообще...

— Ахъ, папа! сказала Полина,—прилегая лицомъ къ его широкой груди: вы такіе добрые.

Въ голосѣ ея слышались слезы.

— Ну, полно, полно, говорилъ онъ, гладя ее по головѣ, не печалься, тамъ проиграла тяжбу, а здѣсь въ накладѣ не останешься. Я все раздѣлю вамъ поровну. Мы тебя устроимъ. Вотъ братъ пріѣдетъ.

— Прощайте, милый папа, сказала она, цѣлуя его руку и уходя поспѣшно къ себѣ.

* * *

Петръ Ѳедоровичъ Сурмиловъ, осиротѣвъ въ молодости, служилъ очень недолго въ штатской службѣ и, возвратившись въ свою усадьбу, состоявшую изъ двадцати-пяти душъ, очень недолго остался въ ней. Скука выгнала его изъ маленькаго домика, больше похожаго на избушку, чѣмъ на домъ. Гдѣ онъ былъ, что дѣлалъ, осталось покрыто мракомъ неизвѣстности; черезъ два года отсутствія онъ воротился опять въ свою небольшую усадьбу съ молодой женой, которая возбудила всеобщее любопытство. Она была такъ грустна, такъ больна, такъ слаба, что никто не могъ понять, какимъ образомъ Сурмиловъ могъ влюбиться въ нее; предположеніе о женитьбѣ по разчету не могло имѣть мѣста. Глафира Николаевна не имѣла никакого состоянія, хотя привезла съ собою много книгъ, большой рояль и довольно нарядовъ. Разспросить о ней не было возможности; съ ней не было даже горничной, а Сурмиловъ еще въ Москвѣ от-

пустилъ нарочно своего камердинера. Вообще бракъ его былъ покрытъ какою-то таинственностью, которая долго тревожила сосѣдей. Скоро, однако, всѣ полюбили Сурмилова, но не жену его; она была не разговорчива, никогда не ѣздила въ гости, и если кто-нибудь изъ сосѣдей заѣзжалъ къ ея мужу, выходила не на долго и была такъ дика или такъ утомлена, что нагоняла только скуку на посѣтителей. Обыкновенно она проводила цѣлый день въ своемъ кабинетѣ, занималась очень много и прослыла чудачкой. Только крестьяне, дворовые люди и даже жители сосѣднихъ усадебъ любили ее; она была добра ко всѣмъ, входила въ положеніе бѣдняковъ, упрашивала за нихъ мужа и часто, взявъ у него его послѣднія деньги, отдавала ихъ на необходимыя нужды крестьянъ или на лѣкарства больнымъ.

Скоро послѣ свадьбы у Сурмиловыхъ родился сынъ, а года черезъ два и дочь.

Дѣвочкѣ не было и году, когда вся окрестность была удивлена пріѣздомъ знатной, богатой дамы, окруженной многочисленной свитой лакеевъ, которыхъ и помѣстить было негдѣ въ скромной усадьбѣ Сурмиловыхъ, почему всѣхъ ихъ отправили въ ближайшій городъ.

Гостья была богатая сестра Сурмиловой, которая уѣзжая увезла съ собою дочь ея.

Глафира Николаевна долго не могла утѣшиться и сильно тосковала; маленькій сынъ, которому было два года, не могъ замѣнить ей дочери, и Петръ Ѳедоровичъ тѣмъ больше любилъ сына, что ему казалось, что мать не была къ нему привязана.

Маленькій Павлуша былъ красавецъ собою, и когда ему минуло девять лѣтъ, Глафира Николаевна рѣшила серьезно просить мужа взять къ нему кого нибудь, или отдать его въ казенное заведеніе. Но мужъ избѣгалъ подобныхъ разговоровъ и отдѣлывался отъ нихъ молчаніемъ.

Въ это время родилась у нихъ вторая дочь Катя, расходы увеличились—надо было учить Павла, а денегъ не было.

Сурмиловы жили бѣдно, хотя богатая сестра Глафиры Николаевны не забывала ихъ и присылала и деньги, и наряды, и зная ея страсть къ чтенію, огромные ящики книгъ.

Глафира Николаевна и въ этомъ случаѣ обратилась къ сестрѣ, которая написала письмо Сурмилову, прося его прислать Павла въ Петербургъ. Она обѣщала помѣстить его въ лучшій пансіонъ и заботиться о его будущности.

Но письмо было поводомъ къ первому домашнему несогласію. Петръ Ѳедоровичъ все не рѣшался разстаться съ сыномъ, и когда наконецъ настойчивость и просьбы жены убѣдили его, онъ упрекнулъ ее въ совершенномъ равнодушіи къ сыну.

— Тебѣ бы слѣдовало быть нѣжной матерью; ты сама должна знать, сказалъ онъ ей,—какъ горько быть не любимой родителями.

Глафира Николаевна замолчала и въ продолженіе нѣсколькихъ дней плакала.

Сурмиловъ не могъ вынести слезъ жены; онъ помирился съ нею и на другой же день сталъ собираться въ Петербургъ, къ совершенному отчаянію Павла, который не хотѣлъ оставить деревни, гдѣ онъ пользовался неограниченной свободой и повелѣвалъ дворовыми.

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ этого Петръ Ѳедоровичъ получилъ неожиданное богатое наслѣдство и перебрался жить въ свое новое имѣнье, гдѣ мы съ нимъ и познакомились.

Тамъ прошли для Сурмиловыхъ многіе, долгіе, счастливые годы, посреди мирной семейной жизни, съ меньшой дочерью, которая сдѣлалась любимицей и единственной отрадой отца и матери.

Однажды Глафира Николаевна узнала отъ мужа о смерти сестры своей; это былъ тяжелый ударъ для нея; по завѣщанію сестра ея оставила Полинѣ значительную часть своего огромнаго состоянія, но прямые ея наслѣдники затѣяли тяжбу; Полина проиграла ее и возвратилась къ отцу и матери, которые встрѣтили дочь съ радостью.

Полина не знала родныхъ своихъ, и еще убитая горемъ послѣ недавней потери своей, невольно отдалялась отъ нихъ и большую часть времени проводила въ своей комнатѣ.

Глафира Николаевна, сосредоточенная въ себѣ, не знала, не умѣла высказывать своихъ чувствъ дочери, хотя и была по своему внимательна и ласкова къ ней.

Полина скорѣе привыкла къ отцу и мало по малу, видя, что мать не слишкомъ способна заниматься хозяйствомъ, заступила мѣсто Варвары Терентьевны, экономки, чѣмъ угодила отцу, который особенно любилъ хорошо ѣсть и пить. Эта ничтожная, по видимому, причина повела ихъ къ дальнѣйшему сближенію, и разговоры ихъ, начавшіеся по поводу обѣдовъ и ужиновъ, мало по малу завели ихъ дальше и были первымъ поводомъ къ ихъ близости.

Полина жила у отца около двухъ лѣтъ, когда Павелъ, служившій въ гвардіи, написалъ, что служба надоѣла ему, что онъ выходитъ въ отставку и пріѣдетъ жить съ семействомъ.

* * *

На другой день послѣ отъѣзда Якшиныхъ, Катя пришла утромъ въ комнату сестры своей и застала ее еще въ постели.

— Вставай, нѣжница, сказала она, безцеремонно схвативъ ее за руку и тряся ее изо всей силы.

Полина открыла полусонные глаза.

— Помилуй, десятый часъ, продолжала она и потомъ прибавила, смѣясь: Но вы—петербургская дама и въ вашемъ знатномъ кругу встаютъ часовъ въ двѣнадцать.

— Не правда, я вставала всегда въ десять, когда жила съ maman (Полина называла тетку свою матерью). Но вчера я легла очень поздно, продолжала она разсѣянно.

— Что жь ты дѣлала?

— Долго говорила съ m-me Вейхлеръ; ты знаешь, моя прошлая жизнь ей извѣстна; она была подлѣ меня съ малолѣтства и нѣжно ко мнѣ привязана, быть можетъ, слишкомъ нѣжно. Когда m-me Вейхлеръ ушла, я задумалась и уснула со свѣтомъ.

Катя сидѣла у изголовья сестры и сперва улыбалась; но мало по малу улыбка изчезла съ лица ея, и оно сдѣлалось печально.

— У тебя есть горе? спросила она наконецъ несмѣло.

— У кого нѣтъ горя; но передо мною еще будущее, и оно-то пугаетъ меня, потому что я почти знаю, что̀ ждетъ меня впереди.

— Кто можетъ знать это? Да и къ чему думать о будущемъ?

— Тебѣ, разумѣется, не надо думать о будущемъ, а мнѣ не думать о немъ было бы безразсудно.

— Какая разница между тобою и мною? спросила Катя.

— Та, что ты любимая дочь, а я почти чужая.

— Полина, развѣ тебѣ... начала было Катя и вдругъ замолчала.

— Дурно въ домѣ отца и матери, хотѣла ты сказать и испугалась собственной мысли, проговорила Полина грустно.—Нѣтъ, дитя мое, мнѣ не дурно и не можетъ быть дурно; кто добрѣе отца нашего?

— Ты молчишь о маменькѣ, возразила Катя, вспыхнувъ.

— Не знаю, что сказать тебѣ о ней, Катя. Маменька кротка, безпритязательна, но мнѣ кажется, что если она умѣетъ любить, то развѣ немногихъ. Мнѣ кажется, что она любитъ... одну тебя.

Катя сдѣлала быстрое отрицательное движеніе, но Полина не дала ей времени выговорить своей мысли и продолжала:

— Слушай, Катя, сказала она,—я никогда не говорила съ тобой откровенно, но теперь я едва ли не рада случаю высказаться. Мнѣ не было и году, когда меня отдали теткѣ. Я росла далеко отъ семьи и матери; мои печали, мои радости, всѣ треволненія жизни моей ей не извѣстны. Я видѣла мать мою разъ въ три года, да и то нѣсколько дней. Я возвратилась къ ней двадцати семи лѣтъ; она приняла меня ласково, но не искала сближенія, не спросила даже о томъ, что разбило жизнь мою; словомъ, мать моя показала мнѣ мало участія, точно я ей чужая. Я не виню ея, но часто плачу надъ собою. Моя жизнь горька. Потерявъ мать въ теткѣ, я потеряла съ ней всю мою семью; вѣдь вы не знали меня, а я васъ.

— Павелъ былъ съ тобою въ Петербургѣ, сказала Катя.

— Не совсѣмъ, сказала Полина;—онъ воспитывался въ учебномъ заведеніи и пріѣзжалъ къ намъ только по праздникамъ. Позднѣе, когда я выѣзжала, а онъ служилъ, я видѣла его въ свѣтѣ и рѣдко видала запросто; тетка не слишкомъ любила его. Пойми меня, однако, милая сестра: я не жалуюсь; потерявъ всѣ надежды, потерявъ еще больше, о чемъ говорить теперь я не имѣю силъ, я пріѣхала сюда въ домъ отца и матери: я знаю, что я здѣсь хозяйка больше, чѣмъ сама маменька; но не этого хотѣла я. Я бы хотѣла больше зависимости и больше участія, дружбы и ласки. Мое положеніе у васъ самое шаткое.

— Почему? спросила Катя.

— Почему... не знаю; но ты увидишь, будущее оправдаетъ мои предчувствія. Жизнь долга и разнообразна. Мнѣ двадцать семь лѣтъ, я здорова: передо мною длинная жизнь.

— Я не спорю, сказала Катя тихо,—что тебѣ было тяжело потерять состояніе, потерять... Она смутилась, замолчала и покраснѣла.

— Меня не слишкомъ страшитъ недостатокъ состоянія, но знаешь ли, что страшитъ меня: одиночество. Слово сказано, другъ мой.

— Одиночество, воскликнула Катя,—одиночество, имѣя отца, брата, сестру...

— Отецъ старъ; мать... но я уже сказала тебѣ, что между нами нѣтъ связи, связи искренней и крѣпкой. Къ тому же ты слишкомъ молода и не поймешь еще великое слово жизни: нельзя жить чужой жизнью, всякому нужна своя собственная, а я боюсь, что моя погибла безвозвратно.

— Однако, сказала Катя,—дружба такъ связываетъ людей, что мы вносимъ въ жизнь другого, любимаго нами, ту долю нѣжности, при которой не возможно чувствовать себя одинокой.

— Ты, отчасти, права, сказала Полина задумчиво;—но полно, перестань, мы смутили другъ друга. Твое личико стало задумчиво, и я сердита на себя, что позволила себѣ говорить съ тобою какъ съ дѣвушкой, а не какъ съ ребенкомъ. Оставайся ребенкомъ, какъ можно дольше.

— Я и не желаю попасть скоро въ взрослые; мнѣ такъ хорошо, что, вѣришь ли, я жалѣю о всякомъ прошломъ днѣ, такъ бы и хотѣлось воротить его.

— Дай Богъ тебѣ долго сохранить это чувство сознанія счастья; оно немногимъ дано на долю. Мы всѣ смолоду

спѣшимъ жить, рвемся впередъ, а впереди что? Да, я уже испытала это, и мнѣ страшно заглядывать въ будущее.

Обѣ сестры замолчали. Горничная вошла въ комнату.

— Прасковья Петровна, сказала она,—поваръ дожидается. Что прикажете готовить къ обѣду?

— Ахъ, Боже мой! Я опоздала, а папа вчера приказывалъ приготовить ему поросенка съ кашей, вотъ бѣда!

И поспѣшно накинувъ щегольской капотъ, остатокъ прежней роскоши, Полина вышла изъ комнаты. Отпустивъ повара, она занялась съ экономкой, пришедшей за приказаніями, и потомъ, сыскавъ дѣтей въ саду, сѣла съ ними за урокъ. Катя пѣла въ залѣ, но была ли она смущена недавнимъ разговоромъ съ сестрою, или дѣйствительно охрипла послѣ вчерашняго поздняго гулянья, только пѣніе ея не было удачно. Не смотря на ворчанье m-me Вейхлеръ, Катя встала, свернула ноты и вошла въ кабинетъ матери. Это былъ уютный маленькій уголокъ, увѣшанный картинами, старинными гравюрами; въ одномъ углу стоялъ большой рояль, въ другомъ письменный столъ и этажерки, буквально заваленныя книгами. У стѣны стоялъ небольшой диванъ, кушетка, круглый столъ и нѣсколько креселъ. Глафира Николаевна сидѣла въ креслахъ и пристально читала. Увидѣвъ Катю, она улыбнулась ей, но не отрывая глазъ отъ книги; Катя бросилась къ матери и осыпала ее поцѣлуями.

— Ну полно, перестань, дурочка, говорила ей мать,— да полно же, ты мнѣ мѣшаешь.

— Къ вамъ подойти нельзя, сказала Катя,—сейчасъ скажите, что вамъ мѣшаютъ. Ничего-то вы меня не любите!

— Не говори глупостей, прервала ее мать съ досадой, —и главное не мѣшай мнѣ.

— Ну, хорошо, хорошо, возразила Катя,—но я намѣрена нынче прибрать кабинетъ вамъ; взгляните-ка, на что

онъ похожъ? Тутъ пыль, здѣсь груда книгъ, тамъ ноты, разбросанныя повсюду. Ай, ай, ай, даже на полу книги и ноты—взгляните! Какія вы безпорядочныя, милая мамаша!

И Катя принялась разбирать книги и ноты и убирать ихъ въ маленькій шкафъ, послѣ чего выскочила вонъ изъ комнаты, хлопнула дверью, отчего мать ея сильно вздрогнула, потомъ прибѣжала опять съ крыломъ въ рукѣ и подняла такую пыль, что Глафира Николаевна закашлялась.

— Да что ты тутъ дѣлаешь? спросила она съ досадой, взглянувъ на Катю.

Катя разразилась дѣтскимъ смѣхомъ.

— Ахъ, какъ вы разсѣяны, мама, какъ вы разсѣяны! Развѣ вы не видите, что я убираю кабинетъ вашъ? Вы даже забыли, что вы сейчасъ сгрубили мнѣ, сказавъ, что я вамъ наскучила. Наскучила! Ну, а скажите, кто безъ Кати будетъ все убирать у васъ, кто будетъ васъ любить, кто будетъ смѣшить, кто будетъ мучить?

— Полно болтать, попугай, сказала Глафира Николаевна, улыбаясь и уже оставивъ книгу; ея глаза глядѣли на Катю такъ привѣтливо, такъ ласково, что Катя бросилась къ ней на шею, сѣла на колѣни ея и, обнявъ ее, опять расцѣловала.

— Ты измяла мою манишку, шалунья, сказала ей мать, оправляя уже безъ досады совершенно смятую манишку свою.

— Я знаю твои штуки, продолжала Глафира Николаевна,—и тотчасъ угадала, что ты чего-то хочешь отъ меня; ну, говори, глупенькая, чего тебѣ надобно? Ты видишь, я бросила книгу и вся твоя. Говори, я слушаю.

— Я хотѣла поговорить съ вами серьезно, мамаша.

— Что это за новости?

— Что жь, развѣ я осуждена на вѣчное дѣтство? Мнѣ ужь скоро восемнадцать лѣтъ.

— Будь ребенкомъ какъ можно долѣе.

— Мама, развѣ вы не подумали, что остаться ребенкомъ даже и тогда, когда мы выросли, значитъ быть эгоистомъ? А я думаю, мы съ вами, мама, были... какъ бы это сказать, немного похожи на эгоистовъ!

— Это что значитъ? спросила Глафира Николаевна съ удивленіемъ.

— Мы мало любили Полину. Она пріѣхала къ намъ какъ въ чужой домъ, не зная насъ, а она вамъ дочь и мнѣ сестра. Она живетъ тутъ вотъ уже два года, и ни одна изъ насъ, ни вы, ни я, не подумали вглядѣться въ нее и узнать, счастлива ли она?

— Ты меня обвиняешь уже такъ скоро, сказала медленно Глафира Николаевна, глядя пристально на дочь.—Мы не успѣемъ вырастить дѣтей, какъ они судятъ и осуждаютъ насъ, это грустно.

— Что вы мамаша? Я и не думала, сказала Катя грустно.

— Можетъ быть; въ такомъ случаѣ ты, не подумавъ, обвинила меня; прежде чѣмъ обвинять, не лучше ли спросить, почему я не говорила съ Полиной? А если у меня есть *свои* причины, если я знаю горе ея, но не могу помочь ему; мало того, могу только его удвоить. Она жаловалась! Зачѣмъ же она не пришла прямо ко мнѣ? Зачѣмъ послала тебя?

— Она не жаловалась и не посылала меня къ вамъ; если вы разскажете ей, что я говорила объ ней, вы только лишите меня ея довѣренности. Я виновата, если я огорчила васъ, вдвое виновата, если въ глубинѣ души обвинила васъ, но я должна была говорить съ вами. Ужели вы захотите, чтобы я думала и молчала и не дѣлила съ вами мыслей моихъ, теперь, когда я взрослая дѣвушка? Вспомните, что съ дѣтства я привыкла все повѣрять вамъ.

— Да, дитя мое, ты права; будь откровенна со мною, а повѣрь, что если я молчу, то имѣю свои причины молчать. Поля старшая дочь моя, первое дитя мое, я люблю ее также, какъ тебя, люблю васъ равно, хотя я лучше знаю тебя потому, что ты выросла на глазахъ моихъ; ты сама лучше знаешь мой характеръ. Скажи Полѣ, что я люблю ее,—слышишь ли? Сама я не скажу ей этого; это бы могло повести насъ къ объясненіямъ, которыя мнѣ будутъ тяжелы. Я сдѣлалась въ этомъ отношеніи эгоистична и избѣгаю лишнихъ волненій, я боюсь ихъ.

Въ это время въ залѣ послышались тяжелые шаги, которые прошли гостиную и приближались къ кабинету; дверь его, сильно щелкнувъ, растворилась, и добродушная фигура Петра Ѳедоровича показалась въ дверяхъ. Глафира Николаевна была еще разстроена разговоромъ съ дочерью и взялась поспѣшно за книгу, чтобы скрыть свое смущеніе.

— Ба! ба! ба! закричалъ Петръ Ѳедоровичъ,—опять уткнула носъ въ книгу. Побойся Бога, Глаша; пора завтракать, а ты все читаешь. А гдѣ Поля? Поля все сидитъ одна; отчего ее никогда нѣтъ съ вами?

— Я позову ее, сказала Катя.

Петръ Ѳедоровичъ тяжело сѣлъ въ кресло, сильно вдохнулъ воздухъ и потянулъ ноги, при чемъ кресло крякнуло такъ сильно, что Глафира Николаевна вскрикнула:

— Пьеръ, пощади, изломаешь и этотъ стулъ.

— Ну что жь такое, я велю сдѣлать другой.

— Благодарю тебя, мнѣ и этотъ хорошъ, я не люблю мѣнять мебели. Мнѣ другой не надо.

— Ну, вотъ, ужь и разсердилась; Глаша, а Глаша, хочешь я сяду на полъ, сказалъ онъ, смѣясь, и прибавилъ серьезнѣе:—По прежнему, по старинному, помнишь, какъ бывало я сиживалъ у ногъ твоихъ.

Она улыбнулась.

— Вотъ такъ-то, прибавилъ онъ добродушно.—Какая ты избалованная!

— Это правда, ты избаловалъ меня, сказала она тихо.

Катя вбѣжала въ комнату.

— Знаете ли, гдѣ Поля? Угадайте?

— Вѣрно, учитъ племянниковъ.

— Нѣтъ, не то.

— Ну, гуляетъ.

— Вотъ еще выдумали. Не тутъ-то было.

— Ну полно, Катя, мнѣ некогда болтать съ тобою; я усталъ до смерти и голоденъ какъ волкъ, вели давать завтракать.

— Угадайте, гдѣ Поля, и вамъ дадутъ кушать.

— Шалунья! сказалъ отецъ, выходя изъ комнаты.

— Полно шалить, Катя, всему есть мѣра, сказала ей мать серьезно;—отцу хочется завтракать, а ты вздоръ болтаешь.

— Полноте, мама, безъ васъ знаютъ. Ужели вы воображаете, что мы не подумали о папа? Поля сама на кухнѣ и готовитъ ему какіе-то сочни, особаго рода. Посмотрите, прибавила Катя, заглядывая въ отворенную дверь кабинета, изъ которой была видна часть залы,—да поглядите же!

Глафира Николаевна встала. Въ залѣ у накрытаго стола стоялъ Петръ Ѳедоровичъ, а Поля держала передъ нимъ дымившіеся на горячей сковородѣ сочни.

Лицо и щеки ея пылали яркимъ румянцемъ, глаза блестѣли отъ удовольствія.

— Какъ ты разскраснѣлась, душечка! сказалъ отецъ.

— Въ кухнѣ такъ жарко, отвѣтила она просто.

— Боже мой! пробормотала m-me Вейхлеръ,—для того ли я ее выхаживала, лелѣяла! Что бы сказала покойная тетка

ея? Экономка, а теперь кухарка.—И старая дама грустно покачала головой и потомъ опустила ее на свою работу.

— Поставь сковороду, поставь, не обожги ручекъ, говорилъ Петръ Ѳедоровичъ,—золотыя ручки! Неужели ты сама, ты одна пекла сочни?

— Сама, папа, но не одна, возразила Поля, улыбаясь. —Аксинья помогала мнѣ; она, вы знаете, мастерица печь пироги и лепешки.

— Ахъ ты, моя умница, моя голубушка, сказалъ отецъ, садясь за столъ и продѣвая салфетку въ петлицу сюртука своего. Полина стояла передъ нимъ; Катя и мать ея пришли и сѣли за столъ.

— Что же ты сама не кушаешь? спросила мать у Полины.

— Мнѣ не хочется; я лучше пойду отыщу дѣтей.

Но дѣти, уже предчувствуя завтракъ, врывались въ залу, уже придвигали стулья къ столу и взлѣзали на нихъ; Глафира Николаевна помогала дочерямъ усаживать племянниковъ, но давъ имъ по лепешкѣ, уже позабыла о нихъ и задумалась Богъ вѣсть о чемъ; быть можетъ, горе первоначальныхъ лѣтъ перешло у нея въ привычку, и отъ того она была вѣчно разсѣяна, вѣчно задумчива. Глафира Николаевна не слыхала уже, что одинъ изъ дѣтей просилъ чего-то и начиналъ уже хныкать.

— Глаша, сказалъ Петръ Ѳедоровичъ,—не берись не за свое дѣло; Катя разрѣжь ему сочню. Этотъ мальчуганъ обжегся! Ужь эти дѣти—покойно поѣсть не дадутъ! И ты! Ну, ужь хозяйка! Ну, ужь жена! Не будь дочерей, пропалъ бы я съ тобою! Ни кому ты не нужна, ни на что ты не способна! Петръ Ѳедоровичъ залился смѣхомъ, а Глафира Николаевна измѣнилась въ лицѣ и тотчасъ вышла изъ комнаты.

Катя и Полина переглянулись; имъ была непріятна шутка отца: онѣ знали, что мать обидчива.

— Папа, сказала Катя,—вы опечалили маменьку. Вы знаете, какъ она любитъ васъ, она нарочно для васъ пришла къ завтраку, а вы сказали...

— Что я сказалъ? Что вы, рехнулись, что ли, заворчалъ старикъ, которому не удалось спокойно позавтракать. —Да что съ ней? Да гдѣ она? ушла! Глаша, а Глаша! И старикъ, бросивъ салфетку, поспѣшно отправился за женой.

— Какъ добръ, сказала Полина.

— Глаша, что съ тобой, милая моя? говорилъ старикъ, взявъ жену за руку.

— Да вѣдь это правда, другъ мой, отвѣчала она печально,—что я здѣсь никому не нужна. Я сама не рада, что я такая. Меня часто томитъ мысль, что я никому не нужна, и когда другіе сомнѣваются въ любви моей, онѣ правы. Я ни на что не гожусь. Я не нужна вамъ.

— Христосъ съ тобою! возразилъ мужъ жарко, съ непривычнымъ чувствомъ въ голосѣ.—Ты не нужна! А безъ тебя, знаешь ли, здѣсь души не будетъ. Безъ тебя и я, и дѣти, мы пропадемъ—я это знаю. Ты вся жизнь наша. Неужели ты до сихъ поръ этого не знаешь? Я ѣмъ, пью и люблю ѣсть и пить, но безъ тебя мнѣ кусокъ въ ротъ не пойдетъ.

Она улыбнулась.

— Я, не смотря на мою лѣнь, люблю тебя больше всего на свѣтѣ. Я тебѣ всѣмъ обязанъ, даже тѣмъ, что еще не совсѣмъ объѣлся, прибавилъ онъ, перемѣняя тонъ и видя, что жена улыбается, онъ разсмѣялся, полновѣсно поцѣловавъ ее и садясь опять завтракать, произнесъ съ комической досадой:

— А сочни-то простыли!

* * *

Въ тотъ же день вечеромъ, при блескѣ заходящаго солнца и тишинѣ наступившаго лѣтняго вечера, все семейство вышло на балконъ. Катя и отецъ ея, вооружившись огромными лейками, черпали воду изъ близъ стоящихъ чановъ и принялись заботливо поливать клумбы цвѣтовъ, утомленныхъ зноемъ іюльскаго дня. Пока они усердно хлопотали около любимцевъ своихъ, Глафира Николаевна съ работой въ рукахъ усѣлась на балконѣ, но руки ея опускались на колѣни вмѣстѣ съ забытой работой. Когда глаза ея упадали на дочь и мужа; безсознательная, полная любви и спокойствія улыбка, оживляла ея кроткую физіономію.

Полина ходила по аллеѣ съ m-me Вейхлеръ. Разговоръ ихъ почти всегда вертѣлся около одного и того же предмета.

M-me Вейхлеръ не могла примириться съ участью Полины; когда-то она мечтала, что увидитъ ее замужемъ, богатой, знатной, блестящей дамой, и вотъ всѣ ея надежды рухнули. Полина въ глуши, въ домѣ, положимъ, добраго, но безпечнаго отца, съ странно равнодушной ко всему матерью; и на то ли родилась Полина, чтобы быть экономкой, почти кухаркой и няней двухъ племянниковъ, съ которыми она едва могла сладить? Такое ли было ея воспитаніе въ домѣ богатой, знатной, обожавшей ее тетки? На то ли ее готовили? Малѣйшую непріятность, малѣйшую невнимательность къ Полинѣ m-me Вейхлеръ высчитывала и раздувала. Напрасно Полина, давно покорившаяся своей участи, представляла m-me Вейхлеръ свое положеніе въ лучшемъ свѣтѣ, m-me Вейхлеръ твердила свое и, быть можетъ, безсознательно. Полина проявляла въ этихъ разговорахъ свою постоянную задумчивость. Добрая m-me Вейхлеръ, обожая Полину, не понимала, какой вредъ она наносила своей лю-

бимицѣ, безпрестанно шевеля въ ней безплодныя сожалѣнія о прошломъ и внушая ей безнадежное недовѣріе къ будущему, которое дѣйствительно не было слишкомъ розово. Семейная жизнь Сурмиловыхъ была такъ спокойна, такъ мирна, такъ однообразна, что въ ней можно было забыться и позабыть прошедшее, но именно этого-то и не допускала неблагоразумная любовь m-me Вейхлеръ.

Полина, возвратясь съ прогулки, сѣла подлѣ матери.

Смотря на этихъ двухъ женщинъ, въ нихъ нельзя было не признать матери и дочери,—такъ сходны были онѣ по выраженію, хотя одна была въ полномъ развитіи лѣтъ, а другая давно уже сходила внизъ по той дорогѣ, которая ведетъ къ старости и могилѣ. Теперь онѣ сидѣли рядомъ, обѣ задумчивыя, обѣ грустныя, обѣ потупивъ головы; послѣдніе лучи зари зажгли небо, и оно пылало на горизонтѣ красно-яркимъ заревомъ. Цвѣты благоухали; листья деревъ тихо шелестѣли при дыханіи ночного вѣтра, и макушки высокихъ пирамидальныхъ тополей махали тихо и однообразно своими остроконечными верхушками.

Между тѣмъ среди этой гармонично спокойной природы, посреди этого патріархальнаго быта, двѣ женщины страдали, быть можетъ; по крайней мѣрѣ, на усталомъ лицѣ той и другой пробѣгала тѣнь печальныхъ мыслей. Что могло мучить ихъ? Не дано ли было имъ все, что радуетъ человѣка—довольство, семья, спокойствіе внѣшней жизни и знакомство съ жизнью внутренней? Что же могло смущать покой этихъ женщинъ среди покоя природы и мирной деревенской жизни? Что стояло передъ ними, какое привидѣніе, какой призракъ? Прошедшее, которое такъ тѣсно связано съ настоящимъ и такъ часто отравляетъ его!

Полина молчала. Мать часто взглядывала на нее, пытаясь говорить, и всякій разъ слова замирали на языкѣ ея,

отъ чувства ли фальшиваго стыда, или, быть можетъ, отъ закоренѣлой въ ней привычки сосредоточивать мысли и чувства внутри самой себя.

— Полина, сказала, наконецъ, Глафира Николаевна такъ тихо, что дочь не слыхала ее. Она принуждена была повторить ея имя. Полина вздрогнула.

— Если тебѣ тяжело, сказала ей мать кротко и тихо,— старайся прогнать тоску занятіемъ, трудомъ; это единственное средство, единственное утѣшеніе. Я испытала это сама. Повѣрь мнѣ, дитя мое, что всякому суждено въ жизни вынести многое. Я вижу, что ты несчастлива, а я была вдвое несчастнѣе тебя когда-то. Я—мать, слѣдственно, люблю тебя; я раздѣляла горе твое. Не одна сестра моя плакала съ тобою, плакала и я! Ты не писала ко мнѣ ни о чемъ, и я не могла рѣшиться писать тебѣ, хотя и знала, въ чемъ дѣло. Я не люблю напрашиваться на довѣренность. Даже и теперь тебѣ тяжело слушать меня, а мнѣ тяжело говорить; прости меня, что я тебя тревожу. Я хотѣла только просить тебя вѣрить въ меня: я люблю тебя.

Полина взяла руку матери, поцѣловала ее и вышла вонъ; ея глаза были полны слезъ при воспоминаніи, которое мать пробудила въ ней, однако Полина была не изъ тѣхъ натуръ, для которыхъ одно ласковое слово всемогуще; она не могла, долго чуждаясь, вдругъ сблизиться. Думая о матери и словахъ ея, она только сказала себѣ: „Маменька добра; Катя ей говорила обо мнѣ, и вотъ почему она стала увѣрять меня въ любви своей“. И мысль ея вдругъ обратилась къ умершей теткѣ, которую она обожала; она горько плакала цѣлый вечеръ. Родная мать, которую она мало знала, не могла замѣнить ей ея тетку, настоящую мать, которая воспитала ее, съ которой она съ дѣтства дѣлила и горе, и радость. Поздно вечеромъ глаза Полины сомкнулись благо-

дѣтельнымъ сномъ, а его видѣнія воротили въ ту прошлую жизнь, о которой она такъ тосковала; и не одно лицо умершей тетки улыбалось ей, не одно оно явилось ей въ смутныхъ видѣніяхъ сна!

* * *

Недѣли черезъ двѣ послѣ разсказанныхъ нами происшествій, домъ Сурмиловыхъ представлялъ какую-то ярмарку; дворовые люди суетились, старухи-няньки, экономки, даже горничныя тянулись изъ флигелей въ барскій домъ; разодѣтые въ праздничныхъ платьяхъ, болтая наперерывъ, они входили и выходили изъ сѣней и толпясь суетились въ домѣ и на широкомъ дворѣ его, гдѣ были накрыты длинные столы, уставленные пирогами и виномъ. Сурмиловы не возвращались еще изъ церкви, куда поѣхали служить молебенъ. Наконецъ вдали показалась линейка, запряженная четверкой, и толпа крестьянъ скоро наполнила дворъ и не совсѣмъ терпѣливо ожидала пріѣзда господъ, чтобы воспользоваться приготовленнымъ угощеніемъ. Линейка подъѣхала къ крыльцу. Прежде всѣхъ соскочилъ съ нея невысокій молодой человѣкъ, чрезвычайно красивый собою. Ему было около двадцати-пяти лѣтъ; онъ былъ худощавъ, чрезвычайно строенъ, съ бѣлокурыми вьющимися волосами, выбивавшимися изъ-подъ черной бархатной фуражки. Черты лица его были безукоризненны; свѣтло-голубые глаза его глядѣли гордо, но были лишены того выраженія томности, сантиментальности и кротости, которое считается неотъемлемой принадлежностью голубыхъ глазъ. Напротивъ того, его голубой глазъ былъ широкъ, но сухъ и холоденъ, и глядѣлъ смѣло и упорно. Тонкая, какъ нитка, но смѣлая и прямая бровь его и молодые, красивые усы придавали его лицу мужество и силу. Онъ былъ красавецъ въ полномъ смыслѣ слова; даже самый недостатокъ

роста, при пропорціональности всѣхъ членовъ и стройности движеній, казался въ немъ новой красотою. „Ростъ Аполлона Бельведерскаго", говорили о немъ женщины, побывавшія въ Италіи и влюбленныя въ вѣчную красоту статуй.

Соскочивъ съ линейки, онъ подалъ руку матери и почтительно ввелъ ее на крыльцо, потомъ обратился къ отцу, но казалось, радость придала энергіи лѣнивому Петру Ѳедоровичу, онъ молодцомъ взбѣжалъ на крыльцо и сказалъ сыну:

— Къ сестрамъ, а я еще не старъ; съ твоего пріѣзда мнѣ двадцать лѣтъ съ костей долой.

Павелъ Сурмиловъ (вы догадываетесь, моя читательница, что это былъ онъ) улыбнулся отцу, улыбнулся сестрамъ и, взявъ Катю за талію сильною рукою, поднялъ ее съ подножки и внесъ ее на крыльцо.

— Petite soeur, сказалъ онъ,—ты порядочно тяжела!

— Ну, полно, пойдемъ къ крестьянамъ и потчуй ихъ, сказалъ отецъ и, взявъ сына за руку, пошелъ къ столу.

— Ребята, вотъ сынъ мой, прошу любить и жаловать, сказалъ старикъ крестьянамъ.

— Ваше здоровье, друзья мои! проговорилъ Павелъ выпивая глотокъ простого вина. Это привѣтствіе было принято очень радушно всѣми, и скоро вино, пироги и даже столы, не устоявшіе на ногахъ къ концу угощенія, были буквально уничтожены.

Пиръ продолжался долго-долго; пѣлись пѣсни и водились хороводы передъ домомъ.

На другой день Павелъ явился въ гостиную съ многочисленными подарками; онъ не забылъ никого, ни даже старой няни своей. Катя была въ восторгѣ и показывала богатые наряды, привезенные ей братомъ. Петръ Ѳедоровичъ тоже любовался не мало дорогимъ фарфоровымъ сервизомъ,

который былъ собственно привезенъ для него. Особенно нравились ему блюда и чашки съ крышками.

— Не будутъ простывать кушанья и чай тоже, славная выдумка, твердилъ онъ поминутно.

Словомъ, Павелъ очаровалъ всѣхъ, начиная съ отца до старшей скотницы, которая хвалилась на деревнѣ, что молодой баринъ поцѣловалъ ее, когда она подходила къ ручкѣ, но всѣхъ счастливѣе, всѣхъ довольнѣе, всѣхъ веселѣе былъ Петръ Ѳедоровичъ. Онъ не могъ насмотрѣться, не могъ налюбоваться на сына. Павелъ былъ такъ уменъ, такъ веселъ, такъ остроуменъ; даже съ дворовыми онъ умѣлъ вставить гдѣ ласковое слово, гдѣ шутку, заставлявшую ухмыляться мужчинъ, смѣяться въ руку горничныхъ и повторять старухъ:—Экой шутникъ молодой-то баринъ!

Перемѣнился порядокъ дня у Сурмиловыхъ.

Петръ Ѳедоровичъ меньше рылся въ цвѣтникѣ, вовсе не спалъ послѣ обѣда, не сидѣлъ въ кабинетѣ жены и долго-долго послѣ ужина оставался съ сыномъ въ гостиной, слушая его разсказы; а эти разсказы лились рѣкою; они были такъ остроумны, такъ забавны, порою такъ ѣдки, что всѣ дамы, не исключая Каролины Карловны Вейхлеръ, помирали со смѣху. Черезъ нѣсколько дней послѣ пріѣзда Павла Петръ Ѳедоровичъ въ свою очередь захватилъ Павла для себя одного и къ совершенному неудовольствію Кати, которая не могла разстаться съ братомъ, сталъ посвящать сына во всѣ домашнія распоряженія. Петръ Ѳедоровичъ имѣлъ слабость думать, что онъ большой хозяинъ, хотя его заботы по хозяйству оканчивались тѣмъ, что онъ ѣздилъ пить чай на сѣнокосъ и полдничалъ въ полѣ во время жнитва, что не мѣшало ему долго и много говорить о хозяйствѣ и агрономіи.

Павелъ еще менѣе отца смыслилъ въ агрономіи, но за то

не меньше отца любовался роскошью, устройствомъ и прелестью цвѣтниковъ, которые въ сущности были единственнымъ серьезнымъ занятіемъ Сурмилова.

Вырвавшись изъ города, отъ стѣснительныхъ обязанностей службы, изъ духоты присутствій, Павелъ не могъ довольно нагуляться и нахвалиться деревенскою жизнью.

Скоро обозъ Павла пришелъ изъ Петербурга, съ мебелью, экипажами, бронзами, лошадьми. Нетерпѣливый, какъ женщина, малодушный, какъ мальчикъ, онъ приказалъ тотчасъ все выкладывать и внести все въ свои комнаты, куда самъ отправился. Мать и сестра пошли за нимъ.

— Тащи все это вонъ, сказалъ Павелъ лакеямъ, показывая на мебель, стоявшую въ его гостиной.

— А мы было все здѣсь устроили, сказала Катя простосердечно;—каждая изъ насъ отдала тебѣ что-нибудь. Вотъ этотъ столъ маменькинъ, кресло мое, табуретъ Полининъ, а папа уступилъ тебѣ вольтеровское кресло, которое ему досталось послѣ дѣдушки.

Павелъ улыбнулся, обнялъ сестру, поцѣловалъ ее и сказалъ, обращаясь къ ней и къ матери:

— Я никогда не потерплю, милая матушка, чтобы вы безпокоились для меня. Возьмите назадъ всѣ свои мебели, я только оставляю дѣдовскія кресла эти въ уваженіе ихъ древности.

Онъ весело бросился въ нихъ, но вдругъ вскочилъ и воскликнулъ, смѣясь:

— Что это? Да они набиты орѣхами или кремнями. Нѣтъ, пусть батюшка возьметъ назадъ свою драгоцѣнную собственность.

— Это кресло моего дѣда, сказала мать.

— Очень вѣрю, матушка, очень вѣрю, но отъ этого оно не мягче.

На другой же день нельзя было узнать комнаты Павла, такъ мило и роскошно она была устроена. Катя особенно любовалась всѣмъ, съ дѣтскимъ простодушіемъ трогала тяжелыя занавѣсы оконъ и разсматривала щегольскія бездѣлушки, которыми былъ уставленъ письменный столъ брата.

Павелъ завтракалъ, старшая сестра и мать его сидѣли подлѣ него.

— Теперь поговоримъ серьезно, сказалъ Павелъ.—Какъ мы распредѣлимъ домъ нашъ?

— Я думала, ты свыкся съ нашими привычками и образомъ жизни, сказала мать;—вотъ уже мѣсяцъ, какъ ты здѣсь.

— Этотъ мѣсяцъ мы не жили, матушка, а можно сказать, кое-какъ протянули его. Мы обѣдали, какъ попало, и ничѣмъ не занимались. Надо учредить порядокъ.

— Отецъ твой привыкъ жить по старому, какъ ты самъ видѣлъ, а мнѣ все равно, лишь бы я могла заниматься.

— Я замѣтилъ, что вы читаете до поздней ночи; это вредно для здоровья, матушка.

— Это мнѣ всегда твердили, но для меня, какъ и для всѣхъ, привычка—вторая натура.

— Кто занимается хозяйствомъ, конечно, вы, матушка?

Катя расхохоталась.

— Чему ты смѣешься? спросилъ братъ серьезно.

— Мама ничего не смыслитъ; развѣ ты не замѣтилъ, что всѣмъ распоряжается Поля?

— Конечно, замѣтилъ, но вообразилъ, что матушка поручила ей хозяйство по случаю моего пріѣзда. Быть не можетъ, матушка, чтобы вы, живя цѣлый вѣкъ въ деревнѣ, не знали...

— Хозяйства, договорила она улыбаясь.—Мало понимаю и еще больше скучаю съ нимъ. Къ счастью, Поля такъ умѣла угодить отцу твоему, что замѣнила ему нашу покойную, добрую старушку Терентьевну. Ты помнишь ее?

— Какъ! сказалъ сынъ.—Впрочемъ я очень радъ, замѣтилъ Павелъ.—что Поля хозяйничаетъ, терпѣть не могу всѣхъ этихъ ключницъ, экономокъ; онѣ или глупы, или воровки. Вездѣ нуженъ глазъ хозяйки. А ты, Катя, учишься хозяйничать?

— О, нѣтъ!

— Напрасно. Что же ты дѣлаешь?

— Я вышиваю, играю на фортепьянахъ, пою, гуляю.

— Еще что?

— Забавляю папа, когда онъ не веселъ, что, впрочемъ, случается очень рѣдко, и сижу съ мама, когда ей соскучится.

— О чемъ вы тутъ совѣщаетесь? спросилъ Петръ Ѳедоровичъ, входя въ комнату.

— Я вхожу въ подробности вашей жизни, чтобы примѣнить привычки къ вашимъ и ваши къ моимъ, отвѣчалъ Павелъ.

— Это не трудно, отвѣчалъ отецъ, садясь въ кресло.— Мы всѣ живемъ здѣсь, слава Богу, мирно, тихо и, какъ говорится, спустя рукава. Однако двѣнадцать часовъ. Поля, не пора ли закусить?

— Какъ вы можете завтракать въ двѣнадцать часовъ и обѣдать въ три? сказалъ Павелъ.

— Привычка, отвѣчалъ Петръ Ѳедоровичъ.—Я еще въ шесть часовъ полдничаю и въ восемь пью чай.

— А въ одиннадцать ужинаете, договорила Полина.

Старикъ кивнулъ головой въ знакъ согласія.

— Это страшно!

— Привычка, сказалъ отецъ опять покойно.

— Стало быть, вы цѣлый день ѣдите.

— Ну, хотя и не цѣлый день, а ѣдимъ таки. Я тутъ грѣха не вижу.

— Но какой же можетъ быть порядокъ въ домѣ, въ буфетѣ? Я хотѣлъ вамъ предложить обѣдать въ шесть часовъ.

— Что ты, Христосъ съ тобою, воскликнулъ съ ужасомъ Петръ Ѳедоровичъ.

— Нечего дѣлать! сказалъ Павелъ послѣ минуты молчанія;—я прошу тебя, Поля, чтобы завтракъ мой былъ всегда часовъ въ 10 утра. Только смотри, я люблю аккуратность!

Павелъ всталъ и сказалъ отцу:

— Не хотите ли идти осмотрѣть хозяйство?

Петръ Ѳедоровичъ былъ готовъ; оба они одѣли фуражки, вышли на дворъ и, завернувъ за уголъ, исчезли на все утро. Когда они возвратились домой къ обѣду, то нашли въ гостиной большое общество. Якшина съ дочерью, два брата Трескиныхъ и молодой человѣкъ, котораго отрекомендовали Павлу подъ именемъ Волгина, давно уже сидѣли, въ ожиданіи хозяевъ, въ гостиной съ дамами. Послѣ первыхъ привѣтствій и отрывистыхъ вопросовъ и отвѣтовъ перваго знакомства, Павелъ занялся разговоромъ съ Волгинымъ. Оказалось, что у нихъ обоихъ было много общихъ знакомыхъ въ Петербургѣ. Волгинъ былъ недуренъ собою, хотя физіономія его была незначительна,—за то братья Трескины привлекли бы вниманіе наблюдателя. Старшій, Иванъ, былъ очень небольшого роста, русый, съ свѣтлымъ взглядомъ и рѣзкими манерами; меньшой, Владиміръ, былъ высокъ и тонокъ, какъ стебель; ему казалось около двадцати двухъ лѣтъ. Тонкая его кожа, каштановые волосы и густой румянецъ, покрывавшій его щеки, заставляли забывать о неправильности чертъ его. Большіе глаза его, каріе, какъ и у брата его, выражали юношеское простодушіе и глядѣли такъ выразительно, что въ нихъ можно было, казалось, прочесть его мысли и чувства. Полина и Катя не были еще

знакомы съ нимъ и потому занялись имъ предпочтительно передъ прочими.

Разговоръ однако не завязывался; Сурминовы, живя всегда въ деревнѣ, не умѣли знакомиться скоро, и присутствіе новаго лица всегда смущало ихъ. Одна Полина изъ всего семейства могла бы имѣть довольно знанія свѣта, чтобы принять и занять гостей, но она была смущена, что̀ не ускользнуло отъ глазъ Павла, который начиналъ досадовать, что родные его, особенно мать, такъ отстали отъ свѣта.

— Сынъ нынче замучилъ меня, говорилъ Петръ Ѳедоровичъ, обращаясь къ Ивану Ивановичу Трескину;—экой силачъ... экой ходокъ... говорю ему: подожди, не иди такъ скоро—куда! Идетъ, кажется, не шибко, а не поспѣешь. Уморилъ! Право, уморилъ!

— Люди средняго роста, какъ онъ, почти всегда сильнѣе людей очень высокихъ, отвѣчалъ Трескинъ,—къ тому же, куда вамъ за нимъ въ ваши лѣта и при вашей тучности.

— Да что̀ это не даютъ обѣда, я ужасно усталъ и ужасно голоденъ, замѣтилъ Петръ Ѳедоровичъ.

— Эй, кто тутъ? закричалъ Павелъ, выходя въ столовую; къ нему бросился изъ передней кто-то изъ лакеевъ, и въ гостиной слышно было, какъ Павелъ отдавалъ ему какія-то приказанія. Полина, оставя гостей, вышла къ брату.

— Я велѣла приготовить лишнее блюдо, сказала она,— и вотъ почему поваръ мѣшкаетъ подавать обѣдъ.

— Это вовсе не нужно, неужели ты жила въ Петербургѣ столько лѣтъ для того только, чтобы въ два года сдѣлаться провинціальной барышней? Вели давать обѣдать, слышишь ли, сказалъ Павелъ лакею.

Полина не возражала и возвратилась въ гостиную, куда вскорѣ пришелъ и Павелъ. Онъ сѣлъ около отца, и каза-

лось, не обращалъ большого вниманія на женщинъ, хотя Соня очень часто поглядывала въ его сторону, и казалось, мало слушала то, что говорилось подлѣ нея. Наконецъ, поймавъ слово Трескина: „интересно", она съ другого конца гостиной обратилась къ нему и спросила у него: что интересно?

Онъ или не слыхалъ ея, или не хотѣлъ слышать.

— Monsieur Трескинъ, я съ вами говорю, у васъ спрашиваю, произнесла Соня, обращая въ три четверти свою хорошенькую, кокетливую головку къ группѣ мужчинъ.

Трескинъ взглянулъ на нее, едва замѣтная краска пробѣжала по лицу его, но онъ отвѣчалъ спокойно:

— Меня интересуетъ въ эту минуту то, о чемъ говоритъ Петръ Ѳедоровичъ, и чего, извините меня, чего вы не поймете, Софія Антоновна.

— Помните же этотъ отвѣтъ, отвѣчала она грозя ему пальчикомъ. При этомъ движеніи Павелъ невольно замѣтилъ ея руку, кисть и пальцы.

— Какая удивительная рука у вашей сосѣдки, сказалъ онъ Трескину,—и бѣла какъ мраморъ. Жаль, что ея тонъ и манеры такъ тривіальны, что отбиваютъ охоту познакомиться съ нею ближе.

Лицо Трескина вспыхнуло; онъ хотѣлъ что-то сказать, но Петръ Ѳедоровичъ перебилъ его. Лицо старика выражало совершенное удивленіе, смѣшанное съ испугомъ.

— Паша, Паша! говорилъ онъ сыну торопливо;—что ты, что ты? Софія Антоновна дѣвица достойная и...

— Очень вѣрю, батюшка, но это не мѣшаетъ ей быть...

Полина подошла къ отцу, перебила брата и звала всѣхъ въ столовую, говоря, что кушанье поставлено. Павелъ поглядѣлъ на нее съ изумленіемъ.

— Давно ли ты справляешь роль дворецкаго, сказалъ онъ ей насмѣшливо, вполголоса.

— Все равно, сказала она улыбаясь.—Я своей неловкостью поправляю твою. Соня едва не помолвлена за Трескина.

— Очень мнѣ нужно!? сказалъ Павелъ смѣясь.

— Возьми одну изъ дамъ, сказалъ отецъ Павлу, проходя мимо него и ведя за руку старуху Якшину. Но Павелъ былъ уже сердитъ, онъ посторонился и пропустилъ всѣхъ дѣвушекъ, шедшихъ объ руку съ мужчинами. Въ первой парѣ шла Соня, улыбаясь чему-то; Павелъ замѣтилъ, что зубы ея также бѣлы, какъ руки.

Шумно прошелъ обѣдъ; всѣ были разговорчивы, кромѣ Павла, который больше замѣчалъ за другими, чѣмъ принималъ участіе въ общемъ разговорѣ. Когда послѣ обѣда всѣ вышли на балконъ, Соня сѣла немного поодаль и облокотилась на балюстраду; бѣлые кружевные рукава ея, очень широкіе, спустились и обнажили до локтя ея руку, которую она положила вдоль почернѣвшихъ отъ времени перилъ балкона.

Павелъ подошелъ къ ней. Скоро звонкій смѣхъ ея поминутно заглушалъ разговоры, почему мать ея сказала:

— Что́ это, какъ Соня смѣется! Заливается какъ валдайскій колокольчикъ! Одинъ нашъ петербургскій знакомый, второй секретарь французскаго посольства, услышавъ смѣхъ Сони, сказалъ очень мило: Ce rire-là résonne dans tous les camps. Неправда ли, какъ это любезно, какъ похоже на француза? Да вотъ mademoiselle Полина, вѣрно, его помнитъ? Mademoiselle Pauline, помните д'Аркура: онъ часто бывалъ у васъ, онъ былъ еще такой пріятель съ Чадринымъ. Помните Чадрина, онъ, кажется, бывалъ у вашей тетушки?

Полина измѣнилась въ лицѣ; мать взглянула на нее очень

пристально и поблѣднѣла больше дочери; это смущеніе могло бы быть замѣчено, еслибъ Трескинъ не всталъ и, обращаясь къ Марѳѣ Ивановнѣ, сказалъ спокойно:

— Вы ошибаетесь: вы видали Чадрина у насъ; все его семейство живетъ въ нашемъ сосѣдствѣ въ С**, и мы давно знакомы.

— Кажется, однако, я видѣла Чадрина и у васъ, сказала Марѳа Ивановна, обращаясь къ Полинѣ, которая оправилась отъ смущенія и отвѣчала:

— Можетъ быть, у насъ бывалъ только что не весь городъ.

Въ это время двѣ огромныя меделянскія собаки ворвались въ комнату.

Глафира Николаевна встала и торопливо подошла къ сыну.

— Павелъ, я боюсь собакъ, возьми ихъ отсюда, сказала она.

— Не бойтесь, не бойтесь, я за нихъ ручаюсь, матушка, онѣ смирны, какъ ягнята.

— Бэръ, Леди, сюда! Павелъ взялъ руку матери, сперва поцѣловалъ ее, а потомъ шутя положилъ ее, держа въ своей рукѣ, на морду страшнаго Бэра, который зарычалъ и оскалилъ длинный и острый рядъ зубовъ своихъ. Глафира Николаевна вскрикнула, задрожала и отдернула руку свою.

— Какія вы трусливыя! воскликнулъ Павелъ.—Катя, поди сюда, погладь Бэра!

— Благодарю, сказала Катя, смѣясь издали,—я не намѣрена лишиться руки.

— А я не боюсь, сказала Соня, подходя и принимаясь смѣло ласкать собаку, не смотря на всѣ восклицанія своей матери, которая сперва просила ее отойти и наконецъ стала ей приказывать. Соня почти прыгнула отъ Бэра къ матери,

шепнула ей нѣсколько словъ на ухо, поцѣловала ее и въ одно мгновеніе очутилась опять среди балкона. Она сѣла на нижнюю ступеньку горки, на которой были поставлены горшки съ цвѣтами, и принялась смѣлѣе прежняго играть съ громаднымъ псомъ.

— Красавица! сказалъ Волгинъ Павлу.

— Кто? Бэръ или Софья Антоновна.

Волгинъ было смутился, въ ту же минуту поправился, принялъ саркастическое выраженіе и сказалъ смѣясь:

— Разумѣется, Бэръ.

— Вы охотникъ? спросила Марѳа Ивановна у Павла.

— Да, сказалъ Павелъ отрывисто и кратко.

— Гдѣ вы достали эту пару собакъ?

— Съ корабля.

— И что̀ дали?

— Четыреста цѣлковыхъ, отвѣчалъ Павелъ также кратко и сухо.

— Четыреста! воскликнулъ Петръ Ѳедоровичъ съ ужасомъ.—Видно, деньги стали нынче дешевы.

— Не думаю, возразилъ Трескинъ;—я думаю, онѣ также дороги, какъ и прежде, если еще не дороже.

Взоръ Павла встрѣтился со взоромъ Трескина: они смѣрили другъ друга глазами. Ихъ взгляды были очень краснорѣчивы и выражали обоюдную антипатію.

Павелъ отвелъ взоръ свой и тотчасъ подошелъ къ Сонѣ; она продолжала играть съ Бэромъ и Леди, которые успѣли уже оборвать часть волановъ ея платья. Она встала, безъ заботно посмотрѣла на смятое, изорванное платье, граціозно продѣла руку въ оборванный воланъ, волочившійся по полу, накинула его на свое плечо и произнесла смѣясь:

— Эксельбанты!

Она обратилась къ Павлу:

— Посмотрите, ваши друзья не пожалѣли моего платья, но они такъ красивы, что я охотно прощаю имъ этотъ проступокъ.

— Проступокъ, возразилъ Павелъ,—скорѣе знакъ ихъ благосклонности къ вамъ; платье, конечно, изорвано, но за то вы цѣлы и невредимы.

— Еще бы, а вамъ бы хотѣлось, чтобы онѣ съѣли и меня. Если ихъ дружба доказывается такимъ образомъ, то я въ другой разъ уволю ихъ отъ подобныхъ изъявленій.

— Знаете пословицу: qui aime bien, chatie bien!

— Покорно васъ благодарю, сказала Соня, присѣдая.

Въ это самое время Трескинъ оставилъ Петра Ѳедоровича и, пользуясь свободной минутой, подошелъ къ Полинѣ, которая стояла у двери балкона.

— Пойдемте въ цвѣтникъ, сказалъ онъ ей, подавая ей руку. Оба они молчали сначала.

— Братъ мой пріѣхалъ оттуда, сказалъ наконецъ Трескинъ.

— Я знаю, угадала это, проговорила Полина чуть слышно;—что у нихъ дѣлается?

— Ничего особеннаго, Сережа служитъ теперь въ канцеляріи губернатора; отецъ его настоялъ на этомъ. У брата есть къ вамъ письмо; онъ далъ честное слово Сережѣ, что самъ передастъ его вамъ, но не зналъ, какъ подойти къ вамъ, онъ у меня такой еще дикарь. Но вотъ и онъ.

Трескинъ оглянулся и видя, что огромные кусты шиповника и сирени скрываютъ ихъ отъ остального общества, сказалъ брату:

— Здѣсь никого нѣтъ, отдай скорѣе письмо.

Владиміръ вынулъ изъ кармана небольшой пакетъ. Полина молча взяла его и молча пожала руку Владиміра, благодаря его.

И молча всѣ трое они возвратились на балконъ; Полина была блѣдна и задумчива, старшій Трескинъ былъ не въ духѣ и скоро уѣхалъ домой вмѣстѣ съ братомъ. Его отъѣздъ былъ сигналомъ: все общество разошлось; Соня, Катя, Павелъ и Волгинъ отправились гулять, а Полина ушла къ себѣ и съ лихорадочнымъ трепетомъ распечатала письмо Чадрина. Вотъ оно:

„Какъ я давно не писалъ къ вамъ, милая Полина, и мнѣ кажется, что цѣлая вѣчность прошла съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались, и однако всѣ наши прошлыя печали ничего не значатъ въ сравненіи съ тѣмъ душевнымъ состояніемъ, которое я испытываю теперь. Мнѣ тяжело разсказать вамъ, какъ рушились всѣ надежды мои, но я чувствую, что долженъ сдѣлать это, и что вы имѣете право на эту грустную исповѣдь. Тетка ваша была права, когда она говорила, что отецъ мой скорѣе умретъ, чѣмъ согласится на бракъ нашъ; я не вѣрилъ ей, и однако получилъ отказъ. Я все еще надѣялся, однако, и потому уѣхалъ въ С** и около года жилъ у отца, не говоря ни слова о любви моей.

„Отецъ любитъ меня; я былъ принятъ въ С** обществѣ съ распростертыми объятіями, тѣмъ болѣе, что отецъ мой занимаетъ здѣсь очень видное и почетное мѣсто. Онъ хотѣлъ, чтобы я служилъ, и боясь раздражить его, я вступилъ тотчасъ на службу. Въ С** живутъ весело и открыто, и я опять нашелся принужденнымъ уступить отцу и являлся всюду. Скоро я замѣтилъ, что онъ хотѣлъ женить меня, и это было поводомъ къ новому объясненію между нами. Я передамъ вамъ часть его, почти буквально; быть можетъ, вы найдете скорѣе меня ключъ къ этой разгадкѣ. Вотъ часть моего разговора съ отцомъ:

„Я не могу жениться, батюшка, сказалъ я ему;—вы

знаете, что я люблю другую и связанъ съ нею словомъ.— „Я думалъ, что ты выкинулъ эту блажь изъ головы, сказалъ онъ отрывисто,—и увидя тебя у себя положилъ, что ты покорился моей неизмѣнной волѣ. Слышишь ли? Неизмѣнной волѣ. Я знаю, что вы всѣ нынче стали вольнодумствовать и обходиться безъ благословенія отца, но со мной шутить не совѣтую: имѣніе мое благопріобрѣтенное, и я отдамъ его на богоугодныя заведенія, а тебя пущу по міру, вмѣстѣ съ супругой, наградя васъ моимъ проклятіемъ. Положимъ, оно мало значитъ для тебя, да жить-то тебѣ будетъ нечѣмъ—ты будешь пищій, а это не шутка.—Отецъ мой говорилъ, по обыкновенію, холодно, но въ каждомъ словѣ дышало худо скрытое волненіе, а измѣнившееся лицо еще больше выдавало его тайныя чувства.

— Зачѣмъ говорите вы такъ, сказалъ я ему;—развѣ я не сказалъ уже вамъ, что *она* не согласится войти въ нашу семью противъ вашей воли. Угроза лишить меня наслѣдства излишняя; при жизни тетки Полина была богатая невѣста, да и тогда она не хотѣла идти противъ вашей воли и, быть можетъ, противъ воли своихъ родныхъ, которые тоже не желали этого брака, хотя, конечно, уступили бы просьбѣ дочери. Ея родные не такъ упорны, какъ вы. Скажите мнѣ, что̀ за причина вашего отказа, и почему, узнавъ, что я хочу жениться на Сурмиловой, вы рѣшительно отказали въ своемъ согласіи? Что имѣете вы противъ нея, или противъ родныхъ ея?“ При вашемъ имени, Полина, онъ перемѣнился въ лицѣ.

„Я не обязанъ отдавать тебѣ отчета; давно ли сыновья взяли себѣ право суда и расправы надъ отцами? Не хочу, и кончено; впрочемъ, пусть твоя любезная спроситъ у своей матери причину моего отказа. Если она узнаетъ ее, тогда и я разскажу съ моей стороны все, что̀ знаю. Не думаю, чтобы это могло ей быть пріятно. Но будетъ, кончимъ это.

Хочешь ли ты жениться на К***?—Не хочу, батюшка.—Какъ хочешь; это не послѣдняя глупость съ твоей стороны, пожалѣешь, да поздно.

„Я не стану повторять вамъ всего, что́ говорилъ мой отецъ о К***. Довольно ли вамъ знать, что лучшія ея достоинства заключаются въ томъ, что у нея тысяча душъ, и что ея земли межа съ межой сходятся съ нашими. Это я вамъ говорю потому только, затѣмъ, чтобы дать понять вамъ, что еслибъ я и не любилъ васъ, то не женился бы на К***. Бракъ по разчету не въ моихъ правилахъ, да и не по моимъ лѣтамъ; я бы желалъ видѣть двадцатипятилѣтняго мужчину, который женится на деньгахъ, когда онъ самъ богатъ и притомъ единственный сынъ.

„Все это однако не подвигаетъ дѣлъ нашихъ, и теперь я надѣюсь на васъ однѣхъ. Съ моей стороны все сдѣлано, все истощено. Я живу въ постоянномъ одиночествѣ, и мои отношенія съ отцомъ невыносимы. Съ одной стороны—пассивная, страдательная роль, съ другой—упорливо-непреклонная воля и холодное равнодушіе при видѣ жестокой тоски, которая грызетъ меня. Попытайте послѣднее средство, объяснитесь съ вашей матерью, и хотя тетка ваша просила васъ тогда не упоминать обо мнѣ при вашей матери, но мнѣ кажется, надо же это кончить и узнать, чего намъ надо надѣяться или бояться. Если всякая надежда на обоюдное согласіе семействъ нашихъ рушится, напишите ко мнѣ два слова, и я не буду колебаться и тотчасъ уѣду куда-нибудь, гдѣ бы можно было скорѣе раздѣлаться съ этой жизнью, которая, кромѣ горя, ничего до сихъ поръ не дала мнѣ. Я уѣду на Кавказъ; черкесскія пули мѣтки и, быть можетъ, рѣшатъ разомъ то, чего мы понять не можемъ. Мужчинѣ смѣшно жаловаться, но какъ не сказать, что жизнь моя не завидна; самое появленіе мое на бѣлый

свѣтъ стоило жизни моей матери; до девяти лѣтъ я росъ на рукахъ моей доброй няни, и это лучшіе годы моей жизни. Отецъ меня видалъ едва ли разъ въ недѣлю, въ девять лѣтъ отдалъ меня въ корпусъ, въ двадцать—опредѣлилъ въ службу, а въ двадцать-два разбилъ всю жизнь мою, не соглашаясь на бракъ нашъ. Я его не знаю и только теперь, въ продолженіе года, знакомлюсь съ нимъ: знакомство крайне тяжелое, милая Полина; онъ вѣчно мраченъ, вѣчно скучаетъ; я не знаю, любитъ ли онъ меня, хотя всѣ знакомые и домашніе говорятъ, что онъ обожаетъ меня. Въ чемъ высказывается это обожаніе, я, ей Богу, не знаю; развѣ въ томъ, что я могу замолить его простить кучера, когда онъ провинился, и выпросить у него позволеніе повару жениться. Всѣ боятся его; я хотя и не боюсь его, потому что не позволю себѣ унижаться до чувства страха, но не могу сказать, чтобы былъ спокоенъ при немъ. Помимо воли моей, онъ производитъ на меня самое непріятное впечатлѣніе; я чувствую, что что-то давитъ меня, что-то тяготѣетъ надо мною, и это чувство возбуждаетъ во мнѣ такую внутреннюю борьбу, такое негодованіе противъ собственной слабости, что я во что бы то ни стало побѣждаю въ себѣ чувство это и смотрю ему прямо въ глаза, также упорно и смѣло, какъ самъ онъ смотритъ на меня, когда что-нибудь ему не нравится. Я не могу сказать, что побѣда остается за нимъ; не всегда—иногда она на моей сторонѣ, и это-то и внушило мнѣ нѣкоторую надежду; я думалъ, что онъ кончитъ тѣмъ, что согласится на бракъ мой. Теперь я долженъ отказаться отъ мысли этой; самое имя ваше до того ненавистно ему, что онъ не можетъ его слышать, и самъ никогда не произноситъ его. Сережа можетъ разсказать вамъ многія подробности о моей жизни въ С**. Я не имѣю духу касаться ихъ; сердце мое такъ полно, такъ наболѣло..."

Письмо оканчивалось обыкновенными выраженіями любви, до которыхъ такъ жадны влюбленные; но Полина не дочитала письма и глубоко задумалась. Она рѣшила идти къ матери и спросить у нея причину постояннаго и рѣшительнаго отказа Чадрина; страшное чувство, какая-то смѣсь страха и отваги, тайнаго отвращенія и горячаго порыва овладѣло Полиной; она не спала почти всю ночь и на другой день, по утру, отправилась въ кабинетъ матери; найдя ее одну, она притворила дверь за собою и заперла на задвижку. Глафира Николаевна сидѣла уже за столомъ своимъ и списывала для Кати новую арію, которую Соня привезла изъ Москвы. Она не замѣтила лица дочери, ни ея предосторожности и машинально протянула ей руку. Полина поцѣловала эту худую, блѣдную руку и ласково опустилась на табуретъ, стоявшій у ногъ матери; она положила голову свою на ея колѣни и сказала ей тихо дрожавшимъ отъ внутренняго волненія голосомъ:

— Милая маменька, я пришла къ вамъ съ очень важною просьбою, но прежде чѣмъ я скажу вамъ въ чемъ дѣло, выслушайте и не осудите меня. Повѣрьте, что не любопытство, а необходимость заставляетъ меня говорить съ вами.

— Я тебя не понимаю, сказала ей мать спокойно,—но говори, мой другъ, я рада удовлетворить даже и любопытство твое. Мнѣ пріятно, что ты обратилась ко мнѣ: это въ первый разъ съ самаго твоего пріѣзда. Чего тебѣ хочется?

— Скажите мнѣ, отчего Чадринъ не соглашается на бракъ мой съ его сыномъ. Вы знаете это?

Глафира Николаевна откинулась на спинку кресла и такъ поблѣднѣла, что Полина вскочила и бросилась на шею матери, говоря прерывающимся голосомъ.

— Что съ вами? Боже мой, что съ вами?

Но это было первое потрясеніе; Глафира Николаевна оправилась, и хотя лицо ея оставалось блѣдно по прежнему, голосъ былъ довольно твердъ, даже тверже обыкновеннаго, и она спокойно сказала:

— Съ чего тебѣ пришла мысль, что я знаю причину отказа отца его?

— Онъ пишетъ мнѣ это, маменька.

— Кто? спросила Глафира Николаевна, не безъ новаго испуга и новой поразительной блѣдности лица.

— Константинъ Чадринъ; онъ пишетъ, что отецъ его сказалъ ему, что вы однѣ можете объяснить намъ, почему онъ несогласенъ на бракъ нашъ.

— Онъ сказалъ ему это? Онъ сказалъ ему! повторила Глафира Николаевна, дрожа съ головы до ногъ.—Это ужасно! Ахъ, Поля, Поля, ты не знаешь, какую пытку ты заставляешь меня выносить. Скажу тебѣ одно слово и однажды навсегда. Не говори мнѣ о людяхъ этихъ: одно имя ихъ для меня ужасно и напоминаетъ мнѣ о самомъ тяжеломъ времени моей жизни. Что же касается до причины отказа отца его, я могу только догадываться о ней: его ненависть къ твоему отцу; другой причины я не знаю. Не говори мнѣ никогда о всемъ этомъ и позабудь, если можешь...

— Маменька, сказала Полина, и крупныя капли слезъ катились изъ глазъ ея,—простите мнѣ, что я огорчила васъ, но это было неизбѣжно, я должна же была узнать судьбу свою. Я вижу, что все для меня кончено.

— Милая Поля, ты молода, ты... Она остановилась, взглянула на лицо дочери и прибавила съ усиліемъ:—Сынъ Чадрина не можетъ быть хорошимъ человѣкомъ, отецъ его человѣкъ страшный.

— Можете ли вы говорить такъ? Съ какихъ поръ сынъ отвѣчаетъ за пороки отца? Вы любили и вѣрили сестрѣ

своей; не писала ли она вамъ, что Константинъ человѣкъ честный и добрый?

— Можетъ быть, можетъ быть, положимъ, такъ, но носить имя Чадриной, быть матерью дѣтей, которыя, которыя...

Она вдругъ замолчала и судорожно зарыдала, закрывъ глаза обѣими дрожавшими руками.

Поля испугалась, никогда она еще не видала мать свою въ такомъ положеніи; она выбѣжала изъ комнаты и принесла ей стаканъ холодной воды.

— Запри дверь, сказала ей мать черезъ силу,—чтобы отецъ не вошелъ и не увидѣлъ меня. Онъ будетъ разспрашивать: все это разстроитъ его.

Поля хотѣла остаться съ матерью, но она просила ее оставить одну и заперлась въ своей комнатѣ. Когда она вышла къ обѣду, измѣнившееся лицо ея поразило всю семью; на вопросы мужа она отвѣчала, что больна, и была дѣйствительно нездорова около недѣли.

Поля упрекала себя за это и положила себѣ за правило не говорить больше ни о чемъ и покориться своей участи. Между тѣмъ какъ эта небольшая драма разыгралась въ тайнѣ между матерью и дочерью, жизнь прочихъ лицъ семейства текла тихо и ровно, хотя небольшія мелкія перемѣны совершились въ домашнемъ быту ихъ.

Онѣ были впрочемъ незамѣтны; Павелъ каждое утро увлекалъ отца съ собою и возвращался съ прогулки такъ поздно, что простывшій на столѣ завтракъ оказывался ненужнымъ.

Когда же послѣ обѣда наставало время полдника, то Павелъ такъ возставалъ на это деревенское обыкновеніе, такъ шутилъ, острилъ и осыпалъ всѣхъ насмѣшками, что все семейство покорялось его прихоти и мало по малу отвыкало отъ прежнихъ привычекъ. Одинъ отецъ отдѣлывался молчаніемъ, и о немъ можно было сказать:

Слушаетъ и ѣстъ.

Однажды шутки Павла зашли такъ далеко, что онъ вдругъ отнялъ у Кати полную тарелку простокваши и, обратясь къ лакею, сказалъ ему:

— Полдника не подавать, слышишь?

— Что ты, что ты, Паша, воскликнулъ Петръ Ѳедоровичъ,— полно шутить!

— Я не о васъ говорю, батюшка, вы прикажете, и вамъ подадутъ, что вамъ угодно. Я говорю о себѣ и сестрахъ. Тошно смотрѣть, право, тошно, на эту вѣчно накрытую въ залѣ скатерть.

— Не смотри, сказалъ отецъ лаконически и недовольно.

— Будьте покойны, папа, сказала Полина,—я вамъ сама всякій день буду приносить полдникъ.

— Коли такъ, то ладно; я васъ не неволю полдничать со мной, а самъ люблю...

— Вамъ это такъ вредно, сказалъ Павелъ.

— Не знаю, возразилъ отецъ холодно.

Павелъ замолчалъ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого разговора все семейство Сурмиловыхъ отправилось въ гости къ Якшинымъ, и хотя Павелъ осыпалъ Марѳу Ивановну самыми ѣдкими насмѣшками и остротами, называя ее за глаза суетливой болтушкой, сплетницей и типомъ француженокъ привратницъ, но, принятый особенно привѣтливо, къ концу дня сдѣлался мягче, вмѣсто прежней холодности перешелъ къ уступкамъ и уѣзжая очень вѣжливо отвѣчалъ на приглашеніе Якшиной навѣщать ихъ какъ можно чаще. Дорогой на возвратномъ пути онъ хотя и посмѣивался надъ сосѣдкой, но уже не такъ желчно и не такъ язвительно. Что же касается до Сони, то онъ отозвался о ней, какъ объ очень хорошенькой и миленькой дѣвчонкѣ.

Спустя недолго, въ одну изъ своихъ прогулокъ верхомъ, онъ даже заѣхалъ къ Якшинымъ.

Однажды, войдя въ залу, Павелъ увидѣлъ какія-то необыкновенныя приготовленія.

Зала была уставлена цвѣтами, на окнахъ вѣшали кисейныя, вновь вымытыя занавѣски, въ гостиной ставили канделябры.

— Что это значитъ? спросилъ онъ у старой экономки Игнатьевны.

— Барышня приказала, отвѣчала она, низко кланяясь.

— Какая барышня?

— Прасковья Петровна, сударь.

— Позови ее.

Полина пришла.

— Что здѣсь такое, спросилъ у нея братъ, взявъ ее за руку.

— Мы ждемъ гостей. Якшины тоже будутъ.

— Хорошо, но зачѣмъ же ставить вездѣ канделябры, развѣ нѣтъ лампъ?

— Маменька не любитъ ихъ; она говоритъ, что свѣтъ лампъ вреденъ для ея зрѣнія.

— Какой вздоръ! Вели надѣть абажуры. Эй! Игнатьевна, неси вонъ эти канделябры: ихъ не нужно; подай лампы, надѣнь абажуры, ну, что́ стоишь, али не слышишь?

— Какъ прикажете, сударыня? спросила Игнатьевна, въ недоумѣніи обращаясь къ Полинѣ.

— Или ты изъ ума выжила, закричалъ Павелъ,—кто хозяинъ здѣсь, наконецъ?

Полина вспыхнула, но не сказала ни слова, а старуха вышла съ канделябрами, бормоча что-то про себя.

Павелъ бросился къ сестрѣ.

— Ты не сердишься, я надѣюсь, я долженъ мало

по малу заставить прислугу уважать меня, какъ хозяина. А то дай имъ волю! Это не можетъ относиться къ тебѣ.

— Никакимъ образомъ. Если я приказываю здѣсь, то по тому только, что маменька просила меня избавить ее отъ хозяйственныхъ хлопотъ.

— Очень понимаю, сказалъ Павелъ,—твое положеніе, но не могу надивиться на матушку. Какая жизнь!

— Почему? спросила вдругъ Полина, хотя сама въ тайнѣ часто думала о матери, но не понимала ни ея характера, ни постоянной задумчивости и разсѣянности ея.

— Цѣлый день лежать на кушеткѣ, читать, ложиться поздно, вставать еще позднѣе, не входить ни во что,—развѣ это жизнь жены и матери семейства?

— Но если отецъ нашъ счастливъ, если онъ не ропщетъ, и любитъ ее больше всего на свѣтѣ, если Катя счастлива и дышетъ одной матерью—жаловаться некому.

— Тебѣ, напримѣръ?

— Мнѣ, сказала Полина,—мнѣ жаловаться не возможно. Я была полная хозяйка здѣсь, отецъ обожаетъ меня, мать всегда добра ко мнѣ. Она не любитъ дѣтей, ихъ шуму и крику, и не смотря на то, узнавъ мое желаніе имѣть дѣтей Анюты около себя, тотчасъ послала за ними, могу ли я жаловаться?

Не смотря, однако, на жаркую выходку, лицо Полины измѣнилось, глаза ея были влажны.

— Конечно, сказалъ Павелъ задумчиво,—но все поведеніе матушки удивляетъ меня. Возьми хотя Катю: что это за воспитаніе? Куда ее готовятъ — на сцену, что ли? Что это за безпрерывные уроки пѣнія? Что это за праздность, куда ни обернись—вездѣ она! Чу! Легка на поминѣ, опять напѣваетъ романсъ.

— Катя—душа семьи, безъ нея не было бы здѣсь ни

смѣха, ни пѣсни, ни радости. У нея доброе сердце, рѣдкій нравъ. Она всѣмъ довольна, всѣхъ любитъ, и ее всѣ любятъ. Чего жь тебѣ надо?

— Мнѣ бы хотѣлось ее видѣть болѣе полезной семейству; почему она, напримѣръ, не даетъ уроковъ дѣтямъ твоей кузины? Почему я никогда не вижу ее за рукодѣліемъ?

— Она часто вышиваетъ по канвѣ.

— Да развѣ это рукодѣлье? Это бездѣлье, переводъ денегъ. Мало ли чѣмъ можетъ заниматься дѣвушка. Уже не говоря о работахъ чисто полезныхъ для дома или семьи— почему она не шьетъ broderie anglaise, это даже вошло въ моду?

— Спроси у нея самой, сказала Полина не безъ досады, выходя изъ комнаты.

— Непремѣнно спрошу, произнесъ Павелъ спокойно и важно.

Еще задолго до пріѣзда гостей Павелъ прошелъ черезъ залу, быстро окинувъ ее взглядомъ, въ садъ. Онъ былъ щегольски одѣтъ, чрезвычайно красивъ, но задумчивъ. Онъ думалъ о будущемъ теперь, когда осмотрѣлся въ отцовскомъ домѣ. Отецъ его былъ добрякъ, мать странная, но безхарактерная женщина, Катя—дитя, съ ними ему легко было сладить, но Поля? Поля, которую онъ зналъ съ дѣтства, зналъ богатою, окруженною блескомъ и пышностью, избалованною теткой, избалованною обществомъ, Поля, если не есть уже, то будетъ опаснымъ врагомъ его. Поля, воспитанная въ Петербургѣ, знала цѣну деньгамъ и, проигравъ процессъ, вѣроятно, захочетъ вознаградить себя, присвоивъ значительную часть отцовскаго состоянія. Желаніе Полины угодить отцу, успокоить мать, избавляя ее отъ заботъ по хозяйству, было въ глазахъ Павла не болѣе какъ желаніемъ захватить въ свои руки власть въ домѣ, и ко-

нечно, впослѣдствіи значительную часть состоянія. Павелъ мало вѣрилъ безкорыстію, благородству чувствъ и не могъ допустить строго честныя правила справедливости въ такомъ лицѣ, интересы котораго могли придти въ соприкосновеніе съ его собственными интересами. Какъ могла Полина не желать жить опять въ городѣ, жить по прежнему? Всматриваясь въ ея характеръ, Павелъ видѣлъ, что она способна бороться и бороться сильно, что она не уступитъ ему; быть можетъ, онъ былъ правъ въ этомъ отношеніи, но конечно ошибался, когда, по русской поговоркѣ, мѣрилъ сестру на свой аршинъ, щедро надѣляя ее собственными замыслами. Долго ходилъ Павелъ по саду и кончилъ глубокія свои соображенія и размышленія словомъ: увидимъ!

Когда онъ воротился домой, онъ засталъ Полину въ залѣ; она была одѣта съ тою щегольскою простотой, тайна которой неуловима. Полина сидѣла у стола, въ рукахъ ея была сквозная корзина изъ саксонскаго фарфора, въ которую она клала персики, перемѣшанные виноградными кистями.

— Ждешь провинціальныхъ львовъ и одѣлась по петербургски; напрасно — они не поймутъ твоего туалета. Эти Трескины хотя и увѣряютъ, что они изъ Москвы, однако ужасно провинціальны. Старшій порядочный наглецъ, а меньшой глупъ, какъ...

— Напрасно, сказала Полина,—напрасно ты тратишь цвѣты своего краснорѣчія. Старшій умный, добрый человѣкъ, а младшій—еще мальчикъ.

— Все равно только право они не поймутъ изящества твоего туалета, пари держу, что имъ бросилось бы скорѣе въ глаза платье о пятидесяти оборкахъ, яркое, какъ заря, накрахмаленное какъ.... да вотъ такое, прибавилъ онъ, указывая на входящую Катю.

— Ужели не хорошо? воскликнула смущенная Катя.

— Отвратительно! произнесъ Павелъ рѣзко.

— А я была такъ рада, папа привезъ мнѣ его изъ Роменъ, съ ярмарки.

— Оно и видно.

— Не вѣрь ему, сказала Полина, улыбаясь сестрѣ,— ты молода, розовый цвѣтъ идетъ къ твоимъ лѣтамъ и еще больше къ твоему личику. Ты такая нынче хорошенькая!

— А я говорю и повторяю, сказалъ Павелъ еще рѣзче и раздражительнѣе,—что ты одѣта какъ горничная. Что̀ можетъ быть милѣе бѣлаго платьица, просто и ловко сшитаго, стянутаго у таліи какимъ-нибудь поясомъ. Неужели у тебя нѣтъ бѣлаго платья и пояса?

— Есть, проговорила смущенная Катя, жалостно посматривая на оборки своего розоваго кисейнаго платья, которое еще за минуту такъ ей нравилось.

— Такъ поди переодѣнься, сказалъ Павелъ.

— Очень охотно, другъ мой, отвѣтила Катя, цѣлуя брата и выходя изъ комнаты, прибавила: — Каковъ Поль, даже о моемъ туалетѣ заботится!

Въ это самое время у подъѣзда раздался стукъ подъѣхавшихъ экипажей, Петръ Ѳедоровичъ вышелъ изъ кабинета и спѣшилъ въ переднюю.

— Батюшка, куда же вы? спросилъ Павелъ у отца.

— Иду встрѣчать гостей, развѣ не слышишь, пріѣхали?

— Батюшка, подите лучше въ гостиную; вы слишкомъ стары, чтобы безпокоиться и встрѣчать гостей.

Полина вспыхнула, встала и пошла за отцомъ.

— Какъ можно! Нѣтъ, я не старъ еще. Пойдемъ, Поля, пойдемъ вмѣстѣ, и взявъ дочь за руку, старикъ вышелъ въ переднюю. Павелъ, крутя усы, съ досадой отправился въ гостиную.

Черезъ часъ гостиная была полна сосѣдей, и обѣдъ возвѣщенъ однимъ изъ тѣхъ дворецкихъ, которые ходятъ размахивая руками и кричатъ осиплымъ голосомъ: кушанье поставили! Обѣдъ былъ шуменъ, веселъ и нецеремоненъ. Павелъ сидѣлъ подлѣ Сони и безпрестанно шепталъ ей что-то на ухо; она поглядывала то на того, то на другого изъ гостей и смѣялась очень громко. Трескинъ любезничалъ съ Полиной и, казалось, не обращалъ на Соню ни малѣйшаго вниманія; по окончаніи обѣда пили кофе на террасѣ; молодые люди и дѣвушки бродили по палисаднику.

Павелъ подалъ руку Сонѣ, и разговоръ обратился на любовь; Павелъ высказывалъ свои мысли по этому поводу, и хотя Соня втайнѣ сочувствовала имъ, но сочла за долгъ свой ихъ оспаривать.

— Неужели вы не понимаете, говорилъ ей Павелъ,— что чѣмъ болѣе мужчина любитъ женщину, тѣмъ болѣе онъ выказываетъ эгоизма въ отношеніи къ ней. Такова любовь — она стремится захватить, покорить, уничтожить. Нельзя страстно любить женщину и воздержаться отъ сильнаго желанія раздавить ее своей волей, если не рукой, прибавилъ онъ смѣясь,—особенно, если она заявляетъ хотя слабыя попытки на сопротивленіе.

— Ну, ужь это слишкомъ, говорила Соня.

— Нисколько. Читали вы драму Дюма. Названія ея я не помню, а помню только одинъ эпизодъ ея. Мужъ заставляетъ жену писать письмо, она не соглашается: онъ хватаетъ ее за руку такъ, что она вскрикиваетъ: Vous me faites bien mal, monsieur! И разумѣется, пишетъ письмо. Вотъ какъ надо обращаться съ вами.

— Благодарю, сказала Соня,—другими словами, насъ, женщинъ, бить надо.

— Зачѣмъ такое грубое выраженіе, сказалъ Павелъ,

смѣясь,—въ нашъ образованный вѣкъ есть для всего на свѣтѣ вѣжливыя названія. Скажите, однако, продолжалъ онъ, перемѣняя тонъ и говоря серьезно,—ужели вы съ своей граціозной и мягкой натурой, съ своей красотой, гдѣ преобладаетъ нѣга и нѣжность, вдались въ новыя безумныя теоріи и будете защищать, что женщинѣ необходимы твердый умъ, воля, характеръ и неизмѣнныя правила?

— Отъ воли я отказываюсь, отъ твердаго ума, пожалуй, тоже, но правила?... Я всегда слыхала, что отъ насъ, вопервыхъ, требуютъ правилъ.

— Да къ чему они вамъ?

— Какъ къ чему? Надо же намъ внушить довѣренность... хотя мужу.

— Зачѣмъ! Совсѣмъ не нужно. Мужъ руководитъ женою; его воля замѣнитъ для нея правила, вѣрнѣе, онъ самъ—ея воплощенное правило.

Соня задумалась.

— О чемъ вы думаете? спросилъ ее Павелъ.

— Если сказать правду, то я думаю, о чемъ вы говорили. Я всегда мечтала о такомъ человѣкѣ, котораго бы я могла любить страстно, и чувствую, что могу любить такъ только того, кого буду бояться. Истинная любовь неразлучна съ какимъ-то страхомъ и боязнью. Страхъ и любовь, въ этомъ есть заманчивая неописанная прелесть. Это соединеніе упоенія и трепета. Бальзакъ сказалъ это, а онъ великій знатокъ сердца женщины.

— Вы настоящая женщина, и я тотчасъ угадалъ васъ, сказалъ Павелъ, прижимая къ себѣ руку Сони.

Соня вспыхнула и молчала.

Въ это время Катя и Волгинъ подошли къ нимъ, и звали ихъ покататься на лодкѣ. Обѣ пріятельницы, взявшись за руки, побѣжали по аллеѣ къ рѣчкѣ; быть можетъ,

обѣ онѣ желали отдѣлаться отъ своихъ спутниковъ, хотя и по совершенно разнымъ причинамъ. Подошедши къ крутому берегу, покрытому густымъ кустарникомъ, Катя раздвинула его руками и скрылась въ немъ. Соня смѣло и ловко пошла за нею. Онѣ сидѣли уже въ лодкѣ, когда Павелъ и Волгинъ догнали ихъ.

— Ну, садитесь и гребите, сказала Катя.

— Властелины наши, сказала Соня насмѣшливо,— не угодно ли вамъ стать нашими рабами и грести усердно, такъ, чтобы мы, госпожи ваши, остались вами довольны.

— Постараемся, сказалъ Павелъ.—Волгинъ, садитесь, вотъ сюда, весла въ руки, гребите рѣже, разъ... два... три... вотъ такъ.

И принагнувшись Павелъ налегъ на весла, и лодка понеслась какъ стрѣла, хотя они плыли вверхъ по теченію. Соня силилась по дорогѣ ловить своей дѣтской ручкой осоки, которыми мѣстами была покрыта рѣка, какъ зеленой сѣтью, и часто, поймавъ цвѣтокъ, тащила его за собой до тѣхъ поръ, пока стебель оставался въ рукѣ ея. Лодка сильно качалась, но Соня была безстрашна. Она клала на свои колѣни мокрые цвѣты и зелень, всѣ покрытые каплями свѣжей воды.

— Софья Антоновна, не нагибайтесь такъ, упадете въ воду, сказалъ Павелъ,—скажите лучше, что вамъ хочется. Вотъ эту большую плывущую вѣтку? Хорошо, ну вотъ, берите ее теперь, скорѣе, говорилъ онъ, ловко направляя лодку по прихоти хорошенькой шалуньи.

— Будетъ, мнѣ довольно цвѣтовъ, сказала Соня Павлу, —гребите шибче, а я съ Катей спою вамъ что-нибудь.

— Я право не знаю, сказала Катя,—что спѣть?

— Да что-нибудь.

Катя задумалась и вдругъ запѣла своимъ высокимъ, сильнымъ, полнымъ выраженія голосомъ:

Пѣснь моя летитъ съ мольбою
Тихо въ часъ ночной.
Въ рощу тихою стопою
Ты приди, другъ мой!

Эти звуки, свѣжіе, полные, страстные, раздавались по зарѣ; Соня не вторила Катѣ; она вся превратилась въ слухъ; глаза ея были влажны, дыханіе неровно, ноздри слегка раздулись, а рука машинально сплетала сорванныя ею водяныя растенія. Задумчивая и преданная упоенію чувства, она была еще лучше, чѣмъ всегда. Катя замолчала.

— Соловей, ей-Богу, соловей, воскликнулъ Волгинъ, предаваясь восторгу по-своему.—Будьте добры, спойте цыганскую.

— Не хочу, не могу, сказала Катя.

— Ну, не упрямься, спой, сказалъ Павелъ сестрѣ.

Она повиновалась и запѣла какую-то русскую пѣсню, плясовой напѣвъ которой былъ не безъ характера и энергіи.

— Ахъ! какъ хочется танцовать, сказала Соня и принялась бить тактъ ножкой, между тѣмъ какъ она соединяла въ огромный вѣнокъ перевитые ею цвѣты.

— Артисту, сказала она, кладя его на голову Кати. Она смутилась и покраснѣла, хотѣла снять съ себя вѣнокъ, но Соня схватила ее за руки. Черные волосы Кати проглядывали изъ-за широкихъ листьевъ, щеки ея зардѣлись— она была похожа въ эту минуту на тѣхъ итальянокъ, которыхъ загорѣлыя щеки художники любятъ изображать подъ широколиственными стеблями виноградныхъ лозъ.

— Не шали, говорила она Сонѣ, силясь вырвать у нея руки и снять съ себя вѣнокъ,—онъ мокрый, я только простужусь.

— Ну, Богъ съ тобой, недотрога, причудница, сказала Соня и, снявъ вѣнокъ съ головы Кати, повертѣла его въ рукахъ, окунула его въ воду и, потрясая имъ надъ всѣми, покрыла всѣхъ брызгами. Всѣ вскрикнули. Соня смѣялась какъ дитя и расшалившись надѣла-было вѣнокъ на себя, но тотчасъ сняла его.

— Что жь? спросилъ ее Павелъ.

— Я короновала Катю, какъ артиста, а я—что я такое? Безталанная... pauvre moi... сказала она, вздыхая и улыбаясь очень кокетливо.

— Первая женщина, получившая призъ, за что получила его? спросилъ Павелъ.

— За красоту, сказалъ Волгинъ съ торжествомъ, радуясь тому, что знаетъ что-нибудь.

— Коронуйте же себя скорѣе, пока не прошла ваша насмѣшливая улыбка, которой вы привѣтствуете глубокія познанія нашего друга Волгина. Клянусь вамъ, что въ эту минуту вы прелестнѣе всѣхъ женщинъ на свѣтѣ, не исключая и миѳологическихъ.

Она положила его на голову, немного на бокъ; широкіе листья вѣнка прикрыли съ одной стороны ея косу, а съ другой, низко спускаясь на щеку, оттѣняли ея бѣлизну; ея едва видный пушокъ, какъ кожа молодого персика, составлялъ контрастъ съ мохнатымъ пухомъ грубаго листа. Крупныя капли воды стекали медленно со стеблей и, упадая на плечи Сони, тонули въ кисейныхъ складкахъ ея бѣлаго платья. Мокрыя складки прильнули къ ея плечамъ и ихъ розовый контуръ виднѣлся изъ-за нихъ.

— Вы похожи на русалку, сказалъ Волгинъ довольно удачно.

— Вы рѣшительно нынче въ ударѣ, и если не побѣдите теперь какой-нибудь красавицы, то откажитесь отъ этого

навсегда, сказалъ Павелъ Волгину, не спуская глазъ съ Сони.

— Не смѣйте такъ смотрѣть на меня, сказала она ему тихо.

— Это что за слово?

— Вы должны повиноваться мнѣ; развѣ, садясь въ лодку, я не сказала вамъ, что вы рабы наши, а мы ваши властелины.

— Властелинъ не можетъ относиться къ женщинѣ. Это мужской родъ. По русски нѣтъ такого слова, потому именно, что въ русскихъ нравахъ нѣтъ этого понятія.

— Я не хочу разсуждать.

— А я не хочу повиноваться.

Въ этомъ мѣстѣ рѣка раздѣлялась на два рукава и, журча по прибрежнымъ камышамъ, обнимала небольшой островъ, обросшій частымъ кустарникомъ; противъ него большой, осыпавшійся крутой, какъ утесъ, берегъ изъ бѣлаго песка стоялъ при наступавшихъ сумеркахъ, будто великанъ въ саванѣ. Это мѣсто было любимое мѣсто Кати. Сколько разъ, еще маленькой дѣвочкой, она ходила сюда съ матерью, и пока мать ея садилась наверху, сбѣгала внизъ и взбѣзала опять наверхъ, протягивая ей руки и потомъ долго, бывало, сидѣли онѣ вдвоемъ, глядя на сосѣдніе зеленые луга, на быстро бѣгущую рѣчку, на зеленый островъ, на пасшіяся вдали стада. И вотъ она—уже дѣвушка, но такая же рѣзвая, такая же беззаботная, какъ то балованное дитя. Ничто еще не измѣнилось ни въ ней самой, ни вокругъ нея.

— О чемъ это вы думаете, Екатерина Петровна? спросилъ ее Волгинъ, помогая ей выходить изъ причалившей лодки и пробираться сквозь частый кустарникъ острова на небольшую лужайку, находившуюся посреди него.

— Этотъ островъ зовутъ Катинъ островъ. Мама такъ

назвала его, потому что я всегда любила ѣздить сюда на лодкѣ. Вся жизнь моя прошла въ этихъ мѣстахъ; я люблю ихъ и не желаю никакой перемѣны.

— Дѣвицы всегда однако желаютъ перемѣны въ жизни, замѣтилъ Волгинъ.

— Можетъ быть, но не я. Гдѣ же Соня?

— Павелъ Петровичъ переноситъ ее изъ лодки на берегъ, сказалъ Волгинъ улыбаясь.—Она не вы, не умѣетъ ходить по песку, лазить по кручѣ, пробираться сквозь чащу. Ей надо провожатаго, а вашъ братецъ никакъ не прочь отъ этой должности.

— А вотъ я позову ихъ. Ау, ау! кричала Катя.

— Браво, брависсимо, отозвался ей голосъ Павла въ чащѣ высокой нотой. Не заботься о насъ, мы идемъ. Ну, дайте же ручку, mademoiselle Sophie; смотрите, здѣсь пень, а здѣсь высокая трава, чуть не по колѣно. Не зашибите своихъ ножекъ. Погодите, я раздвину эти вѣтви, ну, теперь проходите.

Одной рукой Павелъ держалъ вѣтви кустарника, а другой держалъ Соню за руку. Къ несчастію, одна изъ сильно натянутыхъ имъ вѣтвей вдругъ выскользнула изъ-подъ руки его и сильно хлестнула Соню по обнаженной рукѣ, быстро поднятой для защиты лица. Соня вскрикнула и прижала руку къ губамъ. Павелъ пустилъ вѣтви, которыя, собравшись вмѣстѣ, окружили ихъ со всѣхъ сторонъ и заключили въ свою зеленую купу.

— Что съ вами? сказалъ онъ съ испугомъ.

— Одна изъ вѣтвей обожгла мнѣ руку.

Павелъ нагнулся къ рукѣ ея; красная, какъ огонь, полоса просѣкла ее отъ локтя до кисти и сквозь ея тонкую кожу проступила алая кровь. По невольному движенію, полному внезапной страсти, Павелъ схватилъ руку и покрылъ ее безчисленными неожиданными поцѣлуями. Соня

хотѣла вырваться, но онъ не выпускалъ ея и, взявъ ее за талію, потянулъ къ себѣ.

— Вы съ ума сошли, пустите, говорила Соня замиравшимъ голосомъ, въ которомъ испугъ и нѣга равно выражались.—Ради Бога пустите, или я...

— Что? спросилъ онъ, смотря прямо въ глаза ея своими жадно-голодными, но блестящими глазами. Она не выдержала этого взгляда, будто онъ околдовывалъ ее, опустила голову и перестала биться въ рукахъ его. Онъ былъ доволенъ своею побѣдой надъ ней и опустилъ ея руку. Лишь только она почувствовала себя на свободѣ, какъ, прыгнувъ въ сторону, скрылась въ чащѣ и въ нѣсколько прыжковъ очутилась на лужайкѣ подлѣ Кати. Ей казалось, что она видѣла все это во снѣ, и испуганный взоръ ея былъ такъ выразителенъ, что Катя подбѣжала къ ней, говоря:

— Что съ тобою?

— Посмотри, какъ я разсѣкла себѣ руку, сказала Соня, опомнившись.

— Что скажетъ твоя маменька!

— Вотъ еще, возразила Соня;—да если я захочу, то она не только ничего не скажетъ, но еще и не увидитъ. Завтра мнѣ придетъ фантазія носить рукава façon juste или шведскія длинныя перчатки, и верховой поскачетъ за ними въ городъ. Вотъ и все. А вотъ скажи-ка лучше, какъ я съ этимъ поѣду черезъ недѣлю на балъ? Вѣдь у Нехлюдовыхъ именины и балъ!

— Не пора ли домой, сказалъ Павелъ, лѣниво подходя къ дѣвушкамъ. Онъ, казалось, былъ не совсѣмъ въ духѣ.— Дѣйствительно пора, сказалъ онъ,—мѣсяцъ всходитъ. Черезъ часъ лодку причалили къ садовой пристани, и Павелъ подалъ Сонѣ руку.

— Я пойду одна, сказала она.

— Дайте мнѣ руку, сейчасъ, я хочу этого, сказалъ ей Павелъ съ особеннымъ выраженіемъ. Она оглянулась на него: взоръ ея былъ суровъ, но, встрѣтясь съ нимъ глазами, она не выдержала его взгляда.

— Я дивлюсь, сказала она, силясь улыбнуться,—что̀ значитъ это: я хочу.

— Не шутите со мной, отвѣтилъ онъ,—я неспособенъ шутить теперь. Дайте ручку.

Она подала ее и молча пошла съ нимъ по аллеѣ, не смѣя говорить, еще меньше смѣя глядѣть на него. Павелъ ясно сознавалъ, что успѣлъ взять надъ ней какую-то волю, что онъ производилъ на нее то обаятельное дѣйствіе, которое покоряетъ многихъ женщинъ и полно для нихъ неизъяснимой покоряющей силы. Оно особенно всемогуще надъ тѣми, у которыхъ есть горячая голова и нѣмое еще неразвитое или сухое сердце; случается, что все это не болѣе какъ шалость сердца, отдающагося минутной, но тѣмъ не менѣе пылкой прихоти. У Сони было всего этого понемногу. Нѣмое сердце молчало, разгоряченная голова, раздраженное воображеніе работало и увлекало ее.

— За что̀ вы разсердились? спросилъ ее Павелъ. — Что́ вамъ не нравится? Говорите же! Вы разсердились за мой поцѣлуй?

— Конечно. Развѣ это можно? Развѣ это прилично?

— А развѣ сердце спрашивается вашихъ приличій и вашей маменьки?

Соня улыбнулась.

— Было за что̀ сердиться. Вы были хороши, я видѣлъ только васъ, любилъ только васъ въ эту минуту,— ужели вы этого не поняли?

— Что мнѣ за дѣло до этого, силилась говорить Соня,—но я не любила васъ...

— Не любила! Не правда. У васъ замерло сердце, оно и теперь замираетъ; развѣ это не любовь? Ну, скажите, теперь, въ эту минуту, и онъ склонился надъ ней и сжалъ ея руку, вы меня не любите?

— Оставьте меня, я ненавижу васъ, сказала Соня, идя быстрѣе впередъ.

— Ненавидить значитъ любить, сказалъ онъ, дерзко глядя на нее и склонясь надъ нею, прильнулъ губами къ ея серебрянымъ волосамъ, позлащеннымъ лучами мѣсяца. Соня не выдержала, она отскочила, бросилась бѣжать и догнала Катю. Трескинъ давно ждалъ ихъ на балконѣ.

— Какъ вы долго гуляли и какъ поздно вернулись, сказалъ онъ тихо Сонѣ.

Соня была въ нервномъ состояніи; она была недовольна собою; смущеніе, досада, стыдъ и гнѣвъ боролись въ душѣ ея съ какимъ-то до сихъ поръ неизвѣстнымъ чувствомъ. Она взглянула холодно и надменно на Трескина и осыпала его потокомъ словъ.

— Вамъ что за дѣло? Кто васъ проситъ смотрѣть за мной? Развѣ вы моя гувернантка?

— Право, я думаю, что вашей матери слѣдовало бы запастись гувернанткой, сказалъ Трескинъ съ досадой. — Вѣдь васъ здѣсь ждутъ ужь больше часа, безпокоятся...

— Какъ вы осмѣлились ждать меня, какъ смѣли безпокоиться! воскликнула Соня.—Я не хочу этого, я вамъ запрещаю безпокоиться обо мнѣ.

— Соня, Соня, сказала Катя, взявъ ее за обѣ руки,— опомнись, что съ тобой!

— Оставь меня, Катя! Еслибъ ты только знала какъ они всѣ меня мучатъ, тиранятъ, я ужь не могу больше. И Соня заплакала.

— Да что съ ней, ради Бога, спрашивалъ Трескинъ

у Кати, переходя отъ досады къ сильному безпокойству,— скажите, что̀ съ ней?

— Право не знаю. Сперва Соня была такая веселая, пѣла, мы болтали, а потомъ она больно разсѣкла себѣ руку.

— Чѣмъ это? Но какъ же это! Софья Антоновна, простите меня, я не зналъ, я виноватъ. Покажите мнѣ руку.

— Не хочу, оставьте меня въ покоѣ, слышите, сказала Соня, топая ножкой.

— Боже мой, сказалъ Трескинъ, невольно складывая руки,—Боже мой, какъ вы дурно воспитаны!

Соня скользнула въ гостиную, но Катя остановилась и, обратясь къ смущенному и опечаленному Трескину, произнесла тихо:

— Не сердитесь на нее и не печальтесь; это правда, что она немного избалована, но за то такъ добра, очень добра.

Трескинъ молчалъ; онъ зналъ все это, и взглянувъ на кротко глядѣвшую на него Катю, вымолвилъ:

— Вы добры, Екатерина Петровна!

Послѣ этой прогулки Павелъ часто ѣздилъ къ Сурмиловымъ и не оставлялъ Сони, когда она пріѣзжала къ его сестрамъ. Его обращеніе съ ней было нецеремонно, очень часто смѣло и дерзко, хотя онъ по своему и угождалъ ей. Узнавъ, что она любитъ кататься, онъ завелъ себѣ отличный кабріолетъ, выѣздилъ огромную лошадь, злость которой равнялась его собственному упорству. Онъ однако побѣдилъ капризы этой лошади и находилъ особенное наслажденіе въ томъ, чтобы усадить Соню въ кабріолетъ въ то время, какъ лошадь его, цѣлый звѣрь, взвивалась на дыбы и грызла узду. Онъ не жалѣлъ бича и сильной рукою вла-

дѣлъ ею; Соня боялась и вмѣстѣ съ тѣмъ дивилась силѣ, ловкости и умѣнью Павла. Она сидѣла рядомъ съ нимъ, и ярый конь уносилъ ихъ обоихъ въ легкомъ хрупкомъ кабріолетѣ, оставляя за ними цѣлое облако пыли. Напрасно Марѳа Ивановна складывала руки и говорила монологи, Павелъ не обращалъ на это ни малѣйшаго вниманія, а Соня, нѣжно поцѣловавъ мать, зажимала ей ротъ рукою и только что не каждый день каталась съ Павломъ. Трескинъ ѣздилъ рѣже, да и то выбиралъ такіе дни, когда могъ предполагать, что не встрѣтитъ Павла. Они были съ нимъ холоднѣе прежняго.

Однажды, когда Сони не было дома, Трескинъ, пріѣхавъ и не найдя никого въ маленькомъ кабинетѣ, отдѣланномъ для деревни чрезвычайно роскошно, вышелъ на балконъ и очутился лицомъ къ лицу съ Марѳой Ивановной. Она суетилась около дюжины кустовъ, которые разсаживала въ кадки; черный фартукъ и шведскія перчатки, которыми она вооружилась по этому случаю, нисколько не защитили ея платья и ея рукъ отъ пыли и земли, которыми она была вымазана. Привыкнувъ ко всѣмъ странностямъ и причудамъ семьи Якшиныхъ, Трескинъ не обратилъ особеннаго вниманія ни на нарядъ, ни на занятіе Марѳы Ивановны. Онъ спросилъ только:

— А Софья Антоновна дома?

— Соня! Помилуйте, да она, я думаю, обошла ужь все село. Вы знаете, моя Соня ангельская душа! Еслибы вы только знали, какъ она ухаживаетъ за больными и своими бѣлыми, какъ воскъ, ручками трогаетъ загорѣлыя лица крестьянъ или ихъ закорузлыя руки. Она трогательна! Oh que oui! elle est touchante!

Трескинъ былъ не въ духѣ. Онъ пріѣхалъ именно къ Сонѣ и попалъ на старую болтунью.

— Зачѣмъ же она трогаетъ загорѣлыя лица крестьянъ? сказалъ онъ серьезно и холодно, хотя и вѣжливо.

— Ахъ, какіе вы homme prosaique! Иногда надо же приложить компрессъ къ головѣ, пощупать пульсъ.

— А!

— Да, моя Соня удивительно добра. Это необычайно милая дѣвушка. Еслибъ вы только видѣли, какъ она нынче говорила съ бѣдной матерью больного ребенка. C'est la providence des pauvres, la soeur de charité! Знаете ли, что̀ я часто думаю? Соня не подозрѣваетъ своего призванія. Она родилась для того, чтобы быть сестрою милосердія. Въ этомъ я не сомнѣваюсь.. Вы видали во Франціи одежду сестеръ милосердія? Прелестный костюмъ! Синяя юбка и батистовая пелена вокругъ головы, до пояса длинныя четки, на груди крестъ. Конечно, многія женщины не могутъ вынести батистовую пелену около лица. Оно и понятно, почти нѣтъ кожи, которая бы могла спорить съ бѣлизной батиста; но Соня такъ бѣла, что, я увѣрена, батистовая перевязь шла бы къ...

— Что̀ вы это дѣлаете? Надъ чѣмъ такъ трудитесь? спросилъ Трескинъ, будучи не въ состояніи слушать до конца эту длинную тираду.

— Да что̀ же мнѣ дѣлать, какъ не жить для дочери! Для кого трудиться, какъ не для нея!

— Но я никакъ не могу понять...

— О, вы будете видѣть и не увидите, будете догадываться и не догадаетесь. Чувства матери понятны только другой матери, и притомъ нѣжной. Но мужчина! Я вамъ скажу, хотя, быть можетъ, вы и обвините меня въ повтореніи пошлой, истертой фразы, что хуже мужчинъ нѣтъ ничего на земномъ шарѣ!

— Это говорятъ и о женщинахъ, Марѳа Ивановна, но вы все еще не сказали мнѣ, что̀ вы дѣлаете?

— Пересаживаю кусты воздушныхъ жасминовъ: велѣла ихъ высадить изъ клумбъ и сажала въ кадки.

— Да это не слыхано.

— Ну да. Но Соня сказала намедни, что воздушные жасмины—любимые цвѣты ея, и что она хотѣла бы имѣть ихъ въ своей комнатѣ. Марѳа Ивановна вдругъ засмѣялась.

— Чему вы смѣетесь, глядя на меня?

— Не обижайтесь, право, смѣшно! Влюблены, а не поняли этого, не замѣтили, что она это сказала при васъ. Охъ, ужь вы, нынѣшніе влюбленные!

— Я не влюбленъ, Марѳа Ивановна, сказалъ Трескинъ съ досадой.

Марѳа Ивановна погрозила ему пальцемъ и принялась за пересадку растеній, говоря:

— Ну, хорошо, хорошо!

— А гдѣ же тюльпаны? Недѣлю назадъ Софья Антоновна любовалась тюльпанами, и окна гостиной уставлены были только ими.

— Да, теперь велѣла убрать. Говоритъ: une fleur sans parfum c'est une femme sans intelligence! Не правда ли, капризы Сони заключаютъ въ себѣ неотразимую прелесть? Я мать, но не могу не видѣть этого. Она напоминаетъ мнѣ одну изъ самыхъ очаровательныхъ героинь Мюссе Маріанну,—знаете, въ его пьесѣ „Les caprices de Marianne“. Вы читали?

— Какъ же, только тамъ капризъ заходитъ слишкомъ далеко. Маріанна любитъ потому только, что ея не любятъ.

— Соня и на это способна; ей Богу, такъ. Она создана иначе, чѣмъ другія. Я часто ей говорю это; вотъ и намедни, взявъ пословицу Мюссе, отдала ее ей и говорю: прочти, вѣдь это писанная ты.

— Въ томъ-то и бѣда, пробормоталъ Трескинъ и прибавилъ: Позвольте мнѣ идти въ садъ покуда.

— Да, да, я понимаю: вы пробираетесь къ ней на встрѣчу! Подите, подите, я не держу васъ. Гдѣ вамъ сидѣть со мной старухой? Рыба любитъ гдѣ глубже, а молодость ищетъ любовь, дѣло извѣстное.

— Сумашедшая женщина, думалъ Трескинъ выходя,— губитъ дочь, сумашедшая женщина!

Къ обѣду Соня воротилась; не смотря на всѣ разсказы матери, она просто бродила по лугамъ и, разумѣется, не годилась въ сестры милосердія, хотя по врожденной добротѣ поспѣшила бы помочь бѣдному или больному, когда бы онъ случайно попался на глаза ея. Она встрѣтила Трескина довольно холодно и не обратила вниманія на кусты жасминовъ, которыми была убрана гостиная. Мать ея жадно ловила ея взгляды и наконецъ не утерпѣла:

— Соня, или ты не видишь? И она показала на кадки.

— Вижу, mercі, maman.

— Только-то! А я старалась цѣлое утро, устала до смерти.

— Да кто же васъ заставлялъ, мама? Вѣдь это, право, даже скучно. Я пустого слова вымолвить не могу, что вы сами измучитесь, да и весь домъ измучите, чтобы тотчасъ исполнить, не скажу—мое желаніе или даже прихоть, а просто праздное слово.

— Вотъ и не понравилось! воскликнула Марѳа Ивановна.—Ну, не говорила ли я, что она другая Маріанна?

Соня не отвѣтила, сѣла за пяльцы и задумалась. Трескинъ сѣлъ рядомъ съ ней; мать вышла изъ комнаты, разсуждая, какой бы другой сюрпризъ поудачнѣе выдумать для дочери.

Соня вышивала, наклонивъ голову на пяльцы, и рука ея

быстро двигалась, повинуясь, быть можетъ, взволнованнымъ чувствамъ. Трескинъ взглянулъ на нее, прошелся и опять сѣлъ подлѣ нея. Оба они долго молчали. Наконецъ Соня прервала это молчаніе и сказала отрывисто:

— Что жь вы молчите? Или взяли на себя роль привидѣнія, чтобы испугать меня?

— Да говорить-то не о чемъ, отвѣчалъ онъ холодно и, по видимому, спокойно.

— Да и печалиться не о чемъ, возразила Соня.

— Ну, съ этимъ я несогласенъ, возразилъ онъ.

— Это почему?

— Конечно; кому, истинно къ вамъ привязанному, можетъ быть пріятно ваше поведеніе въ послѣднія три недѣли?

— Какое преступленіе я совершила? спросила она насмѣшливо.

— Не принимайте такого тона, я не намѣренъ шутить, я хочу говорить съ вами серьезно. Ужели вы не можете подарить мнѣ полчаса и поговорить со мною разумно? Скажите это, и я тотчасъ уѣду. Мои лошади ужь готовы, и докучать собою я не намѣренъ.

— Какъ хотите, сказала Соня съ пренебрежительной беззаботностью.

— Въ такомъ случаѣ прощайте.

Онъ всталъ и пошелъ изъ комнаты; Соня взглянула и проводила его глазами до самой двери. Онъ отворилъ ее и скрылся за нею.

— Трескинъ, Трескинъ, Jean! закричала она вслѣдъ ему.

— Что вамъ угодно? спросилъ онъ, показываясь въ дверяхъ.

— Останьтесь!

— Нѣтъ, я не останусь, если вы не хотите только играть мною и моимъ чувствомъ. Я люблю васъ, вы это

слишкомъ хорошо знаете, но я не позволю вамъ сдѣлать изъ меня пѣшку. Я уѣду; я сумѣю сладить съ собою и убью въ себѣ недостойное чувство. Да, оно недостойно, какъ скоро человѣкъ сознаетъ, что въ любви нѣтъ ни довѣренности, ни уваженія!

При этихъ словахъ Соня перемѣнилась въ лицѣ, и иголка выпала изъ рукъ ея; скоро однако она оправилась и, сложивъ руки на пяльцахъ, посмотрѣла въ глаза его и сказала холодно:

— Понимаю! Вы оскорбляете меня затѣмъ, чтобы выместить на мнѣ сумашедшую ревность свою. Развѣ я не вижу, что вы приревновали меня къ monsieur Полю. Ревность и сцены—плохой способъ заставить полюбить себя.

— Ревность! Нѣтъ, это не ревность. Я не принадлежу къ пуританамъ и не считаю преступленіемъ легкое кокетство женщины въ гостиной, особенно, когда оно не переходитъ извѣстныхъ границъ.

— Какія же это границы? Ихъ было бы любопытно узнать и изучить, хотя бы для того только, чтобы не подвергаться вновь такой же скучной сценѣ, какъ эта, сказала Соня съ ироніей.

— Оставьте этотъ тонъ, повторяю вамъ; я говорю съ вами серьезно, и этотъ разговоръ долженъ имѣть важныя послѣдствія на вашу и мою судьбу. Хотите ли вы говорить, не шутя, не привязываясь къ словамъ, не искажая смысла ихъ? Въ противномъ случаѣ мнѣ говорить не о чемъ, и я тотчасъ уѣду, и... навсегда.

— Говорите, я слушаю, сказала Соня серьезнѣе прежняго.

Онъ понялъ, что перевѣсъ на его сторонѣ и сталъ говорить еще тверже.

— Я рѣшился говорить съ вами потому, что не убѣжденъ еще въ совершенной испорченности вашего сердца, хотя знаю, что характеръ вашъ искаженъ до-нельзя. Цѣлый

годъ я любилъ васъ; цѣлый годъ цѣною постоянной о васъ заботливости, нѣжности и даже—что̀ таить правду—непростительной покорности вашимъ капризамъ я думалъ убѣдить васъ въ правдѣ моей привязанности и пріобрѣсти вашу любовь. Я думалъ, что вы оцѣнили все это, взглянули серьезно на жизнь, поняли, что она не романъ и не драма съ сюрпризами и превращеніями, что въ ней есть и долгъ, есть и борьба, есть и неизбѣжныя страданія. Кажется, я ошибался. При первой недоброй встрѣчѣ, вы поддались дурному вліянію. Ваши гибельныя понятія о жизни, почерпнутыя изъ плохихъ французскихъ романовъ, пустые разговоры и совершенное отсутствіе всякаго разумнаго развитія очень быстро увлекли васъ по иному пути и заставили васъ поддаться гибельному, особенно для васъ, сближенію съ человѣкомъ опаснымъ и безнравственнымъ.

— Какъ вамъ не стыдно, сказала Соня, покраснѣвъ до ушей, — клеветать на человѣка, котораго вы мало знаете. Вы говорите о Сурмиловѣ?

— Да.

— Не зная его.

— Нѣтъ, я знаю его; довольно перемолвить съ нимъ два слова, чтобы знать, что̀ онъ такое. Но оставимъ его, я говорю не о немъ, но о васъ. Выслушайте меня до конца, прошу васъ.

— Извольте, говорите.

— Ваше сближеніе съ нимъ, сколько могу я понять, не основано ни на любви, ни даже на увлеченіи, свойственномъ молодости. Это не болѣе, какъ жажда ощущеній. Вы ищите въ жизни не правды, не любви, не спокойствія и глубины чувства, не той поэзіи, которой преисполнены отношенія простыя и чистыя, полныя обоюдной довѣрчивости, а шумныхъ словъ, выдуманныхъ чувствъ и какой-то фаль-

шивой страстности. Словомъ, это шалость сердца, порожденная праздным и испорченнымъ воображеніемъ.

— Покорно васъ благодарю за хорошее обо мнѣ мнѣніе, сказала Соня.

— Въ этомъ виноваты не вы однѣ, но все ваше воспитаніе и особенно неразборчивость въ чтеніи пустыхъ, и хуже того, дурныхъ книгъ.

— Не сами ли вы говорили когда-то, что можно читать все, исключая безнравственныхъ книгъ? Такихъ нѣтъ въ нашемъ домѣ.

— Правда; но въ самой вашей натурѣ, въ вашемъ воспитаніи было много такого, что̀ приготовило въ васъ почву для принятія всего ложнаго, преувеличеннаго, безразсуднаго. На разумныя и простыя натуры дурной романъ не производитъ никакого впечатлѣнія; на натуры легкія, причудливыя, капризныя—выходитъ на оборотъ. Но оставимте это. Въ послѣднее время и сердце ваше смолкло, заглохло; вы не щадили меня. Вы говорили, что я ревную васъ, нѣтъ. Я пришелъ только за положительнымъ отвѣтомъ. Скажите мнѣ прямо, что у васъ за отношенія съ Сурмиловымъ? Вы шалите? Или вы увлечены, и голова ваша нашла въ этихъ отношеніяхъ ту пищу, которой она напрасно искала въ любви моей. Что̀ за чувство, наконецъ, владѣетъ вами? Взгляните на меня, Соня; передъ вами не смѣшной ревнивецъ и не строгій другъ, и не скучный моралистъ; передъ вами искренне къ вамъ привязанный человѣкъ, готовый сказать вамъ правду, но готовый также принять всякое ваше чистосердечное слово прямо къ сердцу и тотчасъ простить и забыть ваше легкомысліе. Не слово раскаянія или даже сожалѣнія нужно мнѣ, а только довѣріе, дружбу, искреннее сознаніе!

Онъ придвинулъ свой стулъ и нѣжно взялъ ее за руку; она была смущена, и быть можетъ, тронута.

— Какой вы странный, начала она;—ну, правда, я кокетничала съ Сурминовымъ, но что жь изъ того? Развѣ вы сами не сказали сейчасъ, что понимаете и прощаете легкое кокетство. Я молода, я не такой философъ, какъ вы!

Она засмѣялась и, показавъ на него съ дѣтской миною и замашками шаловливаго дитяти, прибавила:

— У, какой угрюмый!

— Это опять уловка, возразилъ Трескинъ серьезно;—я просилъ правды, а вы отшучиваетесь и хотите разсмѣшить меня.

— Ну да, сказала Соня,—пожалуй, я буду откровеннѣе, но вы заставляете меня говорить о такихъ вещахъ, о которыхъ мы, женщины, говорить не любимъ. Павелъ Сурминовъ страстно влюбленъ въ меня и...

— Кто вамъ сказалъ это?

— Какъ кто? Вотъ забавно; да все его поведеніе со мной, его частыя сюда посѣщенія и наконецъ его объясненіе со мною.

— Онъ сватался?

— Нѣтъ еще; но вѣдь это почти то же.

— Совсѣмъ не то же; онъ, вѣрно, говорилъ вамъ только о своей любви.

Она кивнула головой въ знакъ согласія.

— А! сказалъ онъ,—говорилъ о любви и не говорилъ о женитьбѣ; это совершенно въ его духѣ. И вы не оскорбились этимъ! Ахъ, Соня, Соня! Но ваша мать? Неужели она ничего не видитъ, неужели она и въ такомъ важномъ дѣлѣ не даетъ вамъ какого-нибудь добраго совѣта?

— Опять нападка на мама, сказала, вспыхнувъ, Соня, радуясь тому, что могла повернуть разговоръ и наконецъ прекратить его.—Вотъ ужь часъ, что вы читаете мнѣ нравоученія, напрашиваетесь въ мои духовники и вдобавокъ

браните мама. Моего терпѣнія и моихъ силъ не стало больше на все это; радуйтесь же: вы разсердили меня, разстроили, заставили плакать!

Соня встала и вышла изъ комнаты съ глазами полными слезъ. Досада раздразнила самолюбіе, тревога вызвала ихъ внезапно. Она сама не знала, о чемъ она плакала.

Трескинъ вышелъ въ садъ и долго скорыми шагами ходилъ по аллеѣ. Онъ очень хорошо понималъ, что, привязавшись къ Сонѣ, не отказываясь отъ надежды назвать ее своей женой, онъ ставилъ все счастіе своей жизни на карту. Выиграетъ—хорошо, лопнетъ—все пропало. Онъ понималъ, что Соня стояла на распутьи—какую дорогу выберетъ она, по которой пойдетъ, да кто можетъ поручиться за нее: пойдетъ по одной, а своротитъ на другую. Но онъ любилъ ее, сердце говорило за нее, хотя разумъ не однажды уже нашептывалъ ему имя Кати, и всякій разъ какъ онъ думалъ о женитьбѣ и спокойствіи семейной жизни. Утомившись, онъ сѣлъ на скамью и въ раздумьи оперся головой на руку. Легкій шорохъ платья по песку заставилъ его оглянуться. Соня шла по аллеѣ, потупивъ голову, задумчивая и печальная. Очень рѣдко случалось ему видѣть ее такою, но такою онъ особенно любилъ ее. Не смотря однакоже на это, онъ не далъ ходу собственному чувству и, поднявъ голову, старался казаться спокойнымъ и равнодушнымъ.

Она подошла къ нему, сѣла возлѣ него и сказала тихо:

— Помиримтесь, я была не права, но и вы тоже. Не будемте говорить и думать о размолвкѣ послѣднихъ недѣль.

Звукъ ея голоса былъ мягокъ; что-то дѣтски откровенное слышалось въ немъ; онъ посмотрѣлъ прямо въ глаза и сказалъ:

— Я очень радъ все забыть, кромѣ нашей привязанности, но вы должны дать мнѣ обѣщаніе не компроме-

тировать себя съ Сурминовымъ. Вѣдь это не ревность съ моей стороны, а только опасеніе за вашу добрую славу и ваше спокойствіе. Повѣрьте, что Сурминовъ эгоистъ и притомъ человѣкъ дерзкій, онъ не пожалѣетъ васъ.

Соня вспомнила свою прогулку въ лодкѣ, сцену въ саду и на островѣ и почувствовала, что сердце ея замерло.

— Повѣрьте, что онъ или насмѣхается надъ вами, или отъ скуки играетъ вами; онъ не умѣетъ, не можетъ любить. Вы видите, я говорю съ вами какъ съ нѣжно любимой сестрой; въ моей любви къ вамъ есть огромная доля жалости; такъ и кажется мнѣ, что вы беззащитны и оставлены на волю судьбы. Сохрани васъ Богъ отъ любви къ такому человѣку, какъ Сурминовъ.

— Я не люблю его, сказала Соня съ испугомъ.

Тонъ ея голоса говорилъ такъ много, что Трескинъ съ новой тревогой взглянулъ на нее.

— Я этого не думаю, но вы увлеклись или, лучше, невольно поддались его вліянію и его силѣ. Я думаю, что силы у него много, но не на добро.

— Нѣтъ, право, нѣтъ, отчего вамъ пришла такая мысль? Хотите, я завтра не поѣду на балъ. А вы знаете, какъ я ждала этого бала. Вотъ ужь четыре мѣсяца, какъ я не танцовала, но для васъ я откажусь отъ этого удовольствія.

— Ахъ, Соня, сказалъ онъ,—какая вы странная! Къ чему такія жертвы? Ничего вы не можете сдѣлать просто, благоразумно. Поѣзжайте, танцуйте, веселитесь, но только, ради Бога, не воображайте себя героиней какого-нибудь неизданнаго романа.

Онъ засмѣялся, чтобы смягчить значеніе словъ своихъ, засмѣялась и она.

— И откуда вы взяли все это! Какіе романы! Какая

героиня! Это только смѣшно, а ужь я никакъ не хочу взять на себя такую роль! Скажите мнѣ, чѣмъ я подала вамъ поводъ думать, что навязываю на себя роль героини романа.

— Это мой секретъ, сказалъ онъ, цѣлуя ея руку очень нѣжно.

— Пойдемте домой, пора, сказала она;—мама, вѣрно, ждетъ насъ обѣдать. Вѣдь вы обѣдаете съ нами, не правда ли?

— Теперь, конечно, сказалъ онъ, подавая ей руку;—она оперлась на нее, и оба они скоро исчезли за густыми клумбами кустарниковъ, обрамлявшихъ цвѣтникъ.

Весь уѣздъ, даже сосѣдніе къ уѣзду помѣщики съѣхались съ утра у ***. По случаю именинъ хозяина былъ пиръ горой, обѣдъ и балъ. Позднѣе всѣхъ, передъ самымъ обѣдомъ, явились Сурмиловы и Якшины. Петръ Ѳедоровичъ, Глафира Николаевна и Марѳа Ивановна пріѣхали въ коляскѣ, а молодежь—въ шарабанѣ. Когда при громѣ подъѣзжавшихъ экипажей хозяинъ и за нимъ многіе мужчины вышли изъ билліардной на широкое крыльцо дома, они могли полюбоваться на особенную ловкость, съ которою Павелъ завернулъ въ воротахъ лихую четверню и, сдѣлавъ полукругъ на широкомъ дворѣ, подкатилъ къ подъѣзду. На задней скамейкѣ шарабана сидѣли Катя и Полина; на передней—Соня рядомъ съ Павломъ. Она была одѣта въ бѣлое платье, на которомъ былъ накинутъ артистическій и богатый складками алжирскій бурнусъ; шляпка съ широкими полями покрывала ея голову; розовые банты, украшавшіе эту шляпку-bergère, обрамляли ея розовое личико; гладко зачесанные бѣлокурые волосы едва виднѣлись изъ-за пышныхъ бантовъ. Увидѣвъ Соню рядомъ съ Павломъ, Трескинъ нахмурился, и не дожидаясь, чтобы она вышла изъ экипажа,

пошелъ назадъ въ комнаты и тотчасъ занялся игрою на билліардѣ.

Соня скользнула въ гостиную, и скоро дѣвичій лепетъ, поцѣлуи, привѣтствія хозяевъ, говоръ гостей раздались въ домѣ, будто всѣ оживились при появленіи этихъ двухъ семействъ, особенно любимыхъ въ околоткѣ. Подали обѣдъ, и длинная вереница лицъ, какъ громадный польскій, потянулась въ столовую. По издавна заведенному обычаю всякій кавалеръ, доведя свою даму до стула, вѣжливо откланивался и уходилъ на противоположную сторону. Такимъ образомъ дамы обѣдали на одной сторонѣ, а мужчины на другой; столъ раздѣлялъ ихъ. Многимъ хотѣлось бы, особенно тѣмъ, кто исключительно не любилъ пить и ѣсть, сѣсть около дѣвушекъ, но никто не смѣлъ нарушить давняго обычая, который всегда властвуетъ деспотически и всего больше въ губерніяхъ. Павелъ велъ Соню къ столу, но, доведя до мѣста, смѣло сѣлъ рядомъ съ нею. Соня замѣтила взглядъ Трескина и сказала Павлу:

— Зачѣмъ вы сѣли подлѣ меня? Всѣ мужчины съ той стороны, мнѣ неловко.

— Пустяки! отвѣтилъ Павелъ, смѣясь, и черезъ весь столъ громко кликнулъ Волгина.

— Волгинъ, поди сюда!

Волгинъ бросился со всѣхъ ногъ и подбѣжалъ къ Павлу.

— Садись, братецъ, здѣсь, между дѣвицъ, около Кати или Полины, если хочешь. Что за глупая чопорность—женщины по одну сторону, мужчины по другую, гдѣ это видано! Ну, спокойны ли вы? сказалъ онъ, обращаясь къ Сонѣ, смущенной не тѣмъ, что на нихъ обращены были взоры всѣхъ гостей, но равнодушнымъ разговоромъ Трескина съ своимъ сосѣдомъ. Онъ одинъ, казалось, не хотѣлъ замѣтить всей

суматохи, произведенной окликомъ Павла и его распоряженіемъ, будто онъ хозяинъ дома.

— О, да я вижу, вы напуганы и не знаете, куда дѣть глаза, сказалъ Павелъ Сонѣ и засмѣялся съ такимъ высокомѣрнымъ презрѣніемъ (такъ по крайней мѣрѣ показалось ей), что она вспыхнула и отвѣтила ему смѣло.

— Съ чего вы взяли это? Неужели вы думаете, что я забочусь о томъ, что про меня скажутъ, и еще *здѣсь?* Я очень мало цѣню общественное мнѣніе, оно для меня меньше, чѣмъ ничего. Свобода — мой девизъ, и я не промѣняю ея ни на что.

— Кромѣ любви, надѣюсь, сказалъ Павелъ; — кто любитъ, тотъ носитъ цѣпи, это говорили еще въ старину и будутъ говорить до скончанія міра. Мы танцуемъ вмѣстѣ: Вы дадите мнѣ, вопервыхъ, мазурку, потомъ всѣ польки и вальсъ. Кадрилей я не танцую.

— Не много ли будетъ? спросила Соня улыбаясь.

— Нѣтъ, сказалъ Павелъ просто. — Съ кѣмъ хотите вы, чтобъ я танцовалъ здѣсь? Кажется, все какіе-то уроды. Если вы мнѣ наскучите или я вамъ, то заранѣе уговоримтесь разойтись. Я поищу другую даму, а вы — другого кавалера.

Соня внутренно удивилась повороту разговора: она ужь думала, что можетъ поздравить себя съ совершенной побѣдой. Еще поутру, пріѣхавъ за нею, онъ настойчиво просилъ ее ѣхать съ ними въ шарабанѣ и, получивъ это согласіе, почти насильно посадилъ ее рядомъ съ собою, на переднюю банкетку. Легкое сопротивленіе Сони (слѣдствіе разговора ея съ Трескинымъ) только раздразнило его самолюбіе и настойчивость. Удовлетворивъ ихъ хотя частью, онъ опять позаботился не о чемъ больше, какъ о томъ, чтобы провести день пріятно. Затронутое самолюбіе Сони, такъ заботливо взлелѣянное съ дѣтства безразсудной матерью, за-

говорило, и она принялась кокетничать съ Павломъ, забывъ всѣ обѣщанія, данныя на канунѣ Трескину. Соня знала, что она хороша собою и спѣшила занять своего собесѣдника легкой, живой и остроумной болтовней; она смѣялась надо всѣми и не прочь была посмѣяться надъ своими или собою, лишь бы шутки ея были мѣтко и причудливо оригинальны. Такого ея настроенія особенно не любилъ Трескинъ и особенно любилъ Павелъ. Онъ рѣдко смѣялся отъ души, но въ этотъ день не разъ обращалъ на себя вниманіе всей залы своимъ громкимъ хохотомъ, а часто и вслухъ вырвавшимся у него восклицаніемъ. Трескинъ не отходилъ отъ Кати и Полины. Спокойствіе его сперва казалось Сонѣ подозрительнымъ, но потомъ, увлеченная собственной веселостью, опьянѣвъ отъ нея, она совершенно забыла все, что окружало ее, и конечно, забыла Трескина.

Послѣ обѣда она не приняла участія въ общемъ разговорѣ усѣвшихся на балконѣ дѣвушекъ, а сошла внизъ и сѣла на ступенькахъ крыльца, окруженная двумя-тремя мужчинами, между которыми былъ и Павелъ. Онъ полулегъ на другой ступенькѣ у ногъ ея, и подпирая голову рукою, смѣло смотрѣлъ въ глаза ея. Мало по малу веселость Сони, не подстрекаемая Павломъ, истощилась, и она перешла въ другое настроеніе, болѣе спокойное и серьезное. Мужчины, окружавшіе ее, разошлись, и она осталась съ глазу на глазъ съ Павломъ.

— Что жь вы это примолкли? спросилъ онъ ее нѣжно.

— Устала болтать и смѣяться. Теперь очередь за вами, развлекайте меня.

— О, нѣтъ, я не гожусь на это, особенно послѣ обѣда. Посмотрите, мы здѣсь одни; пари держу, что всѣ эти увальни-помѣщики объѣлись и разошлись спать. Будьте же довольны тѣмъ, что я не заражаюсь ихъ примѣромъ, хотя я, какъ

и они, ѣлъ порядочно. Хорошъ и обѣдъ: тяжелъ, какъ камень, жиренъ, какъ сало. Вижу, что эти дикіе народы погрузились въ первобытное, закоснѣлое невѣжество. Ѣдятъ спаржу съ какимъ-то сладкимъ соусомъ, который зовутъ сабайономъ—это какая-то бурда...

— Это что̀ за слово? Не щегольски вы выражаетесь, сказала Соня съ презрительной миной.

— И, полноте, возразилъ онъ, досадуя,—вы, какъ и я, какъ всѣ мы воспитаны въ кругу семействъ, гдѣ пуризмъ выраженій вовсе не въ ходу. Что̀ это не даютъ кофе? Волгинъ, неужели здѣсь не знаютъ, что кофе — вещь необходимая послѣ обѣда.

Волгинъ, только что вошедшій на балконъ, подошелъ тотчасъ и объявилъ, что всѣ давно пьютъ кофе въ гостиной, и прибавилъ:

— Ужь ты, право, считаешь насъ за медвѣдей, а мы, право, здѣсь живемъ не хуже, чѣмъ въ столицѣ.

— Одно это слово губитъ тебя и показываетъ въ тебѣ туземца, сказалъ Павелъ, лѣниво вставая и намѣреваясь идти въ гостиную. Въ это время Катя вошла на балконъ и принесла брату чашку кофе.

— Вотъ сестра! воскликнулъ Волгинъ,—какой ты счастливецъ!

— Это счастіе зависитъ отъ насъ самихъ, сказалъ Павелъ, смѣясь и цѣлуя у сестры руку.—Я вышколилъ сестеръ, прибавилъ онъ, смѣясь,—и онѣ ходятъ у меня по струнѣ.

— Какой шутъ! сказала Катя, смѣясь добродушно.—Однако, поди въ гостиную; папа просилъ меня сказать тебѣ, что онъ сидитъ тамъ съ своимъ старымъ пріятелемъ и хочетъ познакомить тебя съ нимъ.

— Да, такъ я и пойду скучать съ этимъ старымъ олухомъ, сказалъ Павелъ, — да и о чемъ буду я говорить съ

нимъ. Жена его ужь и такъ раздражила мои нервы. Одѣта, какъ пудель въ собачьей комедіи, да кромѣ: вы осчастливили насъ... очаровали... не соскучьтесь съ нами провинціалами... ничего сказать не умѣетъ. И потомъ скорчитъ рожу!

— Тише, ради Бога, тише, сказала Катя.

— Разомъ уничтожилъ человѣка, воскликнулъ Волгинъ съ упоеніемъ.

— Да, братъ, не совѣтую сердить меня, возразилъ Павелъ самодовольно и прибавилъ: — Однако ужасно скучно! Пойдемте гулять, mademoiselle Sophie. Катя, пойдемъ гулять.

— Я бы не хотѣла изорвать и измять моего платья, сказала она нерѣшительно.

— Пустяки! Волгинъ, дай ей руку...

Они сошли съ балкона и удалились вдоль большой липовой аллеи. Трескинъ показался въ дверяхъ балкона и долго глядѣлъ имъ вслѣдъ, куря сигару.

Начался балъ. Павелъ танцовалъ только съ Соней или съ сестрой своей Катей. Отецъ подошелъ къ нему и кротко замѣтилъ, что поведеніе его, быть можетъ, возможно въ Петербургѣ, гдѣ онъ не знаетъ, какіе теперь обычаи (это было его выраженіе), и крайне обидно здѣсь, въ деревнѣ, гдѣ каждый шагъ новоприѣзжаго замѣчается и обсуживается; что онъ проситъ его сдѣлать туръ вальса хоть съ дочерью хозяйки.

— Да гдѣ она? спросилъ Павелъ.

— Какъ? Ты въ домѣ съ утра и не знаешь хозяйской дочери, сказалъ Петръ Ѳедоровичъ съ ужасомъ.—Какъ же это сестры не познакомили тебя! Пойдемъ, я тебя представлю.

— Нѣтъ ужь, батюшка, избавьте, сказалъ Павелъ,— покажите мнѣ ее, и я позову ее танцовать, чтобы сдѣлать вамъ угодное.

Старикъ показалъ ему высокую, худощавую дѣвушку

съ кораллами на головѣ. Павелъ сдѣлалъ значительную гримасу и направилъ шаги свои къ ней. Онъ подошелъ и молча поклонился ей; дѣвушка, увидѣвъ передъ собою это безмолвное, холодное лицо, смутилась, и такъ какъ въ эту минуту играли вальсъ, она привстала и протянула руку. Павелъ находилъ особое удовольствіе въ смущеніи другого; онъ отступилъ и сказалъ громко:

— Извините, я пришелъ звать васъ на слѣдующую кадриль.

— Благодарю васъ, я не танцую слѣдующей кадрили, сказала дѣвушка, которой негодованіе придало смѣлости.

Павелъ повернулся на каблукахъ и пошелъ назадъ, прямо къ Сонѣ; онъ почти легъ на спинку ея стула и постоянно говорилъ съ нею, хотя она танцовала съ какимъ-то туземцемъ, по выраженію Павла. Когда балъ кончился, у Павла было двумя врагами больше, да и у Сони было ихъ не мало.

— Извините меня за дерзость, сказалъ кавалеръ Сони, откланиваясь, — я вижу, что былъ слишкомъ самонадѣянъ, впередъ я буду осторожнѣе, пойму, что не могу занять васъ, и ужь, конечно, не буду наскучать вамъ моимъ приглашеніемъ.

Они танцовали мазурку. Послѣ поздняго ужина заря занялась, и розовая полоса ея ярко прорѣзала синее іюльское небо. Соня вышла на балконъ и задумалась; весь этотъ день—обѣдъ, вечеръ, балъ, ужинъ—казался ей смутнымъ сномъ, полнымъ неясныхъ грезъ и бреда. Утро повѣяло на нее прохладой; здоровый воздухъ его будто разсѣялъ ея опьяненіе и помогъ ей возвратиться къ дѣйствительности и здравому смыслу. Съ нимъ вмѣстѣ она вспомнила и о Трескинѣ. Поздно вечеромъ она видѣла его за зеленымъ карточнымъ столомъ въ гостиной, но гдѣ онъ

былъ теперь, и какъ встрѣтитъ онъ ее завтра, что̀ скажетъ онъ ей?—И гдѣ онъ? прошептала Соня невольно.

— Здѣсь, сказалъ Павелъ сзади нея,—и не знаю, долженъ ли я сердиться за̀ то, что вотъ ужь десять минутъ, какъ вы не видите, что я стою за вами, или благодарить за то, что вы думали обо мнѣ и даже звали меня.

Онъ нагнулся и поцѣловалъ ея руку, эту бѣлую, розовую, круглую руку, лежавшую вдоль черныхъ, дряхлыхъ полусгнившихъ перилъ балкона.

— Вы не знаете цѣны себѣ, сказалъ онъ, захватывая себѣ короткость влюбленнаго и любимаго человѣка;—посмотрите на всѣхъ дѣвушекъ: при утреннемъ свѣтѣ онѣ потеряли сто процентовъ и будутъ совершенно уничтожены сейчасъ вотъ этой люстрой, прибавилъ онъ, показывая на красный огненный дискъ всходящаго солнца.—А вы стали еще красивѣе; ваши глаза, усталые, утомленные, полны нѣги и страсти; ваше смятое платье лучше одѣваетъ васъ, чѣмъ вашъ пышный утренній уборъ. Какъ не любить васъ! Клянусь, что въ эту минуту я весь принадлежу одной вамъ и готовъ на все, чтобы вамъ понравиться!

Соня вспомнила слова Трескина, и мысль, что Павелъ говоритъ о любви, не думая о женитьбѣ, оскорбила ее.

— Замолчите, сказала она;—ваши слова дерзки, я не хочу слушать ихъ.

— Это что̀ за новости? Я не зналъ за вами такихъ замашекъ, сказалъ Павелъ, взявъ въ свои руки руку Сони. Напрасно силилась она освободиться, онъ самовольно сжалъ ее, и ей пришлось покориться.

— Говорите сейчасъ, отчего вы разсердились? Слышите ли? Я требую этого.

— Оставьте меня.

— Нѣтъ. Вы думаете, я не замѣтилъ вашей перемѣны.

Вчера утромъ вы приняли меня холодно, пріѣхавъ сюда— вы были лихорадочно веселы и удивительно умны; послѣ вы увлеклись собою — да, собою, и развеселились просто, безъ задней мысли. Теперь задняя мысль опять воротилась. Вотъ она, вотъ она! кончилъ онъ, показывая на нее пальцемъ.

Она улыбнулась.

— И эта улыбка, эта улыбка! Гдѣ вы украли ее? Точно улыбка ангела на другой день его паденія! Слышите ли, на другой день. Скажите, отчего два дня назадъ у васъ не было ни этой задней мысли, ни этой улыбки!

Соня встала. Онъ оглянулся и, не видя никого вокругъ, внезапно охватилъ ея талію рукою, привлекъ къ себѣ и прошепталъ надъ ея ухомъ:

— Ну, теперь говори, говори! сказалъ онъ съ такой смѣсью воли, увлеченія, страстности, что Соня обомлѣла и слова замерли на языкѣ ея.

— Ты любишь меня, скажи... говорилъ онъ.

— Не знаю, шепнула Соня.

Онъ сильно оттолкнулъ ее отъ себя.

— А что̀ можетъ заключить мужчина о женщинѣ, которая нынче поддается ему, а завтра обдаетъ его холодомъ. Такихъ женщинъ презираютъ.

— Пощадите меня, сказала Соня сквозь слезы,—не я, а вы виноваты. Богъ знаетъ, что̀ со мною дѣлается; когда я не вижу васъ, я... я не люблю васъ... Когда я... я васъ вижу, вы... вы совершенно уничтожаете мою волю, и я чувствую что-то страшное, чего объяснить не могу. Скажите, чего вы хотите?

— Я люблю васъ, сказалъ Павелъ,—хотя при постороннихъ смѣюсь и шучу даже и надъ вами, но я люблю васъ.

— Любите и женитесь? спросила она чуть слышно. Павелъ опустилъ ея руку.

— Соня, сказалъ онъ,—выслушайте меня. Я никогда не думалъ о женитьбѣ. У меня есть обязанности, мать, старикъ-отецъ, двѣ сестры. Я единственная опора семейства. Я крутъ, но люблю сестеръ и долженъ сперва устроить ихъ будущность. Я не думалъ еще о женитьбѣ, теперь дѣло другое, я не прочь отъ нея. Намъ надо короче узнать другъ друга, и если я найду въ васъ всѣ условія, которыя я поставилъ себѣ закономъ требовать отъ жены, то отчего жь намъ и не жениться.

Итакъ, Павелъ ей говорилъ то же самое, что когда-то она сказала Трескину: онъ не заботился о ней, а разсуждалъ только о томъ, подходитъ ли она подъ его требованія. Соня не разсуждала однако, въ эту минуту она была какъ въ чаду и думала только:—Трескинъ не правъ; онъ хочетъ на мнѣ жениться.

Въ это время изъ гостиной послышался голосъ Сониной матери; она искала и звала дочь. Гости всѣ ужь разошлись.

— Когда я васъ увижу? спросила Соня у Павла.

— Послѣ завтра вечеромъ я пріѣду къ вамъ, отвѣчалъ онъ, цѣлуя ея руку; она отдернула и побѣжала въ комнаты. Отъ ея порывистаго движенія ея бѣлое платье обвилось около нея и обрисовало ея стройный станъ.

— Граціозная дѣвочка! подумалъ Павелъ, провожая ее глазами,—дѣвочка со смысломъ—тотчасъ и объ женитьбѣ! Только воли ей давать нельзя—она штука! Жениться?

На этомъ словѣ онъ задумался.

На другой день утромъ Якшины, мать и дочь, сидѣли вдвоемъ за чайнымъ столомъ. Одна изъ нихъ, въ бѣ-

ломъ щегольскомъ пенюарѣ, казалась усталой и задумчивой, другая, въ поношенномъ черномъ капотѣ, была особенно весела и говорлива. Вопреки всѣмъ извѣстной истинѣ, что молодость вѣтрена, а старость основательна, тутъ было на оборотъ: задумывалась дочь, болтала мать. Послѣ многихъ разсказовъ, пересудовъ, замѣчаній по поводу вчерашняго бала Марѳа Ивановна вдругъ съ живостью обратилась къ дочери и сказала:

— Что же ты молчишь? Тебя, кажется, можно поздравить съ побѣдой, и притомъ очень значительной. Не стыдно ли тебѣ скрытничать со мною? Я однако спокойна, потому что знаю, что отъ моего зоркаго глаза ничто не укроется. Любя тебя, слѣдя за тобой, какъ я люблю и слѣжу за тобою, я не имѣю нужды въ твоихъ признаніяхъ, и если теперь обратилась къ тебѣ съ вопросомъ, то потому только, что ты и я, мы живемъ какъ два друга. Я знаю, что если ты молчишь, то изъ скромности; но со мной она неумѣстна. Оставь ее пока въ сторонѣ, и поговоримъ откровенно, какъ и слѣдуетъ говорить съ такой матерью, какъ я. Что ты скажешь о Павлѣ Сурмиловѣ?

— Право не знаю, мои отношенія съ нимъ такъ странны, что я не знаю, какъ опредѣлить ихъ.

— Какъ же это такъ?

— Я и объяснить не сумѣю, сказала Соня, съ усиліемъ принимая намѣреніе высказать все матери и просить ея совѣта въ эту трудную для нея минуту жизни. — Онъ говоритъ, что любитъ меня, а между тѣмъ...

— Ну, ему можно бы было и не говорить о любви своей къ тебѣ, сказала, смѣясь, Марѳа Ивановна, такъ некстати перебивая дочь;—любовь его къ тебѣ ясно напечатана на лицѣ его, когда онъ слѣдитъ за тобою, видна во

всемъ существѣ его, когда онъ подлѣ тебя. Я тотчасъ угадала ее съ перваго нашего визита къ Сурминовымъ, помнишь, послѣ его пріѣзда? Да, я тотчасъ поняла, что ему предназначено страстно въ тебя влюбиться. Я, разумѣется, молчала, чтобы не возбудить твоихъ обыкновенныхъ насмѣшекъ. Ну, что? Скажи-ка теперь, кто былъ правъ? Кто дальновиденъ? Да, имъ пренебрегать нельзя; это женихъ, какихъ мало: хорошъ собою, уменъ, богатъ; у отца его, говорятъ, куча денегъ; Сурминовы бережливы и тратятъ немного. Павелъ единственный сынъ и наслѣдникъ.

— У него двѣ сестры, мама.

— Ну, что жь такое; все-таки онъ настоящій наслѣдникъ и любимецъ отца. Сестрамъ, конечно, дадутъ что-нибудь, да и Богъ съ ними, отрѣзанный ломоть. А какъ онъ милъ, уменъ, образованъ, какъ чудно танцуетъ! Какія манеры, какія связи! Помнишь, да нѣтъ, ты не можешь помнить: тебѣ было лѣтъ двѣнадцать; я жила тогда въ Петербургѣ и бывала у его тетки. У нея были открытый домъ и вся петербургская знать. Вотъ, подумаешь, судьба-то чѣмъ не шутитъ! Полина была тогда на виду, богатая невѣста, завидная партія, и все это пошло прахомъ. Теперь сидитъ здѣсь въ глуши, ужь не молода, въ зависимости отъ отца и брата. Да, такъ о чемъ же я говорила? Да, о Павлѣ Сурминовѣ. Онъ у тетки былъ свой человѣкъ, всѣмъ распоряжался и даже помогалъ ей принимать, и самъ былъ вездѣ принятъ. Онъ, вѣроятно, сохранилъ всѣ свои связи. Выйдя за него, ты будешь въ самомъ высшемъ кругу, въ аристократическомъ кругу. Право, я вчера смотрѣла на тебя и на него, вы сотворены другъ для друга, ужь такая вы красивая пара. А у него такая аристократическая спѣсь, и какъ она идетъ къ нему—та-

кой гордый, недоступный! Ну, и этотъ гордецъ у нашихъ ногъ, у твоихъ, хочу сказать, моя милочка.

— Но онъ говоритъ, что прежде, чѣмъ жениться, ему надо подумать о многомъ, что онъ имѣетъ обязанности, отца и мать, не пристроенныхъ сестеръ...

— Ну, такъ что жь такое? Какой однако отличный человѣкъ! Знаешь ли, что въ наше время немного найдется такихъ благородныхъ людей. Кто нынче думаетъ о сестрахъ? Вотъ подлинно похвально, даже ужь слишкомъ. Онъ, пожалуй, слѣдуя внушеніямъ черезчуръ возвышенныхъ чувствъ, отдастъ имъ полсостоянія. Это ужь будетъ глупо. Надо же жить чѣмъ-нибудь! А вы молоды, у васъ можетъ быть куча дѣтей, надо думать и о будущемъ.

— Вы ужь насъ женили, маменька, сказала Соня, смѣясь,—вы молочница, право, мама, молочница.

— Опять ты за свои глупыя шутки, возразила ей мать съ досадой;—нельзя съ тобой поговорить серьезно, развѣ не ты сама сейчасъ сказала мнѣ, что онъ влюбленъ въ тебя, не я же это выдумала!

— Конечно, мама, но онъ говорилъ о женитьбѣ какъ-то вскользь; къ тому же меня тревожитъ мысль о Трескинѣ; онъ давно любитъ меня. Прошлаго года я просила его подождать, что́ жь я скажу ему теперь?

— Вотъ еще бѣда; скажи ему просто, что чувствуешь къ нему только дружбу, а любишь другого.

— Да вѣдь я этого навѣрное не знаю, иногда мнѣ кажется, что я гораздо больше люблю Трескина, чѣмъ всѣхъ другихъ.

— Какой вздоръ! Это въ тебѣ говоритъ одна жалость къ нему. Я знаю, что ты безъ памяти влюблена въ Павла, да и какъ не влюбиться въ него? Я въ твои лѣта непремѣнно бы въ него влюбилась и, признаюсь, теперь не

слышу въ немъ души. Я, ты знаешь, не слишкомъ цѣню матеріальныя выгоды, это такъ низко, но должна признаться, что и въ этомъ отношеніи Павелъ имѣетъ перевѣсъ. Онъ богаче Трескина. Конечно, не за это надо отказать Трескину; я еще, слава Богу, не забыла своей молодости и знаю, что не богатство, а красота, молодость, образованность и умъ покоряютъ сердце женщины. Но вѣдь и въ этомъ отношеніи Трескинъ не выдержитъ ни малѣйшаго сравненія съ Павломъ.

— Ужь будто, мама? Трескинъ не такъ любезенъ, какъ Сурмиловъ, но за то...

— О, плутишка! воскликнула Марѳа Ивановна, цѣлуя дочь и зажимая ей ротъ рукою,—ей пріятно, что я хвалю ея возлюбленнаго, и потому она пытается противорѣчить мнѣ, чтобы заставить меня хвалить его вдвое. Надо быть слѣпой, чтобы не видѣть, что Сурмиловъ вдвое красивѣе и умнѣе Трескина. Qui est ce qui en doute?

— Трескинъ любитъ меня истинно.

— А Павелъ не любитъ? Ну, скажи? Не любитъ, что ли? Твой языкъ не поворотится произнесть такую ложь. Боже мой! прибавила старая дама, всплеснувъ руками,—что это за молодежь нынѣшняя! Сами все знаютъ, понимаютъ, чувствуютъ и заставляютъ себя уговаривать, прикидываются не впопадъ благоразумными. Но такъ и быть, я люблю тебя и все тебѣ выскажу. Вчера на балу, видя все это, и вашу любовь, и ваше согласіе, я подсѣла къ твоей будущей свекрови. Я ей говорила о сынѣ и высказала всю мысль свою, что онъ и милый, и благородный, и удивительно красивый мужчина, полный чего-то прельщающаго и загадочнаго. Что жь ты думаешь? Она взглянула на меня, да такъ-то странно, а потомъ все молчала или сухо благодарила *за комплименты*. Комплименты! Я ей говорю

отъ души, истинно, отъ избытка чувствъ, а она принимаетъ все это за комплименты. Въ жизнь мою не встрѣчала существа скучнѣе ея. Вялая, усталая, да еще корчитъ оригиналку; все, видишь ли, ей наскучило, все въ тягость, кромѣ своего угла, гдѣ она лежитъ день-деньской, уткнувшись въ книгу, либо въ подушку. Я думаю, она дѣлаетъ это потому только, что слыхала, будто знатныя дамы всегда лежатъ на кушеткахъ, но мы съ тобой видали ихъ и знаемъ...

— Ахъ, мама, какія вы нынче несносныя; что мнѣ за дѣло до его матери и до дамъ большого свѣта!

— То-то и дѣло, что ты молода еще. А съ кѣмъ тебѣ придется жить? Конечно, съ нею. Впрочемъ, я положила, что когда вы женитесь, то его надо тотчасъ удалить отъ ихъ вліянія. Ты должна пріобрѣсти его для одной себя и не позволить его матери и сестрамъ стать между вами. Въ этомъ отношеніи Трескинъ завиднѣе: никого, одинъ какъ перстъ.

— Я знаю навѣрное, что не семья на Сурмилова, а на оборотъ, онъ на семью имѣетъ вліяніе, сказала Соня.

— Это почему? Полно, милая, женщины хитры: въ людяхъ одно, дома другое. Сама же ты говоришь, что онъ не знаетъ, какъ жениться, потому что сестры не устроены. Чѣмъ онъ добрѣе, тѣмъ онѣ больше на него разчитываютъ, и, кто знаетъ, быть можетъ, мѣшаютъ ему жениться. Навѣрно, мѣшаютъ! Это ясно, какъ день. Кто себѣ врагъ, и изъ чего имъ навязать себѣ на шею молодую хозяйку.

— Кто же можетъ помѣшать ему жениться? Катя искренно любитъ его, отецъ обожаетъ, мать за него, а Полина такъ ко всему равнодушна.

— Ужь какъ ты тамъ не говори, а это всѣмъ извѣстно;

сестры не радуются женитьбѣ брата, и если могутъ, то разстраиваютъ свадьбу. Знаешь ли что? Еслибы не онѣ, онъ бы давно ужъ сдѣлалъ тебѣ формальное предложеніе. Да, это все ихъ штуки!

— Но что же я скажу Трескину? спросила опять Соня.

На этотъ разъ вопросъ ея вызвалъ сильное негодованіе со стороны Маріи Ивановны.

— Не было печали, воскликнула она,—такъ сами ее себѣ накачали! Да Богъ съ нимъ, съ Трескинымъ! Невидальщина какая! Затвердила одно: что я скажу, да что я скажу ему! Вѣдь ты ему слова не давала. Вѣдь ты любишь не его, а Павла. Ну, такъ и скажи.

— Я, мама, право не знаю; хотя бы мнѣ подумать...

— И, полно! Что ты морочишь меня! Это не любовь, что вы пропадаете поминутно вдвоемъ въ саду? Не любовь, что ты идешь, опираясь на его руку съ такою нѣжностью, avec un abandon touchant? Какъ хорошо это сказано по французски. У насъ нѣтъ такихъ выраженій. А онъ глядитъ на тебя своими блестящими голубыми глазами и не можетъ совладѣть съ собственнымъ чувствомъ! Если все это не любовь, то что же она и гдѣ же она? По моему, это любовь, да еще страстная. Скажи, что не правда.

— Конечно, правда, только мнѣ что-то страшно; вѣрите ли, мама, я иногда боюсь его.

— Кого это?

— Павла!

— А кто же любитъ и не боится? Первый спутникъ сильной любви—страхъ.

— А Трескинъ говоритъ: довѣренность.

— Ну, что онъ знаетъ! Онъ и любить-то не умѣетъ! Развѣ это любовь? Вчера другой на его мѣстѣ вышелъ

бы изъ себя, поссорился бы съ Сурмиловымъ, вызвалъ бы его на дуэль, а онъ что̀ сдѣлалъ? Сыгралъ три робера въ вистъ, да уѣхалъ домой.

— И не ѣдетъ нынче сюда, подумала Соня.

— Нѣтъ, это не любовь! Не такая, по крайней мѣрѣ, какую ты внушила Павлу. Настоящій герой романа! Какъ онъ взглянулъ на того господина, который сказалъ тебѣ что-то, видѣла ты? И этотъ левъ сдѣлается ягненкомъ въ твоихъ рукахъ. Вотъ тріумфъ! Вотъ побѣда! Когда онъ обѣщался пріѣхать къ намъ?

— Завтра вечеромъ.

— Это вѣрно за рѣшительнымъ отвѣтомъ.

— Нѣтъ, не думаю; у нихъ затѣвается благородный спектакль, надо поговорить о пьесахъ и роляхъ.

— А! Ну, если ты будешь играть на театрѣ, то онъ изсохнетъ отъ любви къ тебѣ. Хорошо еще, если ты согласишься вылѣчить его. Что̀, дурочка?

Она поцѣловала Соню въ лобъ и вышла изъ комнаты; Соня долго сидѣла на томъ же мѣстѣ задумчивая и печальная.

Между тѣмъ жизнь Сурмиловыхъ текла въ Березовѣ не по прежнему, хотя измѣненія, происшедшія въ ней, были бы едва замѣтны для посторонняго лица. Богъ вѣсть, какъ это сдѣлалось, но прежняя беззаботность, миръ, тишина, согласіе, свобода рѣчей и поступковъ какъ будто вывелись. Маленькія заботы, едва замѣтныя непріятности и постоянное безпокойство Полины и Кати заступили мѣсто прежняго, ничѣмъ незамѣнимаго семейнаго мира. Полина постоянно старалась угодить отцу и вмѣстѣ съ тѣмъ не сталкиваться съ братомъ, приказанія котораго по хозяйству почти всегда были противоположны съ привычками старика-

отца. Иногда, не смотря на все свое желаніе скрыть что-нибудь отъ отца и не раздражить брата, ей не удавалось это, и она попадала въ домашнюю бѣду.

— Что это, Поля, говаривалъ ей частенько отецъ, — ты стала какая-то безпечная? Знаете, что я люблю обѣдать ровно въ три часа, а у тебя и столъ еще не накрытъ.

— Папа, мой другъ, брата нѣтъ дома. Подожди немного.

И недовольный старикъ принимался ходить по комнатѣ и ворчалъ про себя.

— Мнѣ ужь надоѣло ждать, въ мои лѣта ждать не приходится.

Катя подлетала къ нему и говорила своимъ мягкимъ, ласкающимъ голосомъ:

— Что вы ворчите? Нехорошо, папаша. Вы такіе добрые, а сердитесь на насъ. Неужели на насъ? Чѣмъ мы виноваты? Ну, вотъ улыбнулись! Пойдите-ка лучше къ маменькѣ, вытащите ее изъ кабинета: она, какъ затворница какая, сидитъ тамъ съ утра безъ пищи. Развѣ вкусила акридъ и дикаго меда, какъ древніе пророки въ пустынѣ! Пойдите къ ней, время пройдетъ незамѣтно.

— Въ самомъ дѣлѣ, говорилъ старикъ, потирая руки, — ужь эта мнѣ Глаша съ своими вѣчными книгами. Пойти къ ней.

И онъ уходилъ въ кабинетъ жены, а сестры садились у окна и безпокойно глядѣли вдаль.

— Вотъ онъ! Нѣтъ, не онъ, это Василій въ его старомъ пальто. Куда это онъ зашелъ? И какъ не знать, что отецъ любитъ обѣдать въ три часа, говорила Катя.

— Онъ знаетъ это очень хорошо, я ему не разъ говорила, замѣчаетъ Полина.

Наконецъ Павелъ является; сестры бѣгутъ одна къ

нему на встрѣчу, и это Катя, другая въ кухню, и это Полина, и торопитъ подавать кушанья.

Если Павелъ въ духѣ, то онъ принимается шутить, и его шутки тотчасъ развлекаютъ старика; если же онъ задумчивъ, капризенъ, въ сплину, какъ выражается Катя, то онъ молчитъ и изрѣдка дѣлаетъ рѣзкій выговоръ лакею, даже сестрамъ, споритъ съ отцомъ и выбираетъ предметомъ желчныхъ шутокъ родъ жизни въ сельцѣ Березовѣ и въ его окрестностяхъ. Онъ не щадитъ никого, но надо молвить правду, его шутки ядовиты, мѣтки, но забавны, такъ что даже самъ старикъ не выдерживаетъ и невольно улыбнется, хотя въ сущности не одобряетъ этой маніи все и всѣхъ бранить и осуждать. Не улыбается только никогда неговорливая и съ нѣкоторыхъ поръ еще болѣе разсѣянная и задумчивая Глафира Николаевна. Она всегда молчитъ, молчитъ и тогда, когда старикъ сердится, молчитъ и тогда, когда онъ невольно разсмѣется рѣчамъ сына. Быть можетъ, она ничего не видитъ и не замѣчаетъ, кто ее знаетъ? Отецъ не имѣетъ духу высказать сыну многое, что̀ ему въ немъ не нравится, а мать? Богъ вѣсть!

Однажды, когда Петръ Ѳедоровичъ былъ особенно разсерженъ и особенно голоденъ, Глафира Николаевна вышла изъ кабинета и приказала тотчасъ подавать кушать. Павелъ воротился домой, когда обѣдъ оканчивался. До тѣхъ поръ постоянно молчавшая мать сказала ему тихо, но твердо:

— Обѣдай одинъ, если хочешь, но отцу не приходится ждать тебя. Полина, чтобы въ три часа ровно супъ былъ всегда на столѣ.

Послѣ этихъ словъ она вышла изъ комнаты; мужъ пошелъ за нею: онъ находилъ, что она уже слишкомъ сухо и рѣзко заговорила съ Павломъ.

Съ этихъ поръ домашнее согласіе потерпѣло еще болѣе. Павелъ будто нарочно принялся высказывать за обѣдомъ свои мнѣнія. Въ какомъ кодексѣ онъ вычиталъ ихъ, было не извѣстно. Правда, что въ каждомъ мнѣніи Павла была хоть часть правды, но онъ умѣлъ эту правду довести до такой крайности, что она становилась ложью и притомъ возмущающимъ душу profession de foi. Большею частью все семейство молчало, очевидно, не раздѣляя этихъ мнѣній, но не желая входить въ споры, которые могли бы кончиться не совсѣмъ миролюбиво, ибо Павелъ не терпѣлъ возраженій. Тогда этотъ домашній оракулъ сыпалъ перлы своего краснорѣчія и остроумія, и случалось, что усталый голосъ матери одинъ подымался противъ него, точно ей было не въ силу слушать дальше всѣ эти безобразныя странныя правила, дикіе выводы. Павелъ принимался рѣзко спорить и притомъ съ неутомимою логикою и рѣдкой настойчивостью. Тогда отецъ говорилъ ему полушутя, полусерьезно:

— Ну, полно; что горячиться! Вотъ лучше попробуй этого блюда. Я, признаюсь, терпѣть не могу споровъ и ссоръ.

— Мы и не ссоримся, и не споримъ, а разговариваемъ, батюшка, говорилъ Павелъ, по видимому, спокойно.

— Хорошъ разговоръ, бормоталъ старикъ,—хуже всякой ссоры.

Смущенныя, часто раздраженныя сестры упорно молчали и рады-рады были, когда оканчивался обѣдъ, и всѣ расходились по угламъ своимъ.

Особенно оскорблялись мать и сестры Павла его воззрѣніемъ на женщинъ. Во всемъ, что онъ говорилъ о нихъ, слышалось такое глубокое презрѣніе, не прикрытое даже какой-нибудь фразой; напротивъ того, цинизмъ выраженій его не могъ ни съ чѣмъ сравниться. Когда мать, и

иногда Полина, противорѣчили ему, онъ старался задѣть ихъ самихъ и уязвить ихъ. Однажды на доводы Полины онъ не отвѣчалъ ни слова, но сказалъ просто:

— Пуще всего не терплю я резонерокъ, это чума, и отъ такихъ женщинъ надо бѣжать на край свѣта.

— Это камень прямо въ меня, сказала Полина холодно, но тихо.

— Да; признаюсь, ни тебя, ни Катю я бы не взялъ за себя; вы никуда не годитесь въ жены.

— Тебѣ бы ихъ и не отдали, возразила ему мать, оживляясь,—всѣ слишкомъ выше тебя во всѣхъ отношеніяхъ.

Павелъ засмѣялся.

— Воображаю! сказалъ онъ.—Ужь если дѣло пошло на правду, то я скажу вамъ, что никто такъ дурно не воспитанъ, какъ ваши дочери, maman. Помилуйте, что̀ это за воспитаніе? Ваша Катя умѣетъ только пѣть и плясать и рѣшительно не способна ни къ какому путному занятію; избалована до нельзя: иголку въ рукахъ держать не умѣетъ. Вотъ ужь три мѣсяца, какъ я здѣсь, а я ни разу не видалъ ихъ за женскимъ рукодѣліемъ. Что̀ можетъ быть милѣе круглаго стола, вокругъ котораго при свѣтѣ лампы работаютъ старушка мать и двѣ ея дочери? Вотъ поэзія домашняго очага!

— Поэзія есть вездѣ, но бѣда въ томъ, что ты не видишь ея тамъ, гдѣ она есть, а хочешь присочинить свою собственную поэзію и какъ по рецепту составить ее. Правда, что Катя не хозяйка и не рукодѣльница, хотя я убѣждена, что всему этому она научится позднѣе; за то Поля моя—настоящая хозяйка, весь домъ на ея рукахъ.

— Да, развѣ только вы однѣ можете воображать это; Полина — хозяйка! Да она порядочнаго обѣда заказать не умѣетъ. Въ порядочно устроенномъ домѣ (конечно, не въ

такомъ, какъ нашъ) она не знала бы, какъ надо распорядиться.

— Однако домъ нашъ извѣстенъ въ цѣломъ округѣ, и всѣ знаютъ, что мужъ мой любитъ хорошо поѣсть.

— Правда, батюшка любитъ ѣсть, но различайте: ѣсть еще не значитъ быть знатокомъ въ ѣдѣ. Между французскимъ словомъ gourmet и русскимъ объѣдаломъ — огромная разница, такая же разница, какъ между трюфелями и поросенкомъ съ кашей. Но что̀ мнѣ говорить обо всемъ этомъ съ вами? Это значитъ показывать краски слѣпому.

— А говорить съ тобою значитъ готовить себя къ непріятностямъ. Начиная съ нашего обѣда и кончая нашимъ образомъ жизни, ты вездѣ находишь одно дурное. Коришь сестеръ, между тѣмъ какъ онѣ любимы всѣми; мужъ мой тоже пріобрѣлъ всеобще уваженіе. Дай Богъ тебѣ и такой домъ, и такую репутацію, и такое семейство.

— Какъ вы не логичны, maman! Я говорю о поросенкѣ съ кашей, а вы о моемъ отцѣ и вашемъ всѣми уважаемомъ домѣ (Павелъ сказалъ это съ такой ироніей, что мать взглянула на него). За что̀ же вы сердитесь? Что̀ это за манія изо всего выводить трагедію.

Онъ всталъ и, насвистывая какую-то арію, вышелъ изъ комнаты. Она хотѣла сказать что-то, но замолчала. Глаза ея горѣли и были сухи. Полина подошла къ матери и обняла ее.

— Онъ оскорбляетъ всѣхъ, судитъ всѣхъ и не осуждаетъ только самого себя, сказала Глафира Николаевна и, не желая продолжать разговора, взяла книгу. Полина занялась своей работой.

Въ другой разъ разговоръ принялъ еще болѣе непріят-

ный характеръ; говоря съ Полиной, Павелъ утверждалъ что-то, Полина сослалась на мнѣніе своей покойной тетки.

— Твоя тетка, сказалъ Павелъ,—да она была самая пустая, самая тщеславная женщина. Рядилась съ утра до вечера и не умѣла сдѣлать ни одного путнаго дѣла во всю жизнь свою.

— О комъ это говоришь ты? спросила Глафира Николаевна у своего сына.

— Да объ ея теткѣ, сказалъ онъ, показывая на поблѣднѣвшую отъ волненія и негодованія Полину.

— То-есть, о моей сестрѣ, о моемъ первомъ другѣ, которому я многимъ обязана. Какъ ты осмѣлился говорить такъ при мнѣ!

— Я не зналъ, что вы обязаны ей такъ многимъ, сказалъ Павелъ, улыбаясь язвительно.—Мнѣ извѣстенъ только ея поступокъ съ Полиной, который не показываетъ особеннаго благоразумія и практичности. Она бросила ее безъ состоянія и безъ крова.

— Состояніе, кровъ! воскликнула внѣ себя Глафира Николаевна.—Развѣ Полина не дочь наша? Ея состояніе—наше состояніе, ея кровъ—нашъ кровъ, а пока будетъ у меня кусокъ хлѣба, онъ будетъ принадлежать дочерямъ моимъ; слышишь ли, дочерямъ... потому, прибавила она тише,—что онѣ женщины, слѣдственно беззащитны и не могутъ по своему положенію и общественному устройству сдѣлать себѣ состояніе.

— Опять сцена, сказалъ сквозь зубы Павелъ, но въ этотъ разъ онъ не вышелъ изъ комнаты и, оскорбивъ сестру и мать до глубины сердца, принялся говорить безъ умолку о постороннихъ предметахъ, будто между ними не было ни малѣйшаго столкновенія.

Между тѣмъ время шло; Павелъ часто бывалъ у Якши-

ныхъ, и когда роли были разобраны и вытвержены для предполагаемаго спектакля, онъ явился однажды по утру къ матери и сказалъ ей:

— Maman, я звалъ Якшиныхъ пріѣхать къ намъ на все время репетицій, которыя продолжатся, вѣроятно, довольно долго. Я увѣрилъ Марѳу Ивановну, что вамъ будетъ очень пріятно видѣть ее у себя.

— Хорошо, сказала Глафира Николаевна,—я рада всѣмъ, кто вамъ пріятенъ; къ тому же Катя любитъ Соню. Поля мнѣ поможетъ занять Марѳу Ивановну, мнѣ одной было бы скучно съ нею.

— Отчего же? Она очень милая, добрая, пріятная женщина; нельзя видѣть безъ умиленія, какъ страстно она любитъ дочь свою.

— Скорѣе безразсудно, чѣмъ страстно, сказала Глафира Николаевна.—Я сама люблю дѣтей и даю имъ полную волю, но покоряться ихъ прихотямъ, капризамъ не въ моихъ правилахъ.

— Да гдѣ же это вы видите, спросилъ Павелъ съ досадой,—и въ чемъ особенно замѣтили безразсудство Марѳы Ивановны?

— Вездѣ, даже въ выборѣ пьесъ. Вѣдь вы играете „Пятнадцатилѣтняго короля“, и Соня беретъ эту роль себѣ.

— Такъ что жь такое?

— Какъ что? Соня, стало быть, будетъ играть въ мужскомъ костюмѣ.

— Мы въ деревнѣ, maman.

— Еще бы въ городѣ, да тамъ бы засмѣяли ее, да и здѣсь засмѣютъ. Я женщина не свѣтская, но мнѣ кажется, что такая роль не прилична восемнадцатилѣтней дѣвушкѣ.

— Якшина—женщина свѣтская и думаетъ иначе; она

понимаетъ, что въ деревнѣ все возможно, и что нечего смотрѣть на мнѣніе деревенскихъ увальней, которые ничего не смыслятъ.

— До меня не касается, что̀ дѣлаетъ Соня, лишь бы Катя моя не дѣлала глупостей.

— Катѣ не худо бы было взять во многомъ примѣръ съ Сони, возразилъ Павелъ, — но рѣчь теперь не о томъ; я пришелъ только спросить у васъ, гдѣ вы помѣстите Якшиныхъ.

— Не знаю, право; Поля и Катя могутъ имъ уступить свои комнаты.

— Помилуйте, да въ Катиной комнатѣ повернуться негдѣ, а у Поли такъ и ставень нѣтъ. Якшины привыкли жить иначе и не заснутъ безъ темныхъ гардинъ и ставень. Не уступите ли вы свои комнаты?

— Мои! невольно воскликнула Глафира Николаевна,—я такъ привыкла къ моему уголку, что въ продолженіе двадцати лѣтъ едва покидала его на нѣсколько мѣсяцевъ. Всѣ знаютъ это, и когда мужъ мой былъ боленъ, то не хотѣлъ перейти на мою половину, чтобы не стѣснить меня. Я удивляюсь, что ты могъ подумать, что въ мои лѣта, съ моими привычками, которыя самъ Петръ Ѳедоровичъ такъ уважаетъ и лелѣетъ...

— N'en parlons plus, сказалъ Павелъ сухо, прерывая мать и выходя изъ комнаты.

— Онъ право помѣшался, сказала Глафира Николаевна, обращаясь къ дочерямъ, молчавшимъ во все время этого разговора.—И что̀ съ нимъ дѣлается? Помните, когда онъ въ первый разъ увидалъ Якшиныхъ, то говорилъ, что она кухарка, глупая старуха, болтушка, а теперь...

— Онъ влюбленъ въ Соню, мама, сказала Катя.

— Неужели?

— Право такъ.

Полина подняла голову съ работы.

— Если онъ женится на Сонѣ, Соня погибнетъ. Она дѣвочка рѣзвая, вѣтреная, но добрая. Ей нуженъ мужъ благоразумный, ласковый. А Павелъ хотя и много говоритъ о разумѣ, совсѣмъ не разсудителенъ и притомъ очень крутъ. Ему все бы разомъ, да на взломъ.

— Всякой женщинѣ, какая бы ни была она, нуженъ мужъ добрый и ласковый; въ жизни прежде всего нужна доброта сердца и мягкость характера. Одинъ умъ не составитъ счастія женщины, сказала Глафира Николаевна.

— Ахъ, что вы, мама, воскликнула Катя,—глупый мужъ—да это позоръ, это...

— Зачѣмъ глупый, и что такое глупый и умный, сказала Полина;—между дуракомъ и умнымъ человѣкомъ огромная разница. На этой лѣстницѣ много ступеней. Въ семейной жизни сердце замѣняетъ съ избыткомъ умъ, всегда сухой и безплодный, когда онъ не соединенъ съ добротой. Инстинктъ сердца, когда человѣкъ любитъ, такъ вѣрно руководитъ имъ, что онъ сумѣетъ выйти изъ самаго затруднительнаго положенія, такъ, какъ, можетъ быть, никогда не удастся сдѣлать это человѣку умному.

— Какъ ты права, Поля, сказала, мѣняясь въ лицѣ Глафира Николаевна.—Вы обѣ, я знаю, любите отца, но знаете ли вы, что онъ за человѣкъ?

— Это не человѣкъ, сказала она, одушевляясь, быть можетъ, въ первый разъ на памяти дочерей своихъ,—это ангелъ. Моя жизнь прошла; мнѣ сорокъ-семь лѣтъ. Я, можно сказать, заснула въ этой атмосферѣ счастія и спокойствія, которую создалъ вокругъ меня вашъ милый, добрый отецъ. Вы не знаете, не можете знать, откуда онъ меня спасъ, изъ какой бездны выручилъ, и что за жалкое, изму-

ченное, задавленное созданіе я была. Я ему всѣмъ обязана. Вотъ ужь двадцать-пять лѣтъ, дѣти мои, что я живу съ нимъ и удивляюсь его неисчерпаемой ясности характера, его безконечной добротѣ, его до слабости доходящей ко мнѣ любви и привязанности. Я не могу вполнѣ выразить моего къ нему чувства; это—и любовь, и благодарность, и уваженіе, доходящее до благоговѣнія. Я, къ несчастію, сосредоточена и рѣдко высказываюсь, но вѣдь я все это сильно чувствую. Когда-нибудь вы узнаете, что̀ такое отецъ вашъ въ отношеніи ко мнѣ; не теперь, конечно, я не могу трогать не совсѣмъ закрывшіяся раны и могилы моихъ близкихъ.

— Милая маменька, сказала Поля, вдругъ подходя къ матери,—простите меня: я не знала васъ, какъ вы много чувствуете.

— Онъ отучилъ меня чувствовать, дитя мое, окруживъ меня своей благотворной любовью, своими попеченіями; мало того: онъ избаловалъ меня, сдѣлалъ меня капризной и, быть можетъ, эгоистичной. Развѣ вы не замѣтили этого? Такова человѣческая натура, человѣческая немощь! Въ несчастіи человѣкъ борется, живетъ, страдаетъ; въ счастіи онъ засыпаетъ, часто дѣлается эгоистомъ, предается прихотямъ, капризамъ.

— Но гдѣ же ваши капризы, мама? сказала Катя;—вы—самое безобидное, самое кроткое созданіе, и ваши капризы не тягостны, а милы.

— Да, не знаю, сказала она, впадая въ раздумье,—я боюсь... Ужели я совсѣмъ эгоистъ..? Ужели у меня не станетъ силъ на новую борьбу, еслибъ она была неизбѣжна? Кажется, есть еще силы, есть и мужество, но я боюсь...

— Чего вы боитесь, спросила Катя, слушавшая все это съ удовольствіемъ и мало понимавшая, къ чему клони-

лись слова матери; за то Полина поняла и грустно молчала.

— Я боюсь моего перваго, единственнаго друга, вашего отца. Ужели мнѣ надо будетъ нарушить свято мною до сихъ поръ соблюденный законъ: никогда не тревожить его, не тревожить ничѣмъ. Гдѣ мой долгъ? Какъ мнѣ отыскать его? Дѣти, мужъ! Она закрыла лицо руками въ сильномъ волненіи.

— Не тревожьтесь заранѣе, я ручаюсь за себя и за Катю, сказала Полина;—ваше спокойствіе—наше счастіе, и другого намъ не надо. Не правда ли, Катя?

— Я ничего не понимаю, отвѣчала Катя. — Скажу одно: я счастлива одной вашей любовью. Успокойтесь же, мама, я никогда не видала васъ такою.

Катя склонила голову на колѣни матери и тихо заплакала.

— Не плачь, говорила Глафира Николаевна, гладя ея волосы,—не плачь, моя дурочка, моя птичка. Рано плакать; я не хочу, чтобы ты плакала, и пока я жива, этого не будетъ. Если надо плакать, то конечно, мнѣ, а не тебѣ, если только я не сумѣю спасти вашу жизнь, вашу свободу, ваше будущее...

Она заплакала. Ея пылавшія щеки и блиставшіе глаза, ея волненіе удивили и сильно тронули ея дочерей, привыкшихъ видѣть ее всегда спокойною, почти апатичною. Полина подошла къ матери.

— Маменька, сказала она матери,—я не могу опять не повторить вамъ, что я имѣла легкомысліе думать, что вы или ничего не видите, или...

— Или мало люблю васъ обѣихъ и изъ-за эгоизма закрываю глаза; я подозрѣвала это, но не люблю объясненій, тѣмъ болѣе, что они почти всегда безполезны. Я

боюсь борьбы и волненій; они ненавистны мнѣ ужь потому, что напоминаютъ мнѣ другую пору моей жизни. Подите обѣ къ себѣ, оставьте меня успокоиться и вѣрьте въ меня; я не испугаюсь борьбы, какая бы ни была она, и сумѣю отстоять нашу независимость и будущее спокойствіе семейной жизни. Никто не овладѣетъ независимостью цѣлаго семейства. Еслибы пришло злое время смутъ и борьбы, я поговорю съ тобою, Полина, а теперь пока все это мелочи; онѣ тревожатъ меня, потому что я отвыкла отъ всякаго противорѣчія и давно не знаю ни малѣйшей непріятности.

Обѣ дочери вышли и оставили мать одну.

Катя не совсѣмъ понимала, отчего и почему произошелъ такой странный разговоръ, но повинуясь врожденной деликатности, она не стала ничего разспрашивать у Полины, которая была особенно задумчива и печальна.

. . . . . .

II.

I.

ХРИСТА РАДИ.

Пятакъ убогому! Какъ онъ благодаритъ,
И призываетъ онъ на насъ благословенье
И милость Божію, и о души спасеньи
Молитву теплую творитъ!

Кто бѣденъ, кто богатъ, и чье благодѣянье?..
Я бѣденъ, онъ богатъ! И, полный состраданья,
Онъ въ рубищѣ и съ нищенской сумой
Меня обогатилъ молитвою святой!

II.

Поэтовъ множество, поэзіи лишь нѣтъ...

О, Русь, кто объяснитъ твои
Прогресса странные законы?
Зачѣмъ умолкли соловьи,
Зачѣмъ плодятся такъ вороны?

III.

1896.

France, beau pays d'un peuple bien étrange,
Peuple spirituel, et demi-fou pourtant,
Destructeur acharné, mais chez qui rien ne change,
Peuple de Jeanne d'Arc, que conduisait un ange,
Libre, mais devenu l'esclave du néant!

Comprendra-t-il enfin Celui, qu'en sa démence
Il renia jadis avec la royauté?..
Il est là qui l'attend!.. Sa divine clémence
Peut rendre la lumière à ce peuple de France,
Conscient de son erreur et de sa cécité.

Cet empereur lointain, qu'il acclame et qu'il aime,
Est avant tout, toujours, le monarque chrétien —
Le Crucifié pour lui est l'exemple et l'emblème.
Autocrate pour nous, mais esclave lui-même
Du Dieu de vérité, son guide et son soutien!

Князь Н. Мещерскій.

IV.

ЗИМНЕЕ УТРО [1]).

Что, ужь поздно?—Да не рано:
Подъ окномъ снуетъ народъ;
Изъ морознаго тумана
Солнце весело встаетъ.
Рѣзкій звукъ дневного шума
Гонитъ грезъ пугливый рой,
И одна лишь только дума
Все летаетъ надо мной.

Безпредѣльной пеленою
Вкругъ далекаго села
Надъ равниною нѣмою
Скатерть снѣжная легла.
Крѣпкій настъ на солнцѣ рдѣетъ,

[1]) Стихотвореніе это было посвящено Н. М. Горбову, который съ 1883 года занимался сельскимъ учительствомъ въ с. Глуховѣ, по сосѣдству съ Татевымъ, куда самъ авторъ пріѣхалъ въ первый разъ вскорѣ послѣ того. Впослѣдствіи стихи эти были напечатаны въ журналѣ *Русское Обозрѣніе*.

Чистъ и ясенъ, какъ хрусталь,
И заманчиво синѣетъ
Ослѣпительная даль.

Въ эту даль, мой путникъ смѣлый,
Ты летишь теперь мечтой...
Дологъ путь—да что за дѣло:
Жизни много предъ тобой.
Лишь была бы въ сердцѣ вѣра
Да смекалка въ головѣ,
Да старшіе для примѣра,
А вѣдь правды-то не двѣ.

Бойся лишь свернуть въ сугробы,
Не гляди по сторонамъ,
Выше будь житейской злобы,
Не спускай себѣ лишь самъ!
Не пугайся мглы туманной:
Будь тамъ вьюга или тишь,
Мчися къ цѣли неустанно—
И навѣрно долетишь!

Валерій Лясковскій.

V.

КРАСНЫЙ ЗВОНЪ.

(Изъ письма).

Казань. 26-го іюня 1896.

...Сегодня у насъ, казанцевъ, большое торжество—встрѣча иконы Божіей Матери, приносимой въ городъ изъ Семіозерной пустыни, за 17 верстъ отъ города. Невѣроятная масса народа—говорятъ, будто бы до 200 тысячъ,—покрываетъ весь лугъ берега Казанки, образуя дивныя сочетанія зелени съ красными и бѣлыми цвѣтами одеждъ. Какая-то совершенно поразительная сила вѣры и кротости двигаетъ эту массу, дисциплинируетъ ее и тѣмъ даетъ представленіе о формѣ общественныхъ явленій высшаго порядка. Я почему-то даже расплакался, глядя, какъ огромныя массы, при осѣненіи чудотворною иконою, дружно падали на землю и издавали какой-то своеобразный звукъ, какъ бы стонъ или вздохъ. Глядя на это явленіе съ колокольни, я въ первый разъ удивился тѣмъ ритмическимъ варіаціямъ, которыя продѣлывалъ весьма искусный звонарь на малыхъ колоколахъ. Варіаціи эти, по ихъ тематическимъ фигурамъ, рѣ-

шительно сходны со всѣми пріемами развитія темъ въ нашихъ народныхъ пѣсняхъ, и этотъ „красный звонъ“ дѣйствительно совпадалъ съ радостнымъ настроеніемъ красно-бѣлой толпы. Это было именно то, что̀ заставило меня заплакать. Затакты, увеличеніе числа нотъ съ помощью дѣленій $^1/_8$ на $^2/_{16}$ и внезапныхъ сокращеній на $^1/_4$ на малыхъ колоколахъ совершенно правильно контрапунктировали съ крупными фигурами колоколовъ, ударяемыхъ отъ ноги и лѣвой руки звонаря, и вполнѣ подчинялись ритму большого колокола, звонящему маятникомъ въ оба края. Помню, что я не разъ и прежде вдумывался въ ритмическія фигуры, изобрѣтаемыя звонарями, записывалъ ихъ и анализировалъ; но должно быть, сегодня судьба натолкнула меня на истоваго художника-звонаря, приведеннаго въ восторгъ духовнымъ торжествомъ Казани и звонившаго дѣйствительно виртуозно. Особенно удивила меня фигура внезапнаго прекращенія звона и внезапнаго же начала его дружнымъ аккордомъ во всѣ колокола, съ немедленнымъ затѣмъ варіаціоннымъ движеніемъ на среднихъ подъ аккомпаниментъ малымъ аккордами. Эту фигуру, конечно, подчиняясь врожденному ритмическому чувству, звонарь выполнилъ вполнѣ великолѣпно, по всѣмъ правиламъ двойныхъ двутактовъ, подзадоривая слушателей самымъ пикантнымъ синкопированіемъ въ маленькій колокольчикъ и не менѣе характернымъ контрапунктирующимъ ударомъ въ 4-ю четверть другого мальца.

Фигура эта, весьма сложная, ибо мнѣ она представляется двойною варіаціей на хоралъ среднихъ, при данномъ basso ostinato, заставила меня вглядѣться въ лицо звонаря. Онъ глядѣлъ въ сторону, лицо было довольно тупо, хотя и казалось, что онъ прилежно слушалъ свои фигуры. Но вотъ, спустя немного, влѣзъ къ нему какой-то другой, и мой

герой, улыбнувшись ему, вдругъ выдумалъ необыкновенно задорную фигуру на темѣ въ синкопированномъ среднемъ голосѣ, акомпанируя прерванно на малыхъ и закончивъ вполнѣ художественно на третьей четверти такта. Я пришелъ затѣмъ въ сущій восторгъ, когда у звонаря хватило вдохновенія промолчать 4-ю, 1-ю и 2-ю четверти и закончить, какъ „coda“, весь звонъ аккордомъ на 3-й четверти, совершенно такимъ же дружнымъ, какимъ онъ началъ этотъ звонъ. Послѣ того лицо звонаря прояснилось, и онъ уступилъ съ улыбкою свое мѣсто другому. Другой началъ было также варіировать, но далеко не такъ хорошо.

Вотъ мнѣ приходятъ теперь на память многія мѣста сочиненій Глинки, многія мысли изъ „Пѣвцовъ“ Тургенева, многія мои замѣчанія о нашихъ чередующихся танцахъ, многія мои, особенно нынѣ проясняющіяся, наблюденія надъ ритмикою и фигурами разработки мелодій у В. Титова и прочихъ творцовъ XVII вѣка: Послѣдніе производятъ странное впечатлѣніе: сперва—непроходимой пошлости, затѣмъ родной прелести. „Нынѣ отпущаеши“ Титова, концертъ Бавыкина: „Небеса убо достойно да веселятся“, сначала возмущали всѣхъ слушателей, въ томъ числѣ и меня, а нынѣ мы прислушались къ нимъ и чувствуемъ ихъ особенную простоту, наивность и особенную какую-то манеру письма. Варіаціи звонаря открыли мнѣ, кажется, глаза по этой части. Вернусь въ Москву и подумаю объ этомъ...

С. Смоленскій.

VI.

ГАУЗЕНЪ МОНАСТЫРЬ.

„Вамъ бы непремѣнно слѣдовало заѣхать въ монастырь“, говорила мнѣ учительница Комаровскаго сельскаго училища, когда я, по обыкновенію, завернулъ туда на пути въ Покровъ къ пріему новобранцевъ,—„у матушки игуменьи на дняхъ былъ ударъ, въ родѣ паралича; говорятъ, она не въ своемъ умѣ; сестры просто не знаютъ, что̀ дѣлать; вы бы помогли имъ совѣтомъ...“

Я и самъ давно собирался посѣтить этотъ монастырь, мимо котораго иногда проѣзжалъ, но теперь мнѣ это было особенно неудобно: на дворѣ стояла глухая осень, погода скверная, дорога ужасная, а до Покрова оставалось болѣе 20 верстъ, да и въ училище я припоздалъ, занимаясь съ ребятами; однако, не смотря на все это, когда четверть часа спустя, я проѣзжалъ въ виду монастыря, отстоящаго въ полуверстѣ отъ дороги, то велѣлъ повернуть къ монастырю и вскорѣ, проѣхавъ святыя ворота въ каменной оградѣ, подъѣхалъ къ небольшому деревянному флигелю съ надписью надъ крыльцомъ, крупными буквами „настоятельница“.

Женскій Комаровскій Рождество-Богородицкій монастырь, или какъ мы его называемъ, Гаузенъ монастырь, возникъ сравнительно недавно, лѣтъ тридцать тому назадъ. Онъ построенъ вдовою генерала Гаузена, въ монашествѣ матерью Маріею, на собственныя ея средства и на землѣ, которую она вымѣняла у казны за уступленное ею въ казенное вѣдомство родовое ея имѣніе. Сперва обитель числилась общиною, а черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ ея возникновенія возведена въ степень третьекласснаго монастыря, при чемъ, конечно, мать Марія была назначена въ немъ игуменьею. Я много слышалъ о ней, какъ о женщинѣ неукротимой энергіи и рѣдкой силы воли, о томъ, сколько ею было положено труда на устройство монастыря: все, что она имѣла, пошло на это дѣло, и того не хватило: пришлось доставать, хлопотать, а постройки росли, правда, крайне скромныя, деревянныя, съ двумя только каменными церквами. Росло и число сестеръ, находившихъ убѣжище въ обители; когда я впервые ее посѣтилъ, число ихъ доходило до 70. Мать Марія царила среди нихъ совершенно самовластно; она для монастыря была не только игуменья, какъ всякая другая игуменья, но пользовалась особеннымъ въ немъ положеніемъ, какъ его основательница, строительница, главная жертвовательница; по своему образованію, даже по званію своему въ мірѣ (она одна изъ всей почти братіи принадлежала къ дворянскому сословію) она выдѣлялась изъ среды сестеръ, не говоря уже объ извѣстныхъ свойствахъ ея желѣзнаго характера. Словомъ, положеніе ея въ монастырѣ и отношеніе къ монастырю были совершенно исключительныя; монастырь казался ея принадлежностью, какъ и она казалась принадлежностью, душою монастыря.

Моему пріѣзду въ монастырѣ почему-то очень обрадовались. Нѣсколько монахинь вышли ко мнѣ на встрѣчу и

стали разсказывать извѣстную уже мнѣ исторію внезапной болѣзни игуменьи; бывшій передо мною здѣсь докторъ нашелъ прогрессивный параличъ мозга, что̀ въ виду преклоннаго возраста матушки Маріи (ей было, кажется, 74 года), должно было указывать на близкій ея конецъ.

Я просилъ позволенья войти къ игуменьѣ, которую воображалъ себѣ лежащею безъ силъ, въ полузабытьи, и былъ крайне удивленъ, когда мнѣ сказали, что матушка сама сейчасъ выйдетъ; но каково же было мое удивленіе, когда черезъ нѣсколько минутъ въ гостиную вошла легкою поступью свѣжая старушка, крайне привѣтливаго вида, съ чрезвычайно пріятными чертами лица, необыкновенной моложавости; во всей ея манерѣ было что-то неизъяснимое, изобличавшее несомнѣнную принадлежность къ очень хорошему обществу.

Я представился; она указала мнѣ на кресло, и я уже раскрылъ ротъ, чтобы выразить мое пріятное удивленіе, какъ я счастливъ и т. под., но она заговорила раньше меня, и увы! о моемъ счастіи и пріятномъ удивленіи уже не могло быть рѣчи. Съ большимъ волненіемъ, едва сидя на мѣстѣ и обращаясь то ко мнѣ, то къ нѣсколькимъ не отходившимъ отъ нея монахинямъ, заговорила бѣдная игуменья; полилась совершенно безсвязная рѣчь, въ которой ни я, ни близкія ей лица ничего не могли понять; чаще всего упоминалось о нѣкоемъ отцѣ Іоаннѣ, затѣмъ о разныхъ предметахъ безъ всякой послѣдовательности; она чего-то требовала отъ своихъ монахинь и сердилась за то, что тѣ не могли ее понять; наконецъ повела меня показывать мнѣ какія-то деньги, что-то горячо объясняя. Я спросилъ казначею, но мнѣ отвѣтили, что она уѣхала къ преосвященному сообщить о случившемся и просить распоряженія. А я съ безпокойствомъ поглядывалъ на наступавшую тем-

ноту, на усиливавшійся дождь и подумывалъ о предстоящемъ пути. Простившись съ матушкой Маріей и посовѣтовавъ сестрамъ вооружиться терпѣніемъ и ждать распоряженія архіерея, я поспѣшилъ къ своему экипажу, и мы вновь поплелись по той безконечной осенней грязи, которую Наполеонъ, встрѣтившій случай тутъ же съ нею близко познакомиться, впрочемъ, по собственной своей охотѣ (и безъ всякой надобности), остроумно назвалъ пятою стихіею.

Нѣсколько мѣсяцевъ спустя мать Марія скончалась. Вѣсть о ея смерти опечалила знавшихъ ее и знавшихъ ея монастырь; думали о томъ, что-то станется съ этою обителью, чистымъ убѣжищемъ семидесяти женщинъ, отъ котораго отлетѣла душа. Вѣдь всякій организмъ, всякое тѣло, лишившись души, предается разложенію и уничтоженію; не представляетъ ли и эта обитель такое тѣло, лишившееся души? На этотъ вопросъ можно теперь дать опредѣленный отвѣтъ. Нѣсколько лѣтъ прошло со времени кончины первой игуменьи Комаровскаго монастыря, и монастырь этотъ представляетъ самое живучее, самое цвѣтущее и во всѣхъ отношеніяхъ прекрасное учрежденіе. Посмотримъ на него поближе и поглядимъ, какъ и чѣмъ живутъ его обитательницы. Какъ жить и чѣмъ жить? Чего только этими вопросами не исчерпывается!

Монастырь стоитъ въ мѣстности, далеко не живописной, ровной; онъ построенъ на мѣстѣ срубленаго лѣса; лѣсъ, какъ матеріалъ, пошелъ на постройки, а земля изъ-подъ лѣсу, не занятая постройками, разработана подъ пашню и подъ покосъ. И постройки, и дальнѣйшая разработка земли дѣятельно продолжаются, да и число сестеръ растетъ до настоящаго времени постоянно. Интересно, какимъ образомъ производятся эти постройки и ведется земельное хозяйство. Само собою разумѣется, и въ тѣхъ, и въ другихъ участвуютъ

сами сестры, при чемъ въ послѣднемъ случаѣ, то-есть, земледѣльческія работы производятся исключительно ими.

Любопытно побывать на монастырскихъ покосахъ или поляхъ въ будній день, въ страдную рабочую по́ру: въ это время въ самомъ монастырѣ вы днемъ никого не застанете, за исключеніемъ развѣ глубокихъ старухъ и больныхъ. Всѣ сестры въ полѣ, онѣ исполняютъ не только женскія работы—уборку сѣна, жатву и т. п., но дѣлаютъ то, что́ у насъ работаютъ только мужчины, то-есть, косятъ, пашутъ, ходятъ съ топоромъ въ лѣсъ. На лугу болѣе сильныя изъ сестеръ составляютъ изъ себя артель косцовъ, въ работѣ ничуть не уступающую лучшимъ косцамъ-мужчинамъ; остальныя, съ игуменьею во главѣ, разбиваютъ и гребутъ сѣно и складываютъ его въ сараи. Другая артель жнетъ рожь или овесъ, или пшеницу, которая почти только и сѣется въ монастырѣ—изъ всего уѣзда.

Во всей рабочей артели, состоящей почти безъ исключенія изъ сестеръ, человѣкъ восемдесятъ или девяносто. Можно себѣ представить, какъ управно идетъ у нихъ работа. Никакой „сгонъ“ былыхъ крѣпостныхъ временъ, когда помѣщики въ рѣдкихъ случаяхъ, нѣсколько разъ въ годъ, сгоняли всѣхъ своихъ крестьянъ на какую-нибудь экстренную работу, не можетъ сравняться съ рабочими силами монастыря, гдѣ такой сгонъ бываетъ ежедневно, пока въ полѣ есть работа. За то когда у окрестныхъ помѣщиковъ и крестьянъ хлѣбъ стоитъ въ полѣ не убранный, въ монастырѣ или, какъ теперь говорятъ, у матушки, этого не бываетъ: уловятъ хоть полдня хорошей погоды и сорвутъ съ поля снопы.

Вы не подумайте, что, говоря о „матушкѣ“, разумѣется память покойной матери Маріи, смерть которой приравнивалась когда-то къ гибели монастыря; нѣтъ, то матушка

настоящая, замѣнившая съ успѣхомъ первую игуменью; она не барыня, какъ мать Марія, и ближе къ той средѣ, къ которой принадлежатъ прочія сестры. Но подавая имъ во всемъ примѣръ, она ни чуть не уронила ту дисциплину, которая царила при покойницѣ.

Отъ своего земледѣлія кормится вся братія, болѣе девяноста сестеръ. Не лишено интереса и то, что въ монастырскомъ хозяйствѣ употребляются многія земледѣльческія машины, съ трудомъ одолѣвающія рутину нашихъ мѣстныхъ, иногда весьма крупныхъ хозяйствъ. Даже дрова распиливаются механически—круглою пилою, приводимою въ дѣйствіе водяною силою; глина для выдѣлки кирпича топчется тоже машиною — единственною въ нашей мѣстности, изобилующей кирпичными заводами. Также образцово поставлено здѣсь и скотоводство: удойность скота превосходитъ таковую во всѣхъ окрестныхъ хозяйствахъ; молока и масла отъ собственнаго небольшого стада не только хватаетъ на всѣ потребности монастыря, но еще остается много масла на продажу.

Быть можетъ, не покажется ли страннымъ, когда идетъ рѣчь о монастырѣ, такъ много говорить о молочномъ скотѣ, о покосѣ и хорошей уборкѣ сноповъ, — но мы отвѣчаемъ на вопросъ: чѣмъ живутъ сестры? Оказывается, что онѣ сами себя кормятъ и живутъ своимъ трудомъ, самымъ симпатичнымъ, здоровымъ, святымъ трудомъ земледѣльца. Но и не однимъ этимъ трудомъ. Пройдя ограду и войдя въ монастырь, глазъ останавливается на нѣсколькихъ маленькихъ домикахъ сомнительнаго характера; хотя трубы на крышахъ указываютъ, что эти зданія теплыя, но жилыми ихъ признать трудно; кромѣ того, извѣстно, что здѣсь жилой корпусъ только одинъ—въ немъ сосредоточены всѣ келіи, кромѣ келіи игуменьи, которая помѣщается въ от-

дѣльномъ флигелѣ. Въ этихъ домикахъ находятся мастерскія, гдѣ работаютъ сестры надъ самыми разнообразными мастерствами, когда проходитъ пора полевыхъ работъ. И опять-таки и здѣсь проявляется то же начало содержанія себя собственными силами и средствами, при чемъ въ нѣкоторыхъ мастерскихъ, какъ, напримѣръ, въ башмачной, не только шьется обувь на весь монастырь, но и работаютъ на сторону. Въ этой отрасли занятій самый чистый отдѣлъ принадлежитъ, очевидно, къ работамъ по иконописи, вышиванію, снабженію ризницы и т. п.

Мы уже упоминали, что постройки продолжаются и понынѣ; въ настоящее время онѣ даже въ самомъ разгарѣ, такъ какъ въ этомъ году приступлено къ постройкѣ новой теплой церкви: старая стала тѣсна и по праздникамъ съ трудомъ вмѣщаетъ многочисленную братію и постороннихъ, въ большомъ числѣ посѣщающихъ монастырскую службу. Окрестное населеніе, кстати—довольно густое, замѣчательно льнетъ къ монастырю: устанавливается прочное общеніе между монастыремъ и окрестными жителями, которые часто и въ своихъ личныхъ, и въ семейныхъ дѣлахъ обращаются за рѣшеніемъ къ матушкѣ.

Но какое участіе, подумаешь, могутъ принять, какое могутъ оказать содѣйствіе монахини въ такомъ дѣлѣ, какъ постройка, гдѣ всегда орудуютъ только мужчины?

При выдѣлкѣ кирпича на заводѣ, гдѣ отъ монастыря нанимается только одинъ мастеръ, всѣ работы производятся сестрами; онѣ же рубятъ и возятъ дрова для печей завода. Тѣ же сестры достаютъ бутъ для фундамента, выкапывая и подымая на возы тридцатипудовые камни, рубятъ и возятъ изъ лѣсу строевой лѣсъ. При такихъ условіяхъ строительныя работы удешевляются до-нельзя, и за деньги нанимаютъ лишь самыхъ необходимыхъ мастеровъ, въ самомъ

ограниченномъ числѣ. Даже въ дѣлѣ малярномъ нанимается одинъ мастеръ, болѣе для составленія красокъ; самая же окраска крышъ и зданій производится сестрами: назначается такая-то сестра, раздается магическое слово настоятельницы: „тебѣ такое-то послушаніе“, и маршъ на крышу, безъ всякихъ разговоровъ!

Въ монастырѣ два училища: одно, за оградою, церковно-приходское для мальчиковъ, другое, въ самомъ монастырѣ, женское „министерское“ одноклассное училище съ трехлѣтнимъ курсомъ; это послѣднее заслуживаетъ вниманія; въ немъ всѣ ученицы пансіонерки, онѣ живутъ тутъ же въ училищѣ; здѣсь выдвигается не столько образовательная часть, то-есть, выполненіе маленькой программы, установленной для начальныхъ училищъ, сколько часть воспитательная: дѣвочки въ теченіе двухъ—трехъ лѣтъ находятся постоянно въ средѣ, гдѣ имѣютъ предъ собою только хорошіе примѣры, гдѣ преобладаютъ трудъ и церковныя службы. На содержаніе этого училища монастырь получаетъ отъ казны маленькое пособіе.

До сихъ поръ было говорено о тѣхъ занятіяхъ, которыя даютъ сестрамъ возможность и средства жить самостоятельно, о томъ, чѣмъ онѣ живутъ. Но не содержится ли здѣсь отвѣтъ и на вопросъ: какъ онѣ живутъ? Онѣ живутъ въ безустанномъ, разумномъ трудѣ, прерываемомъ лишь церковными службами и необходимымъ отдыхомъ. Трудъ составляетъ основное начало въ этой обители, и при томъ такой суровый трудъ, какой сестры, въ родной семьѣ, изъ какой бы скромной среды онѣ ни происходили, никогда не согласились бы нести: вѣдь корчеваніе пней и другія лѣсныя работы—не женскій трудъ. Здѣсь тѣ же самыя руки, которыя занимаются вышиваніемъ и другими чистыми работами, когда нужно, ворочаютъ громадные камни и корчуютъ пни.

Но дѣло въ томъ, что сестры трудятся въ монастырѣ не яко наемницы и не для себя только: ихъ одушевляетъ начало религіозное, на которомъ построена обитель, мысль, что онѣ дѣлаютъ дѣло особенное, дѣло Божіе; какъ всякое одушевленіе по свойству своему есть чувство свободное, такъ и тутъ оно поддерживается въ средѣ сестеръ отнюдь не принужденіемъ или неволею, а взаимнымъ примѣромъ и общимъ духомъ монастыря.

Быть можетъ, эта слабая картина нашего Гаузена монастыря покажется нѣсколько идеальною; между тѣмъ, она безусловно правдива, и нѣтъ сомнѣнія, что у насъ въ Россіи найдется не одинъ такой монастырь.

По истинѣ отрадную картину представляетъ это сообщество сотни простыхъ русскихъ женщинъ, объединенныхъ въ одномъ религіозномъ началѣ, совершенно свободно и сознательно подчинившихся строгому правилу и тяжелой дисциплинѣ, подчиненіе которымъ обезпечиваетъ имъ физическое существованіе и глубокій душевный покой. Надъ этимъ обществомъ паритъ христіанская идея, впервые на свѣтѣ сравнившая всѣхъ людей, всякаго званія и всякаго пола; она вселяетъ въ окружающемъ его мірѣ одно лишь сочувствіе и уваженіе; хорошо, что она не терпитъ стѣсненій и извнѣ, чему мы видимъ примѣры въ наше время— только слава Богу не у насъ, и что на ряду и о бокъ со всей суетой, путаницею и безконечными сомнѣніями нашей жизни возникаютъ и цвѣтутъ въ нашей христіанской странѣ такія истинно христіанскія общества.

Л.

VII.

НАБОРЪ.

Толпа новобранцевъ сегодня не узнаваема.

Вчера, при вынутьи жеребьевъ, молодые люди, входя въ присутственную комнату, по волостямъ, группами въ тридцать, пятьдесятъ и болѣе человѣкъ, отличались отважнымъ видомъ, иногда даже дерзкимъ. На улицѣ шумѣла тысячная толпа изъ новобранцевъ, ихъ родныхъ и постороннихъ. Не смотря на всѣ старанія старшинъ представить своихъ рекрутъ въ трезвомъ видѣ, не смотря на отчаянныя усилія двухъ-трехъ урядниковъ поддерживать должный порядокъ среди нестройныхъ массъ молодежи, имъ это невсегда удавалось. Быть можетъ, такая храбрость сообщается новобранцамъ тѣми изъ нихъ, которые, имѣя льготу второго или третьяго разряда и зная, что ихъ не возьмутъ, пользуются призывомъ, какъ случаемъ покутить въ большой компаніи. Кромѣ того, нѣкоторую разнузданность публики, стоящей передъ присутствіемъ, сообщаютъ ей право каждаго хотя бы совершенно посторонняго дѣлать передъ жеребьевкой заявленія о неправильно предоставленныхъ льготахъ, и обязанность рекрутскаго присут-

ствія выслушивать эти заявленія и входить въ ихъ обсужденіе. Положимъ, въ этомъ заключается самая большая гарантія для самаго присутствія, ограждающая его отъ плутней волостныхъ чиновъ, составляющихъ призывные списки (которые могли бы „устраивать“ льготы по усмотрѣнію), но бѣда въ томъ, что подается слишкомъ много черезчуръ глупыхъ заявленій.

Сегодня начинается самый пріемъ новобранцевъ на службу. Картина измѣнилась: передъ присутствіемъ являются уже тѣ, которые не имѣютъ льготы, тѣ, которые могутъ быть освобождены только по тѣлеснымъ недостаткамъ, а сужденіе объ этомъ всецѣло принадлежитъ присутствію. Новобранцы это понимаютъ, и вы не узнаете вчерашнихъ удальцовъ въ тѣхъ унылыхъ, блѣдныхъ, взволнованныхъ молодыхъ парняхъ, которые стоятъ здѣсь, ожидая, пока ихъ вызовутъ къ освидѣтельствованію; вы тѣмъ менѣе ихъ узнаете, что вчера вы видѣли ихъ въ тѣхъ разнообразныхъ костюмахъ, которыми теперь отличается нашъ народъ: кого въ бѣдномъ армякѣ, кого въ поддевкѣ, кого въ пальто или въ пиджакѣ; сегодня ихъ костюмъ совершенно однообразный, короче сказать, они *вовсе* безъ костюма, что̀, быть можетъ (почемъ знать?), способствуетъ ихъ унылому виду.

Помѣщеніе рекрутскаго присутствія отвратительное; оно засѣдаетъ въ волостномъ правленіи; комната низкая, небольшая и все время наполненная народомъ; кромѣ членовъ и канцеляріи, здѣсь находятся еще волостные старшины и писаря всѣхъ волостей призывного участка и наконецъ сами призываемые, которыхъ вводятъ партіями въ нѣсколько десятковъ человѣкъ, и которые тутъ же раздѣваются. Воздухъ до-нельзя тяжелый. Правда, отъ времени до времени по комнатѣ брызгаютъ разведенною карболовою кислотою при помощи пульверизатора, но и это какъ-то мало помогаетъ.

Предсѣдатель присутствія, мѣстный предводитель, держитъ предъ собою книги призывныхъ списковъ, гдѣ онъ, по закону, обязанъ дѣлать собственноручно всѣ отмѣтки. Врачи и воинскій начальникъ возятся около принимаемаго, канцелярія строчитъ-строчитъ, едва поспѣвая.

Старый унтеръ-офицеръ Захаровъ стоитъ у страннаго вида машины, поставленной у окна и напоминающей собою висѣлицу: сравненіе рискованное, такъ какъ я, напримѣръ, никогда не видалъ висѣлицы,—и вы тоже, надѣюсь?—но все равно машина эта должна напоминать висѣлицу; это—станокъ для измѣренія роста новобранцевъ.

Предводитель вызываетъ:

— Деревни Татева, Архипъ Михайловъ! Такъ какъ на вызовъ, сдѣланный обыкновеннымъ человѣческимъ голосомъ, никто не откликается, то унтеръ-офицеръ Захаровъ кричитъ во все горло:—Архипъ Михайловъ!

Изъ толпы раздѣтыхъ юношей нехотя и не торопясь выходитъ здоровенный парень.

— Ну, скорѣй, проворнѣй!

Захаровъ ставитъ его въ станокъ, одною рукою беретъ за голову или за лицо, безразлично, и вставляетъ подъ горизонтальную подвижную дощечку, а другою рукой толкаетъ его въ животъ и плотно приставляетъ къ станку.

— Шесть и два! кричитъ Захаровъ.

Это означаетъ, что ростъ новобранца 2 аршина $6^2/_8$ вершка. Предводитель записываетъ.

Архипъ Михайловъ, выходя изъ станка, попадаетъ прямо въ объятія врача, который обвиваетъ его тесьменною мѣркою:

— Считай: разъ, два!

Архипъ повторяетъ:—Разъ, два!

— Ну, дальше: три, четыре!

Архипъ продолжаетъ:—Три, четыре!

— Ахъ, братецъ, да считай дальше, до двадцати!

— Да ну, оставьте его, выходитъ слишкомъ.

— Двадцать вершковъ въ груди!—восклицаетъ врачъ,—всѣмъ здоровъ? Открой ротъ! Повернись! Хорошъ!

— Годенъ, говоритъ предсѣдатель;—принятъ!

Архипъ Михайловъ, надѣвая рубашку, медленно подвигается къ столу канцеляріи.

— Деревни Зехина, Иванъ Ивановъ!

— Иванъ Ивановъ, повторяетъ Захаровъ.

Никто не шевелится. Выходитъ одинъ изъ старшинъ и заявляетъ, что Иванъ Ивановъ немного тугъ на ухо. Выводятъ Ивана Иванова, который дѣлаетъ видъ, что ничего не слышитъ и не понимаетъ.

— Что, онъ дѣйствительно глухой?

— Нѣтъ, помилуйте, поясняетъ старшина,—тугъ на ухо, да кажется на одно, а то ничего. Какъ ребята, обращается онъ къ толпѣ новобранцевъ,—кто тутъ одного съ нимъ околотка?

— Я, я его знаю: вретъ, притворяется!

Ивана Иванова измѣряютъ, ростъ его и объемъ груди удовлетворительные.

— Нѣтъ ли у него пункта 35-го литеры А, dejectus membranae tympani partialis?

Доктора вставляютъ ему инструментъ въ ухо: барабанная перепонка цѣла.

— Ну, что, любезный, начинаетъ бесѣдовать съ нимъ врачъ,—притворяешься, слышишь меня?

Ивановъ дѣлаетъ видъ, что ничего не слышитъ. Докторъ кричитъ ему на ухо во все горло:

— Слышишь, что я тебѣ говорю?

Ивановъ наконецъ рѣшается отвѣтить, что слышитъ.

— А теперь, говоритъ вполголоса,—слышишь меня?

— А теперь не слышу, тоже вполголоса отвѣчаетъ глухой.

Въ комнатѣ раздается смѣхъ: попался!

— Довольно, хорошъ, принятъ!

— Помилуйте, господа начальники...

— Одѣвайся, годенъ въ музыканты!

Проходитъ цѣлая вереница годныхъ и негодныхъ молодыхъ людей; воздухъ становится невозможнымъ.

— Господа, брызгайте карболкой, у кого пульверизаторъ, брызгайте, ради Бога!...

У молодого человѣка на ногѣ шишка; такъ какъ онъ всю жизнь ходилъ въ лаптяхъ и валенкахъ, то она и не мѣшала ему уплетать по пятидесяти верстъ въ день, и онъ ни разу не подозрѣвалъ, что такіе пустяки могутъ пригодиться ему въ жизни. Воинскій начальникъ рѣшительно заявляетъ, что онъ не согласенъ принять такого новобранца, который не можетъ надѣть сапога,—вѣдь въ лаптяхъ въ войскахъ не ходятъ, наконецъ прямой законъ, пунктъ 7-й, литера А, ясно говоритъ: „опухоли, препятствующія ношенію обуви и головного убора“.

— Хорошо, возражаетъ оппонентъ воинскаго начальника докторъ,—значитъ, по вашему эта шишка мѣшаетъ ему въ ношеніи головнаго убора?

— Да вы и безъ головы готовы принять человѣка на службу.

— А для чего ему на военной службѣ голова? Одно безпокойство и непріятности...

— Прошу васъ оставить ваши неумѣстныя остроты, говоритъ свирѣпѣющій полковникъ.

— Прошу васъ не дѣлать мнѣ замѣчаній, вы не предсѣдатель; затѣмъ, по заведенному въ „провинціи“ порядку, споръ грозитъ перейти въ столкновеніе и, конечно, на лич-

ную почву. Несчастный предсѣдатель на иголкахъ, и совершенно напрасно: споры самые ужасные не прекращаются между этими двумя противоположными людьми; вездѣ, гдѣ бы они ни встрѣтились—на службѣ, въ обществѣ, по какимъ бы вопросамъ ни сталкивались, нигдѣ мирно не расходятся, а встрѣчаться имъ приходится часто. И дѣйствительно, трудно подыскать двѣ такія противоположности: докторъ разговорчивъ до безконечности и весь на распашку, полковникъ молчаливъ и сосредоточенъ; докторъ—страшный либералъ и, на словахъ, противъ всякихъ основъ и всякаго начальства; полковникъ—консерваторъ, какъ большинство полковниковъ, и ставитъ заведенный порядокъ и дисциплину выше всего. И вотъ, не смотря на все это, докторъ съ полковникомъ какъ-то дружатъ между собою, и по набору ѣздятъ они вмѣстѣ; вотъ и теперь пріѣхали на однѣхъ лошадяхъ, на которыхъ поѣдутъ вмѣстѣ во всѣ пункты уѣзда.

Наконецъ объявленъ краткій перерывъ для закуски; всѣ торопятся, дни короткіе, а надобно до сумерекъ непремѣнно окончить пріемъ рекрутъ на дѣйствительную службу (ополченіе—завтра), чтобы сегодня же, не распуская ихъ, привести къ присягѣ.

Черезъ минутъ двадцать работа снова начинается. Часы слѣдуютъ за часами, на всѣхъ замѣтна усталость, но всѣ напрягаютъ силы. Уже и свѣтъ не тотъ. Члены спрашиваютъ у предсѣдателя: „Сколько еще остается принять?“ Предводитель отвѣчаетъ вполголоса; „Только пять человѣкъ!“ Говорится это не громко, чтобы не волновать новобранцевъ, ожидающихъ освидѣтельствованія. Съ этого участка надо принять 90 человѣкъ, и вотъ уже принято 85, а безльготныхъ остается еще человѣкъ 40; всѣ раздѣтые съ унылымъ видомъ готовятся идти къ станку. На всякій случай велѣно готовить льготныхъ третьяго разряда. Унынie воз-

растаетъ: „Знать нынче безольготные всѣ пойдутъ, а я то обрадовался, что большой жеребъ взялъ, да слышно, и за третью льготу возьмутся!“

Въ станкѣ стоитъ малый, средняго роста, ничего особеннаго не представляющій; ростъ средній, мѣрятъ въ груди: „ну, разъ, два!“ Рекрутъ помалкиваетъ и равнодушно глядитъ на врача, но грудь выходитъ съ „походцемъ“, малый чистый, круглый, какъ яичко.

— Всѣмъ здоровъ? Ничего не заявляешь?

Молчаніе знакъ согласія.

— Годенъ! Принятъ единогласно.

Но изъ кучки старшинъ выходитъ старшина той волости, откуда только что принятъ новобранецъ, и съ выраженіемъ сильнаго безпокойства видимо желаетъ протестовать.

— Ступай, ступай, любезный! Теперь поздно, вѣдь видишь, что всѣмъ хорошъ, принятъ!

— Да помилуйте...

Въ это время встаетъ секретарь присутствія и заявляетъ:

— У послѣдняго принятаго что-то подозрительно, на мои вопросы ничего не отвѣчаетъ...

— Да онъ глухонѣмой отъ рожденія! восклицаетъ старшина.

Все присутствіе разѣваетъ рты. Общее смятеніе: вотъ такъ хороши! приняли глухонѣмого! И затѣмъ всѣ разомъ накидываются на разговорчиваго врача:

— Вы, вы виноваты, вы его осматривали.

Но въ концѣ концовъ, случай кажется такимъ смѣшнымъ, что всѣ смѣются, и глухонѣмому выдаютъ бѣлый билетъ.

Но вотъ остается принять одного только рекрута. Члены заволновались, предсѣдатель встаетъ съ своего мѣста и подходитъ къ станку. Въ объемѣ груди не хватаетъ $^4/_8$ вершка!

— Негоденъ! Отсрочка до будущаго года.

Теперь въ станкѣ стоитъ славный парень: ростъ пять и два, грудь девятнадцать и шесть! Годенъ, принятъ.

Предводитель обращается къ толпѣ ожидающей молодежи:

— Наборъ оконченъ! Одѣвайтесь! Остальные пойдутъ въ ополченіе.

Раздается неудержимый взрывъ шумной радости, гудитъ вся комната, вѣсть быстро проходитъ наружу; гудитъ вся толпа на площади.

— Принятые присягнутъ черезъ полчаса въ церкви; старшины, не упускать своихъ, чтобы всѣ были на лицо!

Члены присутствія съ особеннымъ удовольствіемъ выходятъ на улицу и втягиваютъ свѣжій морозный воздухъ послѣ страшно удушливой атмосферы волостного правленія. Площадь кишитъ народомъ, у крыльца стоятъ съ сіяющими лицами безльготные, ушедшіе отъ набора. Нигдѣ не слышно того воя и плача, съ которымъ привыкли соединять представленіе о рекрутскомъ наборѣ. И не удивительно. Солдатчина не составляетъ неожиданности для призываемаго и его семьи: они давно знаютъ, что ему идти въ солдаты, потому старшій дома остался, и младшему изъ-за него будетъ льгота. Въ большинствѣ случаевъ его уже снарядили въ походъ, онъ въ новомъ тепломъ платьѣ, и уже до пріема вы сразу отличите его отъ льготныхъ, которые знаютъ, что они дальше ополченія не пойдутъ. Одно бываетъ печально, это когда идутъ женатые, а это случается нерѣдко.

Церковь переполнена народомъ; всѣ паникадила заставлены свѣчами, каждый новобранецъ, его родные принесли свѣчу угоднику. Впереди, у амвона стоятъ рекруты, позади—народъ, на клиросѣ—члены присутствія. Начинается

молебенъ, который служится всегда передъ присягою по желанію новобранцевъ. И усердно крестятся и кладутъ земные поклоны эти люди, переживающіе одну изъ серьезнѣйшихъ минутъ ихъ жизни. Съ этою же самою церковью, съ этою обстановкою связаны для нихъ и другіе моменты: здѣсь его крестили, здѣсь вѣнчали, или быть можетъ, будутъ вѣнчать; здѣсь онъ будетъ отпѣвать родныхъ, сюда и его когда-нибудь принесутъ... Но молебенъ кончается. Раздается голосъ діакона: „Благоденственное и мирное житіе въ здравіи и спасеніи и во всемъ благое поспѣшеніе, на враги же побѣда и одолѣніе..." А ну, думается: побѣда-то и одолѣніе вѣдь отъ этихъ молодцовъ зависитъ! И дѣйствительно, они теперь глядятъ молодцами. Многолѣтіе государю составляетъ прекрасный переходъ къ присягѣ воинской. Присяга эта по редакціи своей немного устарѣла, такія слова какъ, напримѣръ, баталія, могли бы съ успѣхомъ быть замѣнены, но произнося слова присяги, всякій знаетъ, чему онъ присягаетъ, знаетъ, что отъ него требуютъ вѣрности царю и честной службы.

Священникъ подходитъ къ краю амвона, гдѣ поставленъ аналой съ крестомъ и Евангеліемъ и напоминаетъ о святости присяги: „Подымите правую руку и повторяйте за мною: Обѣщаюсь и клянусь..." Раздается тихій могучій гулъ молодыхъ голосовъ: „Обѣщаюсь и клянусь..." Интересно наблюдать лица присягающихъ, у нѣкоторыхъ замѣтно одушевленіе. Слова „не щадя живота до послѣдней капли крови" произносятся съ чувствомъ и съ повышеніемъ тона. Да будетъ стыдно тѣмъ, кто при этомъ скептически улыбнется, кто усомнится въ возможности одушевленія русскаго юноши мыслью о службѣ, о войнѣ, о будущихъ подвигахъ. Развѣ это не дѣла молодежи, и развѣ бѣдна наша исторія примѣрами подвиговъ юношей-солдатъ? Быть можетъ, въ

войскахъ развиваются эти чувства, но зародышь ихъ таится въ сердцѣ этихъ молодцовъ въ полушубкахъ, которые теперь цѣлуютъ крестъ и Евангеліе.

И члены присутствія, смѣшавшись съ народомъ и новобранцами, выходятъ изъ церкви; на дворѣ темно, они спѣшатъ добраться до квартиры, любезно предоставленной въ ихъ распоряженіе хозяевами села. Въ высокихъ комнатахъ тепло и уютно, въ столовой накрытъ столъ, и полковникъ съ докторомъ направляются къ закускѣ, о чемъ-то ожесточенно споря. Наступилъ длинный осенній вечеръ: его надо скоротать. Припоминается вчерашній винтъ, вчерашній ужинъ,—почему бы сегодня не заняться тѣмъ же? И конечно, займутся тѣмъ же. Кончился трудный дѣловой день:

Бой умолкъ, и вечеркомъ
Снова ковшикъ шевелится.

Л.

RETURN TO ⟶ CIRCULATION DEPARTMENT
202 Main Library

LOAN PERIOD 1 HOME USE	2	3
4	5	6

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS
Renewals and Recharges may be made 4 days prior to the due date.
Books may be Renewed by calling 642-3405.

DUE AS STAMPED BELOW

AUTO DISC CIRC OCT 18 '94
JUL 27 1993
AUTO DISC CIRC MAY 21 '93
JAN 03 1995
SENT ON ILL
OCT 28 1994
U. C. BERKELEY

FORM NO. DD6
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
BERKELEY, CA 94720

155'
15
U.C. BERKELEY LIBRARIES
C035808665